ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 7
ИЮЛЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА"
МОСКВА—1925



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 7

ИЮЛЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“
МОСКВА—1925

Главлит № 40680. Москва, Тираж 4.500

Типография Изд. „Правда“ и „Беднота“. Серебряническая наб., д. 23а.

СОДЕРЖАНИЕ.

Трибуна.

Библиография.

Революция и культура [1]).

А. Деборин.

Революция и культура! Эти понятия представляются современным буржуазным идеологам диаметрально противоположными. С точки зрения этих мудрецов революция и культура взаимно исключают друг друга; ведь революция является лишь разрушением, между тем как культура представляет собой творческий процесс; по их мнению, революция стремится к уничтожению существующего, а культура требует сохранения существующего строя; она предполагает покой и регулярный, невозмутимый обыденный ход вещей. Таково обычное противопоставление культуры и революции, очень, очень часто встречающееся в буржуазной литературе.

Всякий раз, когда измученный народ в редкие моменты своего исторического существования пытается поднять голову; всякий раз, когда в народе заметно революционное брожение, «ученые» гады из господствующих классов выползают из своих нор и начинают разглагольствовать на тему об опасности разрушительных тенденций и о необходимости усмирить и укротить народ во имя их священной культуры.

Конечно, для господствующих классов народное движение, народная революция нежелательны и временами очень опасны. Это бесспорно, потому что культура господствующих классов предполагает порабощение трудящихся слоев общества. Например, буржуазия заинтересована в том, чтобы истинный творец культуры был лишен возможности жить так, чтобы его существование было достойно человека. Буржуазия трепещет всякий раз, когда раздается могучий голос народа. Этот голос ненавистен ей, потому что господство буржуазии предполагает покорность рабочего класса.

Народ стремится к земному счастью и к свободе, потому что он ищет подлинного смысла существования здесь, на земле; но буржуазная культура предлагает ему потусторонний мир,

[1]) Перевод с немецкого. Статья впервые появилась в „Neue Zeit" за 1907 год.

чтобы сохранить за собой право всем наслаждаться и всем обладать. Смысл существования заключается в самом достойном человека существовании,—так рассуждают о культуре трудящиеся. Глубочайший смысл существования, проповедуют представители буржуазной культуры, заключается в покорности народа идолам, фетишам и различным небесным и земным кумирам, способствущим сохранению буржузной культуры. Буржуазная культура отнимает у трудящихся все и оставляет им лишь веру в торжество справедливости на небе, в потустороннем мире...

Такова та буржуазная культура, которую отстаивает буржуазия, чтобы отклонить народ от борьбы за подлинную и истинную культуру.

Но пролетариат иначе смотрит на вещи: если дикость и варварство означают подчинение человека окружающей природе и тем тиранам, которые захватывают власть над другими людьми, чтобы порабощать рабочий класс, то смысл культуры состоит в восхождении от низшего к высшему, в освобождении человечества от ига природы и господствующих классов. Итак, смысл культуры состоит в освобождении общества от слепого господства сил природы и эксплоататоров; в этом заключается отрицательная сторона культуры; положительная же ее задача состоит в подчинении сил природы человечеству и планомерной организации общественной жизни людей и их сотрудничества, в реорганизации производства на новых началах. Пролетариат усматривает высший смысл культурного развития в том, чтобы по мере возможности возложить бремя труда на безжизненные силы природы и таким образом добиться для человека человеческого существования. В этом смысле культура означает непрерывное расширение человеческой свободы и избавление трудящихся масс от ига капитала.

Под'ем материальной и духовной культуры предполагает непрерывный процесс, выражающийся в непрерывных изменениях; но что же представляют собой эти изменения, как не ряд революций, и не означает ли революция лишь ускоренные и сокращенные изменения в структуре общества? Итак, несмотря на софизмы профессоров, революция есть высший творческий акт культуры, потому что она означает ускорение и углубление исторического процесса развития. Но, с другой стороны, вся культура есть не что иное, как изменение общественных форм человеческого сотрудничества, устранение тех форм, которые стали вредными для его развития и благодаря которым обнаружилось противоречие между интересами целого и интересами господствующего меньшинства. Старые, отжившие формы должны быть заменены новыми формами, более соответствующими потребностям развития производительных сил.

Основным тоном марксистского миросозерцания и марксистского понимания истории является принцип постоянной изменчивости всего существующего: не существует ничего абсолютно постоянного, в истории происходит вечная смена общественных форм, в природе наблюдается вечное непрерывное изменение и вообще во всех сферах бытия—непрерывное творчество. Марксистское мировоззрение по существу не признает покоя; высшим принципом этой философии является вечное движение. Марксисты оказываются революционерами не только в политике, но и в философии, потому что... природа и история сами революционны. Наше познание природы и истории является лишь отражением об'ективной действительности. Пролетарское мировоззрение есть философия активности; сам пролетариат является представителем труда, работы, деятельности, и он ставит выше всего не покой, а движение, не квиетизм, а активность. С точки зрения движения не существует абсолютных конечных стадий и конечных целей. Марксистская точка зрения не признает «первого двигателя» и не имеет ничего общего с конечными целями в абсолютном смысле. Поэтому мы никогда не можем удовлетворяться достигнутой стадией, данным: всякая ступень, достигнутая путем борьбы, служит для пролетариата новым исходным пунктом, вновь завоеванной, укрепленной позицией, которой он пользуется для дальнейших нападений на своих врагов.

Пролетарское мировоззрение не признает никакой метафизики; оно не апеллирует к будто бы скрывающейся за явлениями недоступной «вещи в себе», где находят для себя убежища усталые души; его философии чужда всякая вера в потусторонний мир. В своеобразном контакте с этим постоянным процессом изменения и потоком вещей мы признаем фактическое бытие действительности, но вместе с тем требуем и ее «устранения». Эта действительность образует для нас основу, на которую мы опираемся; она является точкой опорой для нашего рычага; но, признавая эту действительность как факт, как данное, и исходя из нее, мы стремимся к ее преодолению и устранению, потому что

Ich bin der Geist, der stets verneint!
Und das mit Recht; denn alles, was entsteht,
Ist Wert, dass es zu Grunde geht.

В мире нет ничего застывшего, но все становится; в нем возникают и исчезают все новые формы. Мнимое бытие есть лишь определенная форма становления, подобно тому как покой представляет собой определенную форму движения. Если буржуазия представляет ныне общественное «бытие», покой, неподвижность, то пролетариат является социальным выражением «небытия», движения, прогресса. Буржуазия признает теперь лишь

существующее, лишь то, что *есть*; она не может представить себе ничего *иного*; все, что выходит за пределы нынешнего общественного строя, кажется ей немыслимым, или, по крайней мере, непознаваемым. Бытие равно бытию, и поэтому господствует принцип тождества. Буржуазные примиренческие теории признают, что интересы буржуазии и пролетариата *тождественны*. Пролетариат, лишенный «бытия» в буржуазном мире, не только выходит за предел существующего, но и требует его преодоления, устранения. Бытие должно стать инобытием, оно содержит в себе свое отрицание. Поэтому диалектическая логика имеет огромное теоретическое и практическое значение для пролетариата. В противоположность буржуазным примиренческим теориям, пролетариат стоит на точке зрения непримиримой классовой борьбы. В то время как буржуазия признает лишь тождественное, равное самому себе бытие, т.-е. неизменность существующего общественного строя, пролетариат считает это бытие изменяющимся, становящимся, внутренне противоречивым. Рабочий класс не находит для себя удовлетворения в нынешнем обществе, и поэтому он борется против этого общества за новую форму общественной жизни. Таким образом устанавливается переход от бытия к небытию, от существующего к несуществующему, к будущему. И общество, как целое, оказывается *утверждением и вместе с тем отрицанием*... Пролетариат оказывается отрицательной стороной, и именно поэтому он является носителем прогресса, развития, представителем будущего; в своей борьбе за свободу, счастье и культуру он идет дальше, чем какой бы то ни было иной общественный класс; он является борцом за *высший тип общественного бытия*, т.-е. *истинным представителем культуры*. Стремясь сбросить с себя оковы, он отрицает себя, как пролетариат, он отрицает нынешнее общество, для которого необходимо существование рабочего класса. Борясь за собственное освобождение, он борется и за освобождение всего общества, потому что потребности пролетариата выражают интересы об'ективного развития, т.-е. они совпадают с интересами и потребностями человечества. Одним словом, пролетариат есть тот общественный класс, который является *носителем будущего*.

Марксизму по существу чужда какая бы то ни была догматическая формула, потому что в основе марксистского мировоззрения лежит прежде всего *диалектический метод*, а природа и история представляют собой не что иное, как *диалектический процесс*, т.-е. вечную *критику* всего данного. Итак, те, которые, с точки зрения буржуазных идеологов, являются ограниченными догматиками, на самом деле оказываются революционерами, беспрестанно критикующими все раз навсегда

данные шаблоны и формулы. Марксизм стоит на точке зрения релятивизма, потому что он не признает вечных категорий. Правовые формы и формы собственности, государство и религия, логические и этические нормы не имеют для него абсолютной ценности. Он считает их историческими категориями, т.-е. такими категориями, которые возникают при определенных условиях и исчезают вместе с ними. «Для диалектической философии нет ничего раз навсегда установленного, безусловного, святого. На всем и во всем видит она печать неизбежного падения, и ничто не может устоять перед нею, кроме непрерывного процесса возникновения и уничтожения, бесконечного восхождения от низшего к высшему. Она сама является лишь простым отражением этого процесса в мыслящем мозгу. У нее, без сомнения, есть и своя консервативная сторона: каждая данная ступень развития науки или общественных отношений оправдывается ею ввиду обстоятельств данного времени, но—не больше. Ее консерватизм относителен, ее революционный характер безусловен,—к нему сводится все то безусловное, для которого в ней остается место» [1]).

Все относительно, лишь относительность абсолютна, как говорит француз. Не даром великий Гераклит усматривал сущность всех вещей во все поглощающем огне; и не даром нескончаемое течение стремительного потока представляло собой для него картину процесса, совершающегося в природе и истории. Первый великий диалектик был первым социологом, который высказал мысль, что развитие истории и общества совершается путем борьбы социальных сил. «Взору великого эфесца всюду раскрывается игра противоположных сил и свойств, взаимно обусловливающих и возбуждающих друг друга; закон полярности как бы обнимает собой вселенскую жизнь, и все остальные законы заключены в нем» [2]).

Конечно, Гераклит боролся против демократии в интересах аристократии, к которой сам он принадлежал. Когда он провозглашал идею противоречия и неравенства, общественное значение его философии заключалось в том, что он хотел противопоставить ее философии демократии, отстаивавшей для всех полноправных граждан принцип единства и равенства пред законом. Но истинный смысл его философии был таков: «насколько необходимо, чтобы все раз'единялось, противополагаясь, настолько же необходимо и то, чтобы противоположности вновь об'единялись» [3]). Демократические элеаты подчеркивали единство всех, между тем как аристократический Гераклит выдвигал противоположные моменты, противоречия. Если Гераклит в свое

[1]) Энгельс, Людвиг Фейербах, пер. с нем. Г. Плеханова, Женева 1905, стр. 4.
[2]) Th. Gomperz, Griechische Denker, 1. Band, 1896, S. 59,
[3]) Zeiler, Die Philosophie der Griechen, 1 Teil, 1876, 4 Auflage, S. 602.

время подчеркивая противоположности, то марксизм стремится превратить противоречия и проявления дисгармонии в современном обществе в высшее единство и в гармонию целого.

Современные буржуазные идеологи становятся на кантианскую точку зрения, оперируя кантовскими антиномиями, которые находят свое разрешение лишь в потустороннем мире. Для буржуазии удобно предполагать, что окончательное разрешение социального вопроса недостижимо, «потому что на земле не существует ничего совершенного», как говорит, напр., Карнери (Der moderne Mensch, S. 13). Всякие противоречия или «антиномии» могли бы разрешаться лишь в сверхчувственном мире. Но, в противоположность Канту, Маркс и Энгельс учат нас, что развитие совершается благодаря борьбе противоположностей, и что эти противоположности непременно должны быть преодолены на нашей грешной земле, при чем последний член этого ряда, т.-е. переход к новому «синтезу», совершается всегда посредством «скачка», революционного акта... Принципы революции свойственны всему миру, всему существующему и всему бытию; они оказываются всеобщим законом. Революции в истории представляют переходные формы от одного состояния культуры к другому, более высокому типу культуры. С другой стороны, определенное данное состояние культуры развивает имманентные ему противоречия, разрешение которых осуществляется путем революционного акта. Итак, если революция является формой перехода от одного «качества» к другому, от низшей стадии культуры к более высокой, то содержание социально-политических революций составляют рост культуры, под которой мы разумеем как можно более полное соответствие между общественными учреждениями и потребностями человеческого рода и при котором устанавливается как можно более гармоническое соответствие между интересами личности и интересами общества.

Но истинная культура не соответствует желаниям господствующих классов и прежде всего буржуазии. Под культурой она разумеет возможность эксплоатировать рабочий класс и обеспечивать только для себя свободу, дающую возможность исключительно ей пользоваться приобретениями культуры. Пролетариат же борется в настоящее время за полную и истинную культуру, чтобы доставить всем людям возможность жить человеческой жизнью. В настоящее время развитие культуры совершается благодаря классовой борьбе. Все созидающий пролетариат оказывается неимущим и пока он «ничто»; между тем как ничего не создающая буржуазия оказывается обладающей всем. Она есть все. Труд подчиняет природу, преодолевая все препятствия; он доставляет роду человеческому возможность жить

свободно и счастливо; рабочий является истинным представителем культуры, потому что только благодаря труду человек стал человеком. Одним словом, только рабочий творит «чудеса», и однако он является лишь все производящим рабом, безземельным властителем. Но мир должен принадлежать труду; труд завоюет мир, потому что именно в этом заключается смысл социальной борьбы, смысл всей культуры.

Буржуазия некогда была революционным классом, и она еще отчасти продолжает быть таковым в тех странах, где дело идет о завоевании формальной свободы и буржуазной культуры. Однако общественное положение заставляет ее быть консервативной даже в революции. Она вынуждена рассматривать все многообразие общественных явлений, с точки зрения консервативного начала—обладания собственностью. В обществе, в котором даже все подвижимые блага стали движимыми «товарами», все изменчиво. Но производственные отношения, отношения собственности должны оставаться неизменными — этого требует буржуазия, потому что она представляет собой суб'ект этого «бытия» и, следовательно, олицетворение неизменности. В философии она принимает за исходный пункт равное самому себе бытие, абсолютно покоящуюся и неизменную субстанцию, которая составляет сущность всех явлений. Субстанция, вещь в себе, есть лишь проекция этого покоя, этой неподвижности и неизменных отношений бытия...

Наоборот, рабочий сам стал об'ектом собственности, товаром: не только товары, но и все отношения, как отношения собственности с его точки зрения, текучи и изменчивы.

«Частная собственность, как частная собственность, как богатство, вынуждена сохранять как свое собственное бытие, так и бытие своей противоположности»—пролетариата. Эта положительная сторона противоречия, удовлетворенная сама в себе частная собственность.

Напротив, пролетариат, как пролетариат, вынужден отвергнуть самого себя и тем самым и обусловливающего противоположность, делающую его пролетариатом,—частную собственность. Это—отрицательная сторона противоречия, его неуравновешенность в себе, упраздненная и упраздняющая себя частная собственность...

В пределах самого противоречия частный собственник представляет собой консервативную сторону, пролетарий—разрушительную. От первого исходит действие, направленное на сохранение противоречия, от второго—«действие, направленное на его упразднение» [1]).

---

[1]) Marx, Die Heilige Familie, Nachlass, 2. B., S. 133.

Собственность является для буржуазии исходным пунктом всего общественного бытия, всех социальных явлений. Все движется, все изменяется, но только до определенного конечного пункта, который навсегда должен оставаться неподвижным. Собственность является тем центром, вокруг которого все вращается. Поэтому буржуазные идеологи оказываются подлинными «элеатами», и вместе с этими прототипами философии неизменности и постоянства; они могут сказать: все есть иллюзия, видимость, существует лишь неизменное, неподвижное и непреходящее бытие, а именно бытие данных общественных отношений. Это определенное бытие является исходным пунктом и конечною целью всей буржуазной культуры и свободы. Для буржуазии и для ее идеологов существующее есть конечный предел, а все попытки пойти далее его должны оказываться тщетными. Различные изменения и движения еще допустимы в мире видимости, но не в мире бытия, социальной «вещи в себе»—собственности. С их философской точки зрения существующий порядок общественных отношений представляет собой законченную и раз-навсегда данную форму общественного бытия. Они борются за покой и неподвижность...

Пролетариат—ничто и он ничего не имеет,—следовательно, он является представителем беспокойства, движения и прогресса. Для него субстанцией и сущностью всех вещей является не бытие, а становление; он признает не застывшее бытие, а вечный процесс. Пролетариат всегда должен стремиться вперед к более высоким формам существования, потому что сам он представляет собой момент отрицания существующего порядка. Итак, пролетариат становится истинным борцом за прогресс, а, следовательно, за культуру. Если существующее (достигнутая стадия культуры) имеет ценность для буржуазии, которая находит в нем покой и источник наслаждения, то для пролетариата покой и неизменность означают страдание и муку. Пролетариат должен стоять за изменение существующего, чтобы избавиться от своих страданий. Между тем как для буржуазии и для ее идеологов общественное (и всякое иное) движение является лишь определенной формой неизменного бытия, с марксистской точки зрения социальное (и всякое иное) бытие является лишь определенной формой и определенной фазой движения и становления. Итак, по мнению тех, кто ничего не делает, в основе мира лежит покой, а по мнению тех, кто все создает, в основе мира лежит работа, движение, деятельность. Поэтому первые сводят все формы движения к неподвижной субстанции, между тем как последние сводят к определенным формам движения, даже будто бы неподвижную субстанцию; для первых (как для элеатов) кажущееся движение является формой покоя.

Для последних кажущийся покой является формой движения. Чтобы увековечить свое бытие, буржуазия и ее идеологи отрицают социальный прогресс, между тем как пролетариат, отрицая «бытие» буржуазии, рассматривает его, как фазу развития, как форму инобытия. Пролетариат стремится к высшему общественному строю; высший культурный идеал, который он стремится осуществить,—это всеобщая солидарность, социалистическая организация. Это по существу вытекает из его положения в современном обществе, потому что пролетариат «не может упразднить своих собственных жизненных условий, не упразднив всех бесчеловечных жизненных условий современного общества, сосредоточившихся в его собственном положении».

Итак, рабочий является носителем «обще-человеческого» культурного идеала, который осуществляется благодаря об'ективному историческому развитию и, наконец, путем революционного «акта», как момента, имеющего решающее значение. Буржуазия отрицает революцию во имя буржуазной неполной культуры, между тем как пролетариат, во имя обще-человеческой культуры, считает революцию необходимой переходной ступенью, потому что всякая революция означает не что иное, как разрешение противоречий и, следовательно, создание новых форм, благодаря которым люди поднимаются на более высокую ступень культуры. С этой точки зрения, всякая победа революции есть величайшая победа культуры...

В нашу эпоху содержание культурной борьбы составляет противоположность между теми, которые ничего не имеют и которые составляют «ничто», но которые все создают, и теми, которые всем обладают, но ничего не создают.

Те, которые теперь ничто, должны стремиться стать всем. Мир должен принадлежать тем, кто создает все. Но, «одержав победу, пролетариат никоим образом не становится абсолютной стороной общества, ибо он одерживает победу, только упраздняя самого себя и свою противоположность. С победой пролетариата исчезает как сам пролетариат, так и обусловливающая его противоположность, частная собственность» («Святое семейство»).

Эти резкие противоречия разрешаются путем исторического развития и революции, как переходной ступени, и акта, имеющего решающее значение. И это разрешение наиболее резких противоречий, победа пролетариата, окажется величайшим торжеством культуры.

К вопросу о логических судьбах теории множеств.

II. Аксиоматика и диалектика [1]).

Гр. Баммель.

1.

Общий взгляд на возникновение аксиоматического направления.

Аксиоматика в логике и математике является диалектическим детищем логистики. Как «продолжение» логистики, она требует тщательного знакомства с ее историческими судьбами.

Исторические судьбы логистики были уже заложены, так сказать, в ее исходных пунктах. Логистика возникла в тот момент, когда новейшие успехи чистой математики переросли законы традиционной логики, а логика усвоила язык и характер формальной математической науки. Математическая логика первоначально и была попыткой дать логическое обоснование чистой математики. Если математики с успехом мирились до сих пор с понятиями, которые с точки зрения традиционной логики не выдерживали критики, то новая ветвь чистой математики, теория множеств, как бы указывала логике образец нового метода, которым логика могла воспользоваться для преодоления собственных затруднений. Поэтому в то время, как математика вводила и развивала понятия столь общего характера, что они граничили с логикой, логика вводила и развивала понятия и язык математики. «Логическое обоснование математики» выродилось в формализирование ее понятий. Для идеалистической философии, **которая находилась в плену у формальной логики**, дело шло о том, чтобы свести математику (анализ) к арифметике, так как арифметика легче всего поддавалась формальной логической обработке. Арифметика, как формальная наука о числе, в руках Кантора получила столь обобщенное широкое толкование, что **теория множеств** была вынесена за пределы чисто-количественной, специфически «математической» области и рассмотрена, как формальная логическая теория. Особенность логистики состояла в том, что она с самого начала, инспирируемая, так сказать, различными **философскими** учениями, не занялась

[1]) Статья безусловно предполагает знакомство с предыдущей статьей того же автора: „Логистика и диалектика",—„Под Знам. Маркс." № 2—3 1925 г.

математическими идеями Кантора, а обратила внимание лишь на логическое значение теории множеств вообще. Понятие «множества» потеряло и тот остаток конкретного, т.-е. математического значения, которое еще можно было открыть в математических работах Кантора [1]). Кроме того, реакционная философия, свившая себе гнездо под математической оболочкой теории самого Кантора, была, конечно, на-руку логистам, так как она как бы оправдывала то логическое и философское направление, которое они придали развитию теории множеств.

На этом-то пути, на пути логизирования и обобщения, теория множеств натолкнулась на подводные камни «внутренних противоречий» («парадоксов»)[2]): понятия, которые теория клала в основы своего, т.-е. классического, учения о множествах (Mengenlehre), оказались понятиями противоречивыми, совершенно не согласующимися с законами общепринятой («формальной») логики.

Одним из первых, указавших на внутренние противоречия в теории множеств, был итальянский математик Бурали-Форти. Его рассуждение (1897 г.) сводилось к следующему. Образуем, говорит он, такое множество *M*, которое будет заключать в себе все порядковые числа [3]); расположенные в ряд, эти порядковые числа составят новое порядковое число *m*, которое будет больше всех остальных порядковых чисел. Тогда всякое порядковое число, находящееся в нашем множестве *M*, будет меньше порядкового числа *m*, и, следовательно, порядковое число *m* не находится в множестве *M*, а это и противоречит нашему исходному условию, что множество *M* заключает в себе все порядковые числа. Таким образом, множество всех порядковых чисел есть внутренне-противоречивое понятие.

Из других авторов, указавших на различные «парадоксы» теории множеств, наибольшую популярность приобрел «парадокс Б. Ресселя» [4]). «Парадокс», названный его именем, состоит в следующем [5]). Всякое множество или содержит себя в качестве своего элемента, или себя не содержит. Множество: «все деревья» себя не содержит, потому что это множество само не есть дерево. Множество «все вещи», наоборот, себя содержит, как элемент в ряду других элементов, потому что это множество тоже есть абстрактная «вещь».

Возьмем множество всех таких множеств, которые сами себя не содержат. Спрашивается: содержит ли это множество себя в качестве своего элемента или нет? Допустим, что оно содержит себя в качестве своего элемента; но по условию элементами нашего множества являются все такие множества, которые сами себя не содержат, и, следовательно, если допустить, что наше множество само себя содержит, то оно себя не содержит. Но допустим в таком случае последнее,—именно, что наше множество само себя, как элемент, не содержит. Но если это так, то оно

---

[1]) „П. З. М.“ № 2—3, стр. 33—35.

[2]) Felix Bernstein, в „Jahresb. d. d. M. - Ver.“, 1919, S. 73, так и пишет „die klippen der Paradoxien“

[3]) Речь идет о трансфинитных (бесконечных) числах Кантора, см. „П. З. М.“ № 2—3, стр. 29.

[4]) См. статью: „Mathem. Logic based on the theory of tipes“,—„Amer. Journ. of Math.“, 1908, p. 220.

[5]) См. „П. З. М.“ № 2—3, 1925 г., стр. 45.

находится в ряду тех множеств, которые образуют наше множ
ство (потому что последнее как раз состоит из таких множест
которые сами себя не содержат), и, следовательно, если на
множество находится в ряду своих элементов, то оно себя соде
жит в качестве своего элемента. Но в таком случае мы опя
противоречим нашему условию. Следовательно, множество вс
множеств, не содержащих себя в качестве своих элементов, ес
внутреннее противоречивое понятие.

Так как один парадокс всегда «страшнее» выглядит, чем цел
куча парадоксов, то Рессель напомнил, что еще в древности бы
известны подобные «парадоксы». Таков, напр., софизм (по Р
селю—«неразрешимое противоречие»), известный под именем Эп
менида Критского. Критский ученый Эпименид написал: «В
критяне лжецы». Тогда один его остроумный ученик сказа
«Этого не может быть, потому что, если Эпименид говорит прав
то он лжет, так как он сам критянин; если же он лжет, т.
если критяне говорят истину, то и Эпименид должен быть т
ким же, и поэтому то, что он говорит, должно быть истин
т.-е. что критяне лжецы», и так далее, до бесконечности.

Как это ни звучит фантастически, но существуют маркс
сты, которые приходят в умиление и рукоплещут, когда соф
стика «современной» логики демонстрирует подобные фокусы. «
кону противоречия грозит величайшая опасность потерпеть к
шение в своей собственной области,—кричат они, захлебывая
от восторга, и, делая большие глаза, добавляют: здесь са
замечательное в том, что не предполагается ни понятия движ
ния, ни изменения». Наконец, вывод этого марксистского пи
теля таков: «Я должен только заметить, что то решение, котор
дал сам Б. Рессель в своих «Principia matematica» (стр. 38—6
принципиально совпадает с диалектически-логическим решени
С этим решением и сделавшимися необходимыми для него при
ципами, которые должен был принять Рессель, была покину
область формальной логики. Рессель вступил в несравненно бо
широкую и плодотворную область, где открылись широчайш
горизонты—в область диалектической логики».

И, действительно, посудите сами: теория множеств, са
новейшая ветвь математики, вдруг открывает в своей собствен
области «внутренне-противоречивые понятия» и формальная
гика терпит крушение. Ну, какой тут святой устоит против
кушения провозгласить открытыми широчайшие горизонты д
лектики!

Но диалектика—не фиговый листочек для св. Антония. Д
лектика требует конкретного, следовательно, всестороннего а
лиза данного логического понятия. Если перед нами—логи
ское противоречие, запрещенное формальной логикой; то отсюд
только на том основании, что диалектика рассматривает каж
явление как «борьбу противоречий»—нельзя делать вывода о «
зисе» или «крушении» формальной логики и «торжестве» д
лектики. Вот почему мы всегда вправе спрашивать таких а
ров: не скрываете ли вы «диалектикой» путаницу в вашей с
ственной голове? не оправдываете ли вы «диалектикой» ва
собственные ошибки? не является ли для вас «диалектика» п
логом для того, чтобы увильнуть от кропотливой и труд
работы по разбору конкретных фактов, фактов и фактов?

рассматриваете ли вы диалектику как средство, которое нужно для того, чтобы «просунуть хвост, где голова не лезет» (выражение Ленина)?

В самом деле, в чем заключается об'яснение только что изложенных «парадоксов теории множеств», как не в элементарных формально-логических ошибках? Все эти рассуждения, из которых в качестве примера мы могли привести за недостатком места только два «парадокса», состоят из так называемых «силлогизмов» (умозаключений), основные понятия которых не трудно подвергнуть анализу. И с этой точки зрения совершенно ясно, что безграничный абсолютный формализм логистов не замечает, какие двусмысленные толкования допускают употребляемые ими термины.

Вот парадокс Бурали-Форти. Весь «эффект» этого парадокса основывается на том, что понятие порядкового числа здесь употребляется два раза не в одинаковом смысле. Первый раз оно вводится для того, чтобы дать определение множества всех порядковых чисел, а второй раз — для того, чтобы определить порядковый тип этого множества. Кроме того, еще два обстоятельства вынуждают нас признать формально-логический характер ошибки Бурали-Форти: 1) для того, чтобы определить новое порядковое число, вовсе нет необходимости вводить понятие самого множества всех остальных порядковых чисел; 2) порядковые числа располагаются в ряд, очевидно, по величине единичных порядковых чисел, а новое порядковое число полагается после всех порядковых чисел, как множество всех порядковых чисел.

Возьмем парадокс Рессля. Остроумное об'яснение его дал сам Рессель (см. «П. З. М.», № 2—3, стр. 45). Противоречие возникает по той простой причине, что смешивают понятия различного «типа»: множество и элемент множества; что вся совокупность значений данной переменной не может находиться в ряду отдельных значений этой переменной, это совершенно ясно, и поэтому нельзя определять собрание (множество) об'ектов такими его элементами, для определения которых необходимо знать всю совокупность об'ектов, т.-е. это самое множество. То, что охватывает в своем понятии данное множество, не может быть элементом этого множества. Когда Эпименид говорит: «Все критяне лжецы», это истина одного «типа», но если «Эпименид—лжец», то это истина уже другого типа, и его «ложь» всякий раз в изложенном выше софизме—будет все нового и нового типа. Все, что охватывает «все», само не может быть частью этого (второго) «всего».

Если вдуматься в «теорию типов» Ресселя не с точки зрения логического обоснования, которое она получила в системе логистики, а под углом зрения того, что прежде всего пугает Ресселя, что стремится запретить он, что считает он злом, основным злом всех затруднений «теории множеств», то основная мысль его вполне заслуживает одобрения: это простая вещь—избегайте, говорит Рессель, ошибки, которую вы все хорошо знаете по учебникам элементарной логики, где она называется «порочным кругом» (circulus vitiosus). Этот закон формальной логики гласит: ни одно понятие нельзя определить через самое себя, или: нельзя определять или доказывать посредством понятия, которое должно

находится в ряду тех множеств, которые образуют наше множ ство (потому что последнее как раз состоит из таких множеств которые сами себя не содержат), и, следовательно, если наш множество находится в ряду своих элементов, то оно себя соде жит в качестве своего элемента. Но в таком случае мы опя противоречим нашему условию. Следовательно, множество все множеств, не содержащих себя в качестве своих элементов, ест внутреннее противоречивое понятие.

Так как один парадокс всегда «страшнее» выглядит, чем цел куча парадоксов, то Рессель напомнил, что еще в древности бы известны подобные «парадоксы». Таков, напр., софизм (по Ре селю—«неразрешимое противоречие»), известный под именем Эп менида Критского. Критский ученый Эпименид написал: «В критяне лжецы». Тогда один его остроумный ученик сказа «Этого не может быть, потому что, если Эпименид говорит прав то он лжет, так как он сам критянин; если же он лжет, т.- если критяне говорят истину, то и Эпименид должен быть т ким же, и поэтому то, что он говорит, должно быть истинн т.-е. что критяне лжецы», и так далее, до бесконечности.

Как это ни звучит фантастически, но существуют маркс сты, которые приходят в умиление и рукоплещут, когда соф стика «современной» логики демонстрирует подобные фокусы. «З кону противоречия грозит величайшая опасность потерпеть кр шение в своей собственной области,—кричат они, захлебываяс от восторга, и, делая большие глаза, добавляют: здесь сам замечательное в том, что не предполагается ни понятия движ ния, ни изменения». Наконец, вывод этого марксистского пис теля таков: «Я должен только заметить, что то решение, котор дал сам Б. Рессель в своих «Principia matematica» (стр. 38—68 принципиально совпадает с диалектически-логическим решение С этим решением и сделавшимися необходимыми для него пр ципами, которые должен был принять Рессель, была покину область формальной логики. Рессель вступил в несравненно бол широкую и плодотворную область, где открылись широчайш горизонты—в область диалектической логики».

И, действительно, посудите сами: теория множеств, сам новейшая ветвь математики, вдруг открывает в своей собствен области «внутренне-противоречивые понятия» и формальная л гика терпит крушение. Ну, какой тут святой устоит против і кушения провозгласить открытыми широчайшие горизонты ди лектики!

Но диалектика—не фиговый листочек для св. Антония. Ди лектика требует конкретного, следовательно, всестороннего ан лиза данного логического понятия. Если перед нами—логич ское противоречие, запрещенное формальной логикой; то отсюда только на том основании, что диалектика рассматривает кажд явление как «борьбу противоречий»—нельзя делать вывода о «к зисе» или «крушении» формальной логики и «торжестве» ди лектики. Вот почему мы всегда вправе спрашивать таких ав ров: не скрываете ли вы «диалектикой» путаницу в вашей с ственной голове? не оправдываете ли вы «диалектикой» ва собственные ошибки? не является ли для вас «диалектика» пр логом для того, чтобы увильнуть от кропотливой и труд работы по разбору конкретных фактов, фактов и фактов?

рассматриваете ли вы диалектику как средство, которое нужно для того, чтобы «просунуть хвост, где голова не лезет» (выражение Ленина)?

В самом деле, в чем заключается об'яснение только что изложенных «парадоксов теории множеств», как не в элементарных формально-логических ошибках? Все эти рассуждения, из которых в качестве примера мы могли привести за недостатком места только два «парадокса», состоят из так называемых «силлогизмов» (умозаключений), основные понятия которых не трудно подвергнуть анализу. И с этой точки зрения совершенно ясно, что безграничный абсолютный формализм логистов не замечает, какие двусмысленные толкования допускают употребляемые ими термины.

Вот парадокс Бурали-Форти. Весь «эффект» этого парадокса основывается на том, что понятие порядкового числа здесь употребляется два раза не в одинаковом смысле. Первый раз оно вводится для того, чтобы дать определение множества всех порядковых чисел, а второй раз — для того, чтобы определить порядковый тип этого множества. Кроме того, еще два обстоятельства вынуждают нас признать формально-логический характер ошибки Бурали-Форти: 1) для того, чтобы определить новое порядковое число, вовсе нет необходимости вводить понятие самого множества всех остальных порядковых чисел; 2) порядковые числа располагаются в ряд, очевидно, по величине единичных порядковых чисел, а новое порядковое число полагается после всех порядковых чисел; как множество всех порядковых чисел.

Возьмем парадокс Ресселя. Остроумное об'яснение его дал сам Рессель (см. «П. З. М.», № 2—3, стр. 45). Противоречие возникает по той простой причине, что смешивают понятия различного «типа»: множество и элемент множества; что вся совокупность значений данной переменной не может находиться в ряду отдельных значений этой переменной, это совершенно ясно, и поэтому нельзя определять собрание (множество) об'ектов такими его элементами, для определения которых необходимо знать всю совокупность об'ектов, т.-е. это самое множество. То, что охватывает в своем понятии данное множество, не может быть элементом этого множества. Когда Эпименид говорит: «Все критяне лжецы», это истина одного «типа», но если «Эпименид—лжец», то это истина уже другого типа, и его «ложь» всякий раз в изложенном выше софизме—будет все нового и нового типа. Все, что охватывает «все», само не может быть частью этого (второго) «всего».

Если вдуматься в «теорию типов» Ресселя не с точки зрения логического обоснования, которое она получила в системе логистики, а под углом зрения того, что прежде всего пугает Ресселя, что стремится запретить он, что считает он злом, основным злом всех затруднений «теории множеств», то основная мысль его вполне заслуживает одобрения: это простая вещь—избегайте, говорит Рессель, ошибки, которую вы все хорошо знаете по учебникам элементарной логики, где она называется «порочным кругом» (circulus vitiosus). Этот закон формальной логики гласит: ни одно понятие нельзя определить через самое себя, или: нельзя определять или доказывать посредством понятия, которое должно

быть в свою очередь само определено или доказано. И мы го[illegible] об'явить себя союзниками Бертрана Ресселя, когда он рыца[illegible] защищает честь этого славного принципа всеми гонимой форм[illegible]ной логики.

Но Рессель и в этом случае рискует остаться в одиноче[illegible] со своей дамой. Во всяком случае, отсюда ясно, какую [illegible]вежью услугу оказывают диалектике марксизма те писатели, [illegible]торые отбивают охоту у нашего рыцаря защищать честь с[illegible] дамы. Дело в том, что учение о «логических типах» все-таки не[illegible] сводить целиком к безобидному требованию: избегать circ[illegible] vitiosus. Во-первых, теория «типов» Ресселя есть только час[illegible]ное выражение его же более общего положения о «функц[illegible] истинности (или верности)»[1]). Если Эпименид говорит: «все [illegible]тяне лжецы», то это для Ресселя вообще не может быть ни ис[illegible]ным, ни ложным. Только предложение, что «данное суждение [illegible]менида ложно или истинно», может быть истинным и ложн[illegible] Искусственность и произвольность такой галлереи «ти[illegible] совершенно очевидна [2]). Вместо того, чтобы прямо постав[illegible] и решить вопрос о критерии (мериле) истинности, Рессель ув[illegible]вает от вопроса и отодвигает его решение посредством са[illegible] обыкновенного маневра: классифицировать суждения и [illegible]нятия по «типам», описывать, перебирать, как четки, «л[illegible]ческие возможности»—и все для того, чтобы не ответить на [illegible]мый важный вопрос: что же такое этот самый «тип»? И че[illegible] должны руководствоваться, выбирая этот, а не «другой» «т[illegible] образуя или не образуя «логического типа», усматривая ег[illegible] этом, а не в том?

Понятие «типа» годится для классификационных целей, [illegible] целей описания, но не для теории познания, отвечаю[illegible] на вопросы: как отличить истинное от ложного? или отк[illegible] черпает наше знание свою истинность? Учение о «логичес[illegible] типах» избегает противоречий ценою отказа от всяк[illegible] критерия истинности: там, где есть противоречие, н[illegible]бежен вопрос—как отличить истинное от ложного? Вместо т[illegible] чтобы прямо поставить вопрос об ошибочности и недопустимо[illegible] противоречивых понятий, «теория типов» отодвигает вопрос, [illegible]тушевывая его «квалификацией» «логических типов».

Во-вторых, искусственность и произвольность этой тео[illegible] прекрасно иллюстрируется тем толкованием, которое она п[illegible]чила в среде самих логистов. Учение о типах было сейчас [illegible] применено к теории бесконечно-больших чисел, а для этого п[illegible] добилась теория логических типов n'ого порядка. Достаточно [illegible]ло заговорить об истинах n'ого порядка, как были торжестве[illegible] водворены истины ω'ого порядка, при чем ω—бесконечно-б[illegible]шое число.

Вопреки всем этим хитроумным ухищрениям, об'яснение [illegible]радокса Ресселя» и подавляющего большинства других надо [illegible]кать лишь в безграничном, поистине метафизическом, фор[illegible]лизме того метода, с которым подходили официальные пред[illegible]вители логистики к теории множеств Георга Кантора. Ка[illegible]

[1]) См. „П. З. М." № 2—3, стр. 49, весь абзац.

[2]) Ср. H. Weyl, „Math. Zeitschrift", 1924, S. 147; A. Fraenkel, Einlei[illegible] in die Mengenlehre. 1924, вопреки F. Bernstein'y „Jahresb. d. d. Math[illegible] Verein", 1919, S. 75.

эти господа говорят примерно так: множество всех вещей есть вещь (они обыкновенно стыдливо добавляют: «тоже вещь» [1]), «понятие», «абстрактная вещь») и, следовательно, должны находиться в ряду этих «вещей», ибо иначе одна вещь (т.-е. «все вещи»!), была бы исключена, и «все вещи» означало бы только «все вещи без одной»,—то невольно себя спрашиваешь: отдают ли они себе вообще отчет в том, что они говорят? Не думают ли они всерьез, что высшей мерой оригинальности является заумный язык и межеумочное сочинительство новых слов? не замечают ли они, что секрет их «логики» давно известен маленьким детям из сказки про белого бычка?

Как бы то ни было, вопрос о «внутренних противоречиях» («парадоксах», «антиномиях», «дилеммах» и т. д. и пр.) «теории множеств» нарушил мирное течение ежемесячных изданий и перепутал редакционные планы. Что касается теории, то о философских хвостиках логистики постарались забыть. Ученые начали усиленно отмахиваться от всякого напоминания о философии. Логическим значением теории множеств стали менее всего интересоваться. Логическое значение ее было сужено. «Логическое обоснование математики», после неудачного опыта формализирования арифметики, в глазах самих ученых выродилось в логическое письмо», в «запись мыслей» («идеографию»). Не удивительно, что теперь Рессель скорее mutiger Pazifist und Politik», чем математик.

Следствием этой реакции и явилось то, что на первый план вновь выдвинулась математика, а не логика. Если классическая (канторовская) теория множеств была поколеблена в глазах логиков, то в глазах математиков она нуждалась лишь в дальнейшей математической разработке. Математика более не позволяла ни логике, ни философии предписывать ей метод и границы ее собственного исследования. Разрешение своих методологических проблем она сама взяла в свои руки, отбросив заманчивые философские перспективы логического обобщения и формализирования теории множеств. На этой-то почве, на почве чисто-математических интересов, по мере распространения основных чисто-математических идей Г. Кантора, в среде наиболее серьезных и талантливых представителей математической науки (не философии), наметились, почти одновременно, два пути развития теории множеств, два выхода из затруднений классической теории: первый выход состоял в том, чтобы, сузив значение теории множеств и приняв старую математику, дать ей новое логическое об'яснение. Второй выход заключался в новой математике, отвергающей старую логику. В первом случае речь шла о том, чтобы показать, как избегать противоречий, не нарушая принципов старой математики. Во втором случае—надо было заложить математические основы теории множеств независимо от законов традиционной логики, а затем уже строить логику на основе математики. По первому пути пошел Цермело, по второму—Брауер.

Работами последнего и их значением для диалектического понимания математики мы займемся позже, а теперь обратимся к Цермело.

[1]) Очевидно, по принципу „тоже-марксизм".

Задача, которая стояла перед Цермело, состояла в том, бы с самого начала, так сказать, застраховать классичес теорию множеств, которую он принял почти без изменений внутренних противоречий. Поэтому необходимо было вырабо чисто математическое понятие множества, так как канторов определение давало повод к логическим обобщениям, а одно «логики» уж больно пугало проклятыми парадоксами. И, низируя над логистикой, Цермело противопоставляет «фил фии» ее поборников строгую математику Кантора. Если логист пленившись тем расширением, которое получили у Кантора п тия числа, количества и величины, пошла по пути дальнейш логического обобщения, то Цермело, наоборот, занялся упр нием и разложением теории на ее основные простей понятия; далее он проанализировал эти основные пон со стороны их взаимной связи и обусловленности, и свел необходимому наименьшему числу таких положений, кото во-первых, не допускали никаких, по его мысли, сомнени своей истинности, были, так сказать, аксиомами, и кото во-вторых, позволяли вывести из себя чисто логически все ı жения канторовской теории множества таким образом, что будущем не попадать в ловушку опасных «парадоксов». М избранный Цермело, априорный, абстрактно-логический, дви щийся от одной априорной аксиомы к другой аксиоме п чисто-логических выкладок. В данном случае Цермело с вал примеру Гильберта, который еще в 1899 году в линиях т такого метода, названного им аксиоматическим, изл «основы геометрии». Но преобразование метода всегда зано с вопросами мировоззрения. Так и в данном случае было связано с вопросом о философских основах мате ки, т.-е. о теории познания и логики, потому что только те познания оправдывает выбор того или иного метода. И в на щее время мы видим, как в работах Гильберта и его многочи ных учеников, аксиоматический метод изображается лишь одно из положений всеоб'емлющей аксиоматической тео целого мировоззрения, «философии математики».

2.

Цермело и логическая оценка его теории. Критика: 1) следы вл логистики (логистические понятия в математике): «признаки» элеме «область» множеств; 2) принцип атомизма и его противоречия. От мело к Гильберту.

Вполне упорядоченным множеством» (wohlgeordnete M Кантор называл упорядоченное множество M в том случае, всякая отличная от нуля часть множества M (в частности, довательно, и само M) содержит первый элемент.

Для того, чтобы раз'яснить это определение, допусти произвольно взятый элемент вполне упорядоченного множеств

$$M\left\{\, a_1 \quad b_2 \quad c_3 \quad a'_4 \quad b'_5 \quad c'_6 \,\right\}$$

Пусть N часть множества M

$$N\left\{\, a'_4 \quad b'_5 \quad c'_6 \,\right\}$$

именно, множество всех элементов, следующих после c до M, т.е. множество тех элементов n, для которых $a < n$. По определению вполне упорядоченного множества частичное множество N обладает первым элементом a, и для него $c < a$. В таком случае между c и a, *не может лежать третий элемент*. Другими словами, во вполне упорядоченном множестве для каждого элемента (кроме последнего) существует *только один непосредственно последующий* элемент.

Кантор не доказал, что всякое, следовательно и *бесконечное*, множество можно привести в форму вполне упорядоченного множества. Он рассуждал так: из любого данного упорядоченного или совершенно не упорядоченного множества берем произвольно элемент, из остальной части выбираем второй элемент, из нового остатка берем третий и т. д., пока не исчерпаем всего множества. Поставив затем элементы в ряд, в порядке, в котором мы выбирали, мы получим вполне упорядоченное множество.

Но этот ход мысли в глазах математиков не мог служить *доказательством* по той простой причине, что именно возможности полного исчерпания бесконечного множества он не доказал, а скорее иллюстрировал, как фактически должно было бы исчерпываться произвольно взятое множество. Само рассуждение пользуется расплывчатым «и так далее» в то время, как цель доказательства состояла именно в том, чтобы об'яснить, какой смысл вкладывается в это выражение. Но Кантор говорит «и так далее», а это противоречит тому очевидному факту, что несосчитываемые бесконечные множества неисчерпаемы,—по крайней мере, конечным числом операции не могут быть исчерпаны [1]).

На этом примере особенно характерно сказывается основное противоречие, которое уже отмечалось выше в логической характеристике канторовской теории [2]). Противоречивость всей системы Кантора заключалась в том, что она сперва формализировала, отвлекалась от всякого содержания, от всякого отношения к реальной действительности, переносилась в сверх'естественный мир безжизненных абстракций, а затем об этих абстракциях судила так, как судят о самых конкретных вещах, о живых существах и явлениях. Система Кантора вся целиком вытекала из формулы: субстанция и ее проявления (вещь и ее качества, предмет и его свойства), ибо таково было в конечном счете его понятие множества.

Вот почему Цермело [3]) с самого начала сознательно избегает дать какое бы то ни было *определение* множества, как некого предмета с особыми свойствами. Для него множество не есть исходный пункт теории; не есть нечто реальное, само собой разумеющееся, легко представимое по аналогии с реальными собраниями, как это выходит по определению Кантора. Цермело [4]) вообще не интересуется *понятием* множества вообще, как некоторой *совокупности* вещей. Какие вообще могут быть логические определения множества? Что такое множество само

[1]) Ср. A. Fraenkel, op. cit., S. 141—142.
[2]) «П. Зн. М.», № 2—3, стр. 37 (последний абзац).
[3]) Там же, стр. 28 (первый абзац).
[4]) Для дальнейшего см. Zermelo в «Mathem. Annal.», 65 (1908), 107—128, 261—281, и отчасти 59 (1904), S. 514.

но себе? Образуется ли множество из элементов? или, наобор элементы вытекают из наперед данного множества?—все эти просы, по Цермело, нисколько не касаются аксиоматическ обоснования теории множеств. Он избирает противополож путь: он берет теорию множеств, как она исторически сложила и выискивает первые принципы, которыми можно обосновать исходные пункты. Канторовское понятие множества было слиш общим, потому что ясно не всякое общее понятие по свое об'ему, т.-е. не всякую совокупность, можно рассматривать множество. Если с самого начала основываться на определ ных, специфически математических принципах, то мы смож построить теорию множеств, свободную от противоречий [1]).

Цермело исходит из ряда понятий, которые он обознач словами «область», «множество», «вещь», «основное отношени Теория множеств имеет дело с некоторой «областью B», в ко рой имеем ряд об'ектов; эти об'екты обозначим «вещами». жду этими вещами существуют определенные «отношения»; зависимости от формы их взаимного отношения эти вещи на ваются «множествами». Затем мы можем сказать, что множес m равно множеству n, или не равно, и это мы выражаем в з ках: $m=n$. m n. Это есть тождество и различие двух множес Далее, мы можем установить столь же очевидное и естествен отношение, для обозначения которого, вводим знак Σ (п вая буква греческого слова esti, есть); если сказать: m Σ то это значит, что m есть n, т.-е. m есть элемент n, или содержится в n. Таким образом «множество» существует постольку, поскольку мы сами в некоторой области («Bereich») пр метов устанавливаем между двумя «вещами» зависимость m Σ

Рассуждая таким образом, развивая столь же формально апрнорно свою мысль, перебирая, как монашенка перебир четки, логические возможности, Цермело вводит ряд «аксио которые действительно могут быть приняты за простейшие ак ны, если только мы условимся говорить о коне ных множествах. Вот его первая аксиома:

если каждый элемент множества m есть в то же время эл мент множества n, то $m=n$.

Или вторая аксиома: если даны два различных множест m и n, то существует по крайней мере одно множество, ко рое содержит m и n в качестве элементов и которое обозначает через (m, n).

Далее, по Цермело: существует множество, не содержащ ни одного элемента, это нулевое множество, Nullmenge;

но если существует один предмет a, то существует множ ство (a), единственным элементом которого является этот пре мет;

если существует множество L, содержащее элементы $A, B,$ являющиеся тоже множествами

$$L\left\{ \quad A\ (a,\ a')\ ,\ B\ (b,\ b')\ ,\ C\ (c,\ c') \quad \right\},$$

то существует еще одно множество S, которое состоит из элем тов всех этих множеств.

[1]) Math. Ann., 65, S. 124.

$$S\,L\left\{ a,\ a',\ b,\ b',\ c,\ c' \right\} . .$$

Мы не будем останавливаться на подробном изложении всех работ Цермело. Для логической оценки его теории достаточно знакомства с его «аксиомами». Впрочем, критический анализ, которым мы сейчас займемся, нам покажет и новые стороны учения Цермело.

Достиг ли Цермело своей цели? Цермело стремился выдвинуть такую систему аксиом для обоснования теории множеств, которая совершенно избегла бы употребления таких «противоречивых» понятий, как «множество всех множеств», «множество всех вещей» и т. д.; и мы действительно видим, что такие понятия запрещены аксиоматикой, и теория множеств поставлена на дорогу, где «парадоксы» Ресселя, Бурали и др. угрожать ей не могут. Проведя резкую границу между логикой и математикой, Цермело запретил доступ в свою теорию общим логическим понятиям, в которых запуталась логистика.

1) Но основной недостаток теории Цермело состоит в том, что она «слишком односторонне» учла опасность «парадоксов» логистики и, избегнув употребления ее «противоречивых понятий», она даже не поставила вопроса о допустимости своих собственных понятий. Между тем не кто иной, как Цермело, употребляет те же «общие логические понятия», которые он хотел навсегда выбросить из канторовской теории. Таким «чисто-логическим» и достаточно «общим» для «внутренних противоречий» понятием является у Цермело понятие «свойства» или «признака Σ» («Eigenschaft Σ»), которое фигурирует в знаменитой «аксиоме выбранных множеств». Аксиома читается так:

Пусть $M=(m,\ n,\ p...)$ есть множество элементов $m, n, p...$, которые сами являются множествами (по крайней мере, с одним элементом); тогда из каждого из множеств $m, n, p...$ можно «выбрать» по одному элементу m_0. n_0. p_0... и образовать множество S, которое содержит все выбранные элементы и только эти выбранные элементы.

Если речь идет о конечных множествах, то применение этой «аксиомы» не встретит затруднений, в чем можно убедиться на любом примере. Но Цермело выставляет систему аксиом, независимо от различения конечных и бесконечных множеств. Если же аксиома выбирания элементов распространяется на бесконечные множества, то возникает вопрос: чем мы руководствуемся при выборе элементов? Цермело отвечает: определенными «признаками», «свойствами» элементов множества. Простейший пример «выбирания» элементов Цермело видит в следующем случае, имеющем у него также «аксиоматическое» значение («аксиома выделения или частичного множества»): пусть m есть множество, а Σ есть определенный признак, свойственный или не свойственный каждому из его элементов,—тогда существует множество, содержащее все те элементы, которые имеют наш признак Σ и, следовательно, это есть «часть» множества m. В этой связи этот характерный признак Σ или принадлежит или не принадлежит элементам множества, у Цермело же определяется так: вопрос или положение Σ, справедливость или несправедливость (Gültigkeit

r Ungültigkeit), которого может быть установлена без всякого произвола основными соотношениями данной области при помощи аксиом и общих логических законов, называется дефинитным (heisst definit), т.-е., скажем, «вырешенным» («определенным», «действительным»),. Вопрос решается таким образом, что не только выделение частичных множеств m, m' из совокупного множества M обосновывается логически (или, по терминологии Цермело, «аксиоматически»), но и «свойство Σ», т.-е. условие, которому должны удовлетворять выбираемые» элементы, само устанавливается всякий раз особой аксиомой на основании «общих логических законов».

Произвольность и туманность этого признака Σ, по которому мы «выбираем» элементы и которое, очевидно, обязательно должно принадлежать или не принадлежать элементам, совершенно очевидна. Здесь встает целая куча вопросов, от которых Цермело трудно увернуться. Во-первых, как это ясно из последнего определения Цермело, это несомненно чисто-логическое понятие и при том столь общее, что легко может послужить источником неисчислимых трудностей. «Свойством Σ», которое принадлежит по аксиоме элементам множества $M=(m, n, p...)$, может оказаться (как это и выходит по аксиоме) свойство «быть множеством». Следовательно, выбирая из множеств m, n, p... элементы по признаку Σ, мы должны заранее знать, каким образом «свойство быть множеством» не принять за признак Σ. Но как раз этого мы не знаем, потому что это — конкретный математический вопрос, и он не может быть решен «общими логическими законами». Остается признать, что аксиома содержит «порочный круг» (circulus vitiosus): чтобы выбрать элементы m_0, n_0, p_0 надо руководствоваться признаком Σ, а для того, чтобы выделить признак Σ, надо иметь готовым выбранное множество S (т.-е. знать, что мы выбрали именно элементы с признаком Σ, а не множества с тем же самым признаком). Во-вторых, если число элементов бесконечно, то мы никогда не сможем проверить, обладает ли каждый элемент свойством Σ. Мы этого не сможем сделать не потому, конечно, что всякий раз могут быть введены все новые и новые элементы (математик не боится «бесконечности»), но потому, что мы не можем быть уверены, существует ли вообще в бесконечном множестве этот признак Σ. В конечном «множестве этот признак Σ несомненно всегда имеется налицо в этом случае мы можем сказать, что он должен быть или налицо, или вовсе отсутствовать, как это выходит согласно «закону исключенного третьего» («данное положение может быть верно или неверно, и третьего не может быть»). Но этот закон в бесконечном множестве может оказаться и ни на чем не обоснованным: математика, как и всякая наука, не может не считаться с тем, что всякое явление в мире вечно изменяется, движется, развивается и, если ее понятия от конечных величин элементарной арифметики, от условных границ одного отрезка действительности переходят к абстрактному воспроизведению процессов движения и развития в их всесторонном содержании, то она вступает в ту область исследования, где «закон исключенного третьего» может оказаться лишь помехой. Но опять-таки это—вопрос конкретно-математического исследования, а не логики, которая — этого не надо забывать!—может, если

хочет, напомнить о себе только тогда, когда математика сделает свое дело. А тут является Цермело и принимается логически убеждать нас в истинности своего признака Σ, в то время как мы не убеждены в истинности его логики.

Доказать свою «аксиому выбирания» так, чтобы она была «самоочевидна» не только для конечных, но и для бесконечных множеств, Цермело не удалось: весь его метод, вся его попытка доказать недоказанную Кантором аксиому о «вполне упорядоченном бесконечном множестве» была направлена именно на математическую, а не логическую задачу, была сознательно ограничена чисто-математической целью, но как только понадобилось обосновать понятие признака Σ в связи с математическим понятием бесконечности, она увязла в «общих логических законах», «очевидность» которых для одних была столь же неоспорима, сколько для других сомнительна.

Математическое детище Цермело вдруг показало огромные философские уши.

Теперь возьмем понятие «области *Б*», из которой исходит Цермело, и покажем, что оно такое же логически надуманное, расплывчатое, противоречивое понятие, как и понятие признака Σ. Для этого нам придется рассмотреть еще одну аксиому Цермело—«аксиому бесконечного множества (des Unendlichen»). Она читается в упрощенной форме так:

Множество *M* называется бесконечным в том случае, если оно не может не содержать элемента *a*, не содержа в то же время как элемент—множества (*a*) (т.-е. множества, в котором *a* есть единственный элемент).

В самом деле, одна, из приведенных выше аксиом гласит, что существует множество, которое содержит единственный предмет: множество бесконечно, если оно содержит один элемент *a*, будет содержать сперва множество (*a*), единственным элементом которого будет это *a*, затем множество $\{(a)\}$, единственным элементом которого будет это (*a*), затем множество $\{\{(a)\}\}$ единственным элементом которого будет $\{(a)\}$, и так далее:

$$Z=\Big\{a,\ (a),\ \{(a)\},\ \{\{(a)\}\},\ \{\{\{(a)\}\}\}\ .\ .\ \ .\ .\ .\Big\}.$$

Так как всякое множество, по Цермело, может стать элементом другого множества, и одного элемента достаточно, чтобы образовать множество, то естественно—раз мы допускаем один элемент, то должны допустить множество с этим единственным элементом, раз допускаем множество, то должны предположить, что оно может быть единственным элементом нового множества, это последнее в свою очередь может быть единственным элементом нового, и так далее. Ясно, что число таких «элементов» может быть «бесконечно».

Эта «аксиома» может произвести ошеломляющее впечатление своей простотой, неуловимостью своего секрета. Но секрет эффектного логического фокуса всякому ясен. «Аксиома бесконечности» основывается на простейшей логической ошибке, которая называется «порочным кругом». Цермело говорит: всякий элемент *m* может стать множеством (*m*), и всякое множество (*m*)

может стать элементом, но всякий элемент может стать множе ством, но всякое множество может стать элементом, но всяки элемент... и пошло, пошло. Древние софисты, несомненно, был более искусны, так как сами не попадали в ту ловушку, кото рую они расставляли для противника. А Цермело, поставивши своей целью раз навсегда избавить теорию множеств от «пара доксов», не смог избегнуть одного парадокса, который мы охотн назовем «парадоксом Цермело». Суть парадокса в том, чт аксиома должна определить множество Z

$$Z = \left\{ a \ , \ (a) \ , \ \left\{ (a) \right\} \ . \quad . \right\}$$

и в то же время пользуется противоречащим этой задаче чисто логическим положением: «всякое множество a может стать элемен том множества (a)»; поэтому и множество Z, очевидно можно рас сматривать как единственный элемент множества $\{ Z \}$, и тогд должно существовать следующее множество

$$Y = \left\{ Z \ , \left\{ (Z) \right\} , \left\{ \left\{ Z \right\} \right\} . \ . \ . \ . \ . \right\}$$

число элементов которого бесконечно. Ясно, что и множество] остается неопределенным, и логическое понятие ничего не гово рит о математическом «бесконечном множестве» потому, что наш Y также может стать единственным элементом множества (Y) т.-е. остается верным ряд новых «элементов» и «множеств»:

$$\left\{ Y, \ (Y), \ . \ . \ . \ . \right\}$$

Другими словами, в математическое рассуждение мы ввел логическое понятие «множества с единственным элементом Это понятие столь же общее и логически-формальное, как і «множество всех множеств» в ресселевском «парадоксе (см. выше). И в самом деле, «бесконечное множество определяютс такими элементами, которые вовсе не исключаю определенного бесконечного множества, и, следова тельно, парадокс Ресселя воскресает в новой форме. Чтобы выйт из этого затруднения, у Цермело остается один выход: признать что «множество» Z бесконечно, но уже должно быть назван не множеством, но областью, и вся последняя аксиома, і сущности, говорит не о множестве, а о бесконечной «области», і которой расположены «вещи», называемые нами «множествами» Мы приходим к выводу, что в системе Цермело существуе логическая, а не математическая [1]) необходимость для поня тия «области $Б$» («Bereich B»—см. выше).

Что касается того математического значения, которое, ка залось бы, понятие «области $Б$» должно иметь в «теории мно жеств», то очень важно отметить, что ни одна из аксиом не употребляет слова «область» таким образом, чтобы мы что-либ узнавали об этой «области». Оно употребляется четыре раза:

1) «теория множеств» имеет дело с областью предметов, которые мы обозначаем просто «вещами»;

---

[1]) A. Schoenflies, „Jahresb.. d. d. Math.-Ver", 1911 (20), S. 242.

2) существуют такие отношения между «вещами» этой (ласти, что одни из них являются «множествами», а други их «элеменгами»;

3) вопрос или положение, справедливость или несправед вость которого устанавливается основными соотношениями д ной области на основе общих логических законов, называе «дефинитным».

Во всех этих трех случаях о самой «области» ничего не с зано. Если мы слово «область» совершенно выбросим из э «трех положений», то их значение нисколько не изменится. Нап первое положение может быть сформулировано так: «теория м жеств имеет дело с предметами, которые мы просто назовем щами». Никакой нужды в этом понятии, следовательно, теор множеств не испытывает; но если она без ущерба может об диться без него, то как об'яснить, что эту «область» для Церм было логически необходимо ввести с заднего крыльца в св теорию?

Может быть, в нашем последнем рассуждении мы допусти ошибку и наш вывод неправилен? На этот вопрос отвечает н нельзя лучше следующее положение Цермело:

4) «сама область B не есть множество»[1]).

Ведь это и есть то, что заставляет нас рассматривать «б конечное множество Z» не как множество, а как область, т. понятие логически надуманное для того, чтобы куда-нибудь обще поместить наши «вещи». Правда, это положение (4) не ст ни в какой связи с другими аксиомами Цермело, и это сос вляет основной математический недочет теории Цермел высказывать столь важное положение о понятии, которое сов шенно отсутствует во всех остальных аксиомах. Но логичес в данном случае Цермело стоит на верном пути, ибо надо бы избегнуть «парадокса Ресселя». К сожалению, он отсюда не с лал дальнейших выводов, которые весьма поучительны для ло ческой оценки его теории. Эти выводы касаются второй груп недостатков его теории.

2. Цермело своим математическим методом не доказал, бесконечное множество существует: существует лишь бес нечная область. Но «область» не есть то же, что и «множеств «область» сама по себе не нужна, не необходима, чтобы рассмат вать элементы так или иначе, а «множество», наоборот, нел отбросить, ибо оно предполагает, что даны элементы, котор оно «содержит». Область, наконец, ничего не «содержит» в т смысле, в каком множество «содержит» свои элементы, х бы потому, что в «области» мы находим не только множес с их элементами, но и такие «вещи», которые вовсе не являю «множествами». Если после этого мы вдумаемся в формулу

$$a, (a), \{(a)\} \ .$$

то нам станет ясно, что область Z может быть без ущерба сов шенно отброшена, как чисто логическая предпосылка, а «м жества» (по терминологии Цермело) a, (a), $\{(a)\}$ являются и длинными «неделимыми» элементами. Цермело так и говорит: «м

[1] Zermelo, „Grundb. d. Mengenlehre",—„Math. Ann.", 1907 (65), S. 2

тва O и (a) не имеют частей»[1]). Но если они не имеют ча-й, то пред нами простейшие элементы, но не множества. Те-ь ясно, что «аксиома бесконечности» не доказала, что суще-ствует бесконечное **множество** не потому, что аксиома была плоха, а потому, что всей аксиоматической «теории множеств» Цермело **недоступно понятие множества вообще**. Почему ей недоступно это понятие? После всего вышесказанного мы можем ответ сформулировать таким образом: потому что аксио-матическая «теория множеств» определяет множество **независимо от порядка и последовательности элементов**. В самом деле, если для понимания множеств безразлична связь, порядок и последовательность единичных предметов, то налицо остаются именно эти единичные предметы (и можно говорить только об этих единичных предметах), потому что то, **что их связывало в множество**, исчезло.

И вот, рассматривая еще раз «аксиомы» Цермело, мы действительно ни на одну минуту не получаем уверенности, **что вообще множества существуют**. Все аксиомы начинаются одной и той же очень характерной фразой: **если существует** множество N, **то** должно существовать... и т. д.; или: **пусть** дано множество N, **тогда дано**... и т. д. Ясно, что если в аксиомах отбросить **предпосылки**, значение последних будет ничуть не больше, чем воздушные замки последнего фантазера. Вот почему Цермело в конце-концов должен был выставить специальную **аксиому: существует вообще по крайней мере одно множество**. После этого, конечно, Цермело, ничего не стоило посредством «аксиоматических» операций допустить существование «двух множеств», а затем и «бесконечного множества». Но на самом деле эти операции возможны только в том случае, если мы скажем, что существование множества вообще есть нечто недоказуемое, непроверяемое, есть аксиома, а этого не скажет всякий добросовестно мыслящий человек, потому что бессмысленно «строить» теорию о предмете, само существование которого зависит от этой «теории». Остается одно: свою собственную **мысль**, что существует, по крайней мере одно множество, выдать за исходный и опорный пункт всей теории. Но в таком случае мы всегда можем спросить: **правильна ли эта мысль**, и цермеловский—теперь мы можем сказать: **идеалистический**—метод никогда не сможет удовлетворительно ответить на этот вопрос.

В-третьих, если для понимания «множества» не имеет значения порядок и последовательность «элементов»,—то аксиома, допускающая существование по крайней мере одного множества никогда не сможет дать нам уверенность, что **существует еще одно множество, кроме нашего**. В самом деле, вдумайтесь в аксиомы Цермело! Всюду, где он говорит о двух множествах (Axiom der Paarung, Axiom der Vereinigung, Axiom der Potenzmemgen, der Aussonderung), он предпосылает условие: «если существуют два различные множества a и b то существуют...» и т. д. Следовательно, существование двух множеств в этих аксиомах остается недоказанным. В тех же случаях, когда

[1]) „Math. Ann.“, 65 (1907), 263.

существование двух множеств оказывается положительным в водом аксиомы, на самом деле мы имеем одно и то же множеств повторенное два, три раза. Только так можно понять смысл т цермеловской аксиомы, которая гласит, что раз существует мі жество a, то существует и множество (a), в котором это является единственным элементом!. Такие «множ ства» (будем уже употреблять его термин, хотя мы и не долж забывать, что никаких множеств в настоящем смысле не суш ствует по логике его теории) «не имеют частей» по Цермел Раз это так, то ясно, что никаких различий между ними нель себе представить; нельзя доказать, что такие различия с ществуют; вот почему Цермело и его коллегам показало столь самоочевидной возможность выбора наугад элементов «бесконечном множестве»: ведь бесконечное множество для не есть не что иное, как это же самое множество a, повт ренное бесконечное число раз. Итак, если даже допустить, ч существует, кроме нашего единичного множества a, еще друг множество b, аксиоматический метод никогда не сможет нас у рить в том, что это множество b есть нечто отличн от множества a. Все это—неизбежно, если рассматривать мн жество независимо от порядка элементов.

Такова судьба атомистической «теории множества», она не состоянии дать противоречивое об'яснение ни понятия множеств ни понятия элемента.

Справедливость требует сказать, что именно в этом высш выражении бесплодности цермеловского метода — в «атомизме» кроется намек на ценнейшую мысль [1]). Если употреблять терм «атомизм» в общем значении прерывности, то как бы ни усложн лась природа физического атома по мере развития естествозн ния, принцип атомизма, как прерывности в природе, должен бы сохранен с точки зрения диалектического материализма. Точ зрения «атомизма» в теории множеств соответствует общему кол чественному духу математики, и Цермело правильно уг дал, что зерно той же великой истины кроется в арифметиз Кантора. Именно в этом общем философском смысле можно ск зать вместе с Цермело, что «теория множеств есть та ветвь мат матики, которая ставит своей задачей подвергнуть математич скому исследованию основные понятия числа, порядка и функц в их первоначальной простоте и тем самым разработать логич ские основы всей арифметики и анализа; она образует, следов тельно, необходимую часть математической науки» [2]); потому ч идея множества вообще есть идея количества и пр рывности в непрестанном непрерывном развитии природы, математика, с точки зрения диалектического материализма, до жна быть математически (а не логически) развита из диале тической теории множеств. Но, как и его коллеги, Цермело і знает диалектики; поэтому «количество» у него механически ра падается на количественные «атомы», в то время как зада состояла в том, чтобы показать, каким образом (прерывны количественные величины становятся переменными (непреры

[1]) См. всю 34 страницу в «Логистике и диалектике»,—«П. Зн. М № 2—3, 1925 г.

[2]) Zermelo, Grunl. d. Mengelehre, «Math. Ann.» 1907, (65), S. 261.

ными). И подобно тому, как арифметизм Кантора, в особенности в руках идеалистов-логистов, сделался орудием бесплодного логизирования и формализирования математики, так и атомизм Цермело, в руках тех, кто ошибочно думал, что стоит логически обосновать метод аксиоматики, чтобы исправить ее математические недочеты (Гильберт, Бернайс),—превратился в «метафизический механический «Auswahlprinzip» (принцип выбирания), который никак нельзя примирить с общеизвестнейшими доступными наблюдению всякого конкретными фактами действительности—процессам развития и становления.

Другое достоинство теории Цермело, как это ни звучит несколько странно, состоит в ее недостатках, вернее в характере ее ошибок. Эти ошибки, противоречия, туманные понятия и т. д. не философского порядка, как мы это видели у Кантора [1]), а математического. Цермело поднял целину подлинных «основ» математики, перевернул всю математическую почву, поставил такие проблемы, какие до него (за исключением Дедекинда) сознательно никто не ставил и именно трудности его теории, ее провалы должны были математику (не философию, не логику) толкнуть к новым понятиям, к поискам нового метода, к пересмотру всех отношений между логикой и математикой. А это было бы невозможно, если бы Цермело не вернул канторовской теории искони присущее ей значение — математическое, если бы он не сузил понятие множества и не отказался от «философствования» и логики. Математики отсюда сделали плодотворнейшие выводы о своей независимости от какой-либо традиционной, раз навсегда декретированной «логики», следовательно, и «аксиоматической логики».

Но логическое-то направление в математике сделало другой вывод: подобно тому, как через все работы Цермело проходила одна мысль—обосновать теорию множеств таким образом, чтобы избегнуть противоречий логистики [2]),—так и теперь авторы, пекущиеся не о действительном развитии математики, а о ее «логическом обосновании», «поняли» свою задачу так, что надо обосновать теорию множеств таким образом, чтобы были устранены слабые стороны аксиоматического метода. Так возникает широкая логическая теория аксиоматического метода с многочисленными философскими хвостиками. Мы сейчас займемся ею, но уже теперь можно сказать, что она представляет собою шаг назад по сравнению с математическими идеями Цермело, точно так же, как и логистика Росселя была шагом назад по сравнению с теорией Кантора.

(*Окончание следует*).

---

[1]) См. «П. Зн. М.», cit, стр 31—33.
[2]) Math. Ann., 65, S. 116, 119, 262.

Диалектика, как революционная логика [1]).

И. Вайнштейн.

1. Революционное значение диалектики Гегеля.

«Ленин еще ждет, как теоретик, своего систематизатора, и впереди, когда эта работа будет проделана и когда все то новое, что дал Ленин в бесконечном количестве разбросанного и рассеянного по его сочинениям, примет систематизированную форму,—Ленин станет перед нами во весь свой гигантский рост и как гениальный теоретик рабочего коммунистического движения» (Бухарин).

Что Ленин был гениальным теоретиком, не подлежит никакому сомнению. Откуда же, однако, то странное и превратное мнение, справедливо отмеченное Бухариным, что Ленин только практик рабочего движения, но не его гениальный теоретик?

Теория есть осознание действительности. Теория революционного марксизма есть действенное осознание действительности. Отсутствие систематизированной работы у Ленина об'ясняется не тем, что он не был теоретиком, но тем, что он теоретизировал в революционном действии, в борьбе за освобождение рабочего класса. Революционное действие, протекавшее в обстановке чрезвычайно многообразных, изменчивых политических сплетений и ситуаций, могло получать соответствующее осознание лишь в тех изменчивых, фрагментарных теоретических выявлениях, которые в данный момент соответствовали своей основной практической предпосылке—развертывавшимся би вам революционной действительности. Больше, чем кто-либо другой, Ленин показал, что диалектический материализм есть философия революционного действия. И именно поэтому теория диалектического материализма, которую его мощный гений выковывал в огне революционных битв, выступает у него не в виде тщательного отделанной системы, а в виде огромного количества теоретических фрагментов, молниеносно вспыхивавших на суровом фоне революционных сражений, несравненным стратегом и тактиком которых он являлся. Если теория диалектического материализма есть философия революционного действия, то в работах Ленина она достигает своего кульминационного пункта. Систематическое же начало этой революционной философии положил Гегель.

Гегель, Маркс и Ленин являются тремя гигантскими фигурами, отмечающими три этапа в истории революционной методологии. Так как Ленин был прежде всего марксистом-диалектиком, гениальным методологом революционной борьбы пролетариата, то для понимания методологии Ленина необходимо обра-

---

[1]) Из работы о „Гегеле, Марксе и Ленине".

титься к Гегелю, как к первому систематизатору революционной методологии и учителю вождей научного социализма—Маркса и Энгельса.

„Если царство мысли революционизировано, то действительность должна уступить. *Гегель.*

Классическая немецкая философия, завершением которой является Гегель, идеологически отражает революционный период немецкой буржуазии, находившейся в чрезвычайно своеобразных условиях. «Своеобразное величие,—говорит Меринг,—как и своеобразная слабость немецкой философии, об'ясняется своеобразием экономических и политических условий Германии. С одной стороны, эти условия позволяли развивать буржуазные идеалы, не смущаясь суровой действительностью до самых смелых и логических последствий их. Кантовский высший принцип нравственности: «поступай так, чтобы пользоваться человечеством, в твоем лице, и в лице всякого другого,—не как средством только, а всегда еще как целью»,—был возможен только в стране, где буржуазный класс был слабо развит, а пролетариат еще совсем не развился. Только в такой стране Фихте мог сказать, что ни один человек не вправе употреблять для себя силы других, мог писать: «человек должен работать, только не как вьючное животное, которое засыпает под своей ношей, чтобы после скудного отдыха быть поднятым на ноги и вновь тащить ту же ношу. Он должен работать без страха, весело и радостно, и располагать досугом, чтобы возносить свой дух и глаза к небу, для созерцания которого он создан». Своеобразные условия, в которых находилась немецкая буржуазия, заключались в отсутствии резко обостренных классовых противоречий, что определяло революционный характер немецкого идеализма в той его форме, в которой он вылился у Фихте и особенно у Гегеля. «Если, наконец, Гегель вырвал с корнем все авторитеты, небесные и земные, путем одной игры мыслей диалектического метода, то эта процедура, столь же основательная, сколь и воздушная, была возможна среди народа без больших, тесно соприкасающихся в пространстве, классовых столкновений» (Меринг).

Что же представляет собой гегелевская попытка? Что представляет собой диалектика Гегеля? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вкратце охарактеризовать ее противоположность, а именно метафизическое мышление. Последнее исходило из того, что природа есть всегда равное себе целое, движущееся в одинаковых круговоротах с вечными мировыми телами и неизменными видами органических существ. Английские материалисты этот метафизический взгляд перенесли и на человеческую историю. Гегель же пробил брешь в этом метафизическом взгляде на историю. В свете диалектического метода Гегеля история перестала быть комплексом случайностей, бессвязных и непонятных «комедий глупцов» (Шопенгауер), а стала процессом, звенья которого связаны с непреложной закономерностью. С гениально диалектическим мастерством Гегель пытался проследить закономерности этого процесса через все его видимые случайности и отклонения. Специфической чертой французского материализма является его неспособность рассматривать мир, как процесс, находящийся в вечном движении. Безусловное и неизменное составляло методологический стержень этого материализма.

В области истории, например, как замечает Энгельс, всех ослепляла борьба с остатками средневекового быта в общественных отношениях. «На средние века,—говорит Энгельс,—смотрели как на простой перерыв в ходе истории, причиненный тысячелетним варварством. Никто не обращал внимания на великие шаги вперед, сделанные в течение средних веков: расширение культурной области Европы, великие жизнеспособные нации, образовавшиеся в тесном взаимном соседстве, наконец, огромные технические успехи в XIV и XV столетиях. Вследствие этого становился невозможным правильный взгляд на связь исторических событий, а история в лучшем случае казалась не более, как готовым к услугам философа сборником иллюстраций и примеров». Старое метафизическое мышление отличалось чрезвычайной беспомощностью и впадало в безысходный тупик, когда сталкивалось с противоположностью двух категорий. Подобную противоположность это метафизическое мышление бессильно было преодолеть. Противоположность между добром и злом, истиной и заблуждением, тождеством и различием, случайностью и необходимостью являлась для него непримиримой. Перед лицом же диалектического мышления указанная противоположность, получая лишь относительное значение, теряет свою метафизическую непримиримость, ибо с этой точки зрения нынешняя истина имеет скрытую, теперь ошибочную сторону, которая со временем выступит наружу, как и необходимость составляется из частичных случайностей, которые представляют собою форму, за которой скрывается необходимость» (Энгельс).

Словом, пред лицом диалектической философии мир заговорил языком его собственной внутренней логики, логики противоречий, которая выступает во всей ее необходимости перед познающим. Познание этой необходимости вынуждает познающего отказаться от всевозможных суб'ективных измышлений, чтобы, углубившись во внутреннюю связь вещей, познать ее все имманентной необходимости и об'ективной последовательности. Метафизическая же философия безжалостно игнорировала эту внутреннюю логику действительности, и ставила на место действительной связи явлений связь, измышленную самими философами.

Диалектическая философия Гегеля прежде всего означает полную методологическую революцию, выступающую под флагом противоречия, как основного начала, которое в прежней метафизической философии являлось камнем преткновения для познания. Например, для Канта оно являлось познавательной преградой, о которую, по его мнению, фатально разбивалось мышление при попытке решить мировую загадку.

Противоречие в вещах невозможно,—гласит тезис Канта, базирующийся на принципах старой логики. Противоречие ведет вперед,—гласит тезис Гегеля, основанный на диалектической логике. Кантовский дуализм, понадобившийся Канту, как спасательный клапан от непримиримых противоречий, в свою очередь встречал в лице гегелевской диалектики своего жестокого врага. Суб'ективизация явления Кантом и противопоставление ему «вещи в себе» так же квалифицировались Гегелем, как непростительная половинчатость.

Гносеологическая же, если можно так выразиться, реабилитация противоречия Гегелем, как основного методологического на-

тала, превосходно иллюстрирует революционный дух диалектической логики, как логики мировой борьбы, как логики мирового противоречия. «Ощущали, — говорит Гегель, —какую-то нежность к миру, думали, что противоречие было бы для него пятном и что его следует приписать разуму, сущности духа. Не трудно согласиться, что дух находит противоречие в мире явлений... Но если сопоставить сущность мира и сущность духа, нельзя не удивиться тому добродушию, с которым смиренно утверждают, что не сущность мира, а сущность мысли, разум содержит противоречие» (Энциклопедия, § 48). Диалектическая логика, далекая от всяких нежностей, берет мир в драматизме взрывающих его противоречий, в огне которых выковываются его высшие формы, и таким образом выступает как подлинная революционная логика. Последняя совершенно беззаботна к нежностям, но чрезвычайно внимательна к мировому процессу не только в его постепенных количественных переходах, но и в радикальных преображающих его качественных переворотах, накладывающих на его развитие печать имманентной революционности, составляющей, если можно так выразиться, душу мирового процесса. «Поскольку переход от одного качества к другому совершается в постоянной количественной непрерывности, отношение, приближающее к некоторому квалифицирующему пункту, рассматриваемое количественно, различается лишь как большее и меньшее. Изменение с этой стороны есть постепенное. А постепенность касается лишь внешности изменений, а не качественного; предыдущее количественное отношение, бесконечно близкое к последующему, есть все же другое качественное существование. Поэтому по качественной стороне чисто количественный процесс постепенности, не представляющий сам в себе границы, абсолютно прерывается; поскольку вновь выступающее качество, по его чисто количественному отношению, есть относительно исчезающего неопределенное другое, безразличное, переход к нему есть с к а ч о к; оба они положены одно против другого, как совершенно внешнее. Возникает естественное желание сделать понятною постепенность перехода при некотором изменении; но постепенность есть собственно, именно, совершенно безразличное изменение, противоположность качественному. В постепенности скорее снимается связь обоих реальностей, все равно, принимаются ли они за состояние или за самостоятельные вещи; положим, что ни одна из них не есть граница другой, но что они совершенно внешни одна к другой; тем самым устраняется именно то, что нужно для понимания хотя бы в слабой степени» (Наука логики, 257).

Изменения постепенного характера различаются лишь как большее и меньшее, и в этом смысле они совершенно беспомощны об'яснить то внезапное качественное преобразование, то возникновение нового нечто, которое не укладывается в количественных рамках большего или меньшего, а означает, напротив, перерыв постепенности, разрыв указанных рамок, скачок, в процессе. В постепенности же различающейся реальности, стираются, полагается, их совершенное безразличие, взаимная индифферентная внешность, что устраняет именно то, что нужно для понимания. Ибо постепенность есть совершенно безразличное изменение, противоположное качественному, различенному, кото-

рое подлежит об'яснению. Гегель иллюстрирует этот революционный перерыв постепенности, внезапный переход количества в качество, необ'яснимый с чисто количественной стороны, на различных явлениях социального, политического и музыкального творчества. В моральном,—говорит Гегель,—поскольку оно рассматривается в области бытия, имеет место тот же переход количества в качество; различные качества являются основанными на различии величины. Через большее и меньшее превышаются меры легкомыслия, получается нечто совсем иное, преступление, при чем право переходит в его нарушение, добродетели в порок, таким же образом государства, вследствие различия своей величины, при равных условиях получают разный качественный характер. Законы и устройства становятся иными, если увеличивается государство и число его граждан».

Многократно и решительно Гегель выдвигает отрицательное, как и с т и н у диалектического.

Если же отрицательность есть принцип всякой природной и духовной жизни вообще, то в связи с подобным ее пониманием достижение научного прогресса связывается Гегелем с необходимостью понимания того логического положения, «что отрицательное есть в равной мере положительное». Отрицательность, выступающая как движущая сила, является по этой причине неудержимым стимулом процесса и его разлагающая мощь не вырождается в пустую отвлеченность, но, упраздняя особое отживное содержание, приводит к результату сравнительно обогащенному, усложненному и заключающему в себе отрицаемое, а также и нечто большее.

Пример отрицательного о диалектике характеризует ее действенную природу. Не косность, а действенность составляет душу диалектической логики. Действенность прогрессивная, революционная, разрушительная и творческая одновременно.

Но косность, а действенность составляют душу диалектической логики. Действенность прогрессивная, революционная, разрушительная и творческая одновременно.

Отрицание и противоречие потому составляют душу диалектики, что они означают рычаг всякой творческой деятельности, революционный стимул всякого движения вперед. Диалектическая логика есть действенно революционная логика, потому и ее основное положение гласит: «противоречие ведет вперед». Один из самых основных предрассудков формальной логики заключается в игнорировании противоречия, которое совершенно затушевывается в сравнении с логическим законом тождества.

Формальная логика прежде всего отстраняет противоречие от бытия, предполагает, что в нем нет ничего противоречивого и перемещает его в суб'ективную рефлексию, которая полагает его лишь путем отношения и сравнения. Но так как противоречивое не может быть представляемо и мыслимо, то оно отсутствует и в мыслящей рефлексии. «Вообще оно считается, как в действительности, так и в мыслящей рефлексии, за нечто случайное, как бы за ненормальность, или болезненный проходящий пароксизм» (Наука логики, ч. 1, кн. 2, стр. 42).

Таким образом, формальная логика, подрывая и оскопляя противоречие, как движущее начало бытия, квалифицируя его, как нечто безжизненное и случайное, тем самым обрекает себя

на безысходную косность и заключает себя в тиски мертвой отвлеченности. Указывая, или, вернее, показывая, как тождество различения и противоположения устанавливаются в одном предложении, Гегель говорит, что тем более то определение, в которое они переходят, как в свою истину, именно, противоречие, должно быть понято и изложено в одном предложении: Все вещи сами в себе противоречивы; именно это предложение более всего выражает истинную сущность вещей (Наука логики, ч. 1, кн. 2, стр. 41—42). Если противоречие есть не косное начало, а деятельно-революционное, беспокойное, мешающее застыванию и успокоению, то, выражая истинную сущность вещей, оно выражает тот смысл, что истинную сущность вещей составляет революционное действие. «В начале было действие». Противоречие, лежащее в основе действия, исторического действия, определяет тем самым его критический революционный характер, который лежит в основе диалектики, как революционной логики.

Характеризуя метод, Гегель постоянно подчеркивает его деятельную сторону, характеризует его как орудие познающей деятельности. «Метод же есть самое это знание, для коего он есть не только предмет, но и его собственное, суб'ективное действие, орудие или средство познающей деятельности, отличное от нее, но ее собственная существенность» (Наука логики, ч. 2, стр. 200).

Однако действенное революционное начало диалектики Гегеля означает лишь действие в царстве мысли, революционное противоречие беспокойно мечется еще в сфере логических категорий, которые под беспокойным давлением противоречия переходят друг в друга, преобразуются, совершенствуются. Это и есть то идеологическое извращение диалектики у Гегеля, которое утверждает самопроизвольное движение чистой мысли, являющейся в то же время самозарождением бытия (Тренделенбург). Но это извращение не мешало сыграть даже гегелевской диалектике колоссальную революционную роль в смысле ее не только логического, но и политического действия, когда ее рациональное зерно было извлечено и использовано Марксом в деле того диалектического отрицания капиталистического общества, практическую задачу которого взял на себя революционный пролетариат. «В своей мистифицированной форме диалектика сделалась немецкой модой, потому что она, казалось, оправдывала существующий порядок вещей. В ее рациональном виде она ненавистна буржуазии и ее теоретическим вождям, потому что в положительное понимание существующего она включает также понимание его отрицания и его неизбежного падения; потому что она рассматривает всякую сложившуюся форму в процессе движения, т. е., стало-быть, с ее проходящей стороны; потому что она ни перед чем не склоняется, будучи критически революционна по существу» (Маркс).

II. Диалектика побеждающего рабства.

Диалектическая логика Гегеля, как мы видели, глубоко революционная, выдвигает отрицательное, как основное качество диалектического разума, противоречие, как начало, движущее вперед. Пронизанная духом революционного отрицания, она отбрасывает все неопределенное, туманно-положительное, рассматри-

вая, наоборот, многообразный мир действительности под углом конкретной определенности, так как сама определенность и есть отрицание. Однако конкретная определенность в самой логике Гегеля не выступает, так как в его логике развивается идея самого развития, отвлеченная от чувственно-исторической конкретности. Гегель называет систему логики «царством теней», истиной, «как она существует без оболочки в себе и для себя». Словом, глубоко-революционный характер гегелевской логики прорывается в тонких диалектических переходах глубоко абстрактного содержания. Конкретнее же эта логика и ее революционный характер выступает в его «Феноменологии духа». Если система логики есть «царство теней, мир простых существенностей, освобожденный от всякой чувственной конкретности», то «Феноменология духа» изображает сознание в его движении «от первого непосредственного его противоположения предмету до абсолютного знания». Там же Гегель излагает ступени развития сознания, из каких каждая при своей реализации сейчас же сама разлагается, имеет своим результатом свое собственное отрицание и тем самым переходит на высшую ступень. Благодаря большей конкретности «Феноменологии» и революционный характер диалектики выступает в ней более конкретно.

Блестящую картину диалектического превращения, поражающую своей революционностью, Гегель дает в его «Феноменологии духа», в главе о господстве и рабстве. Диалектика борьбы между господином и рабом ведет с непреодолимой силой к конечному торжеству раба, который первоначально находится в состоянии глубочайшей угнетенности, лишен всякой самостоятельности, весь существует лишь в господине, является «бытием для другого».

Когда самосознание удваивается—а удваивается оно потому, что естественный переход от живого к сознательному приводит и к тому, что одно самосознание встречается лицом к лицу с другим самосознанием—они становятся в отношения взаимной борьбы, которая в первой стадии является борьбой не на жизнь, а на смерть. Крайнее неравенство и резкая односторонность признания одной стороны по отношению к другой, существующие вначале, есть результат борьбы, выражающийся в безраздельном подчинении одного самосознания другому. Несмотря на суровый характер борьбы самосознаний, смерть, однако, не является целесообразным ее разрешением, так как смерть, будучи отрицанием самосознания, противоречит каждому из борющихся самосознаний, которые стремятся, наоборот, утвердить свою власть над противной стороной и использовать ее в своих целях. Уничтожение происходит в результате борьбы, но не в смысле «зверского убийства», а такого рода, что отрицаемое сохраняется, переживает потерю своей самостоятельности, т. е. покоряется в борьбе. Таким образом в результате борьбы самосознаний появляются господин и раб с кардинально-противоположными интересами и качествами. Решающая роль в данном результате выпадает, по Гегелю, на долю страха смерти, который настолько владеет рабом, боящимся рискнуть жизнью, что он предпочитает духовной смерти и потере самостоятельности сохранение физического бытия, и физическое бытие раба есть «его цепь», от которой он не мог оторваться в борьбе и потому оказался зависимым, имеющим само-

стоятельность только в вещественности» («Феноменология духа», стр. 86).

Отношение господина к рабу осуществляется чрез посредство вещей. «Непосредственное же отношение господина к вещи, напротив, становится благодаря этому посредничеству раба чистым ее отрицанием или пользованием ею; то, что не удавалось желанию, удается теперь господину, который стремится теперь овладеть вещью и найти удовлетворение в пользовании. Желание не достигало этого, благодаря самостоятельности вещи; господин, поставивший раба между собой и ею, встречается, таким образом, только с зависимой стороной вещи и пользуется ею целиком; самостоятельную же ее сторону он предоставляет рабу, который ее обрабатывает» («Феноменология», стр. 87). Таким образом начинается прелюдия к той диалектической драме, последний акт которой есть падение господина и торжество раба.

Раб лишен всякой самостоятельности, его бытие есть бытие для другого, для господина, состоит в обработке вещей для наслаждения господина. Раб работает, а господин наслаждается. Удел раба заключается в работе, которая состоит в обработке вещей для потребления и наслаждения господина, т.-е. в образовании и формировании вещей, что и обусловливает неизбежное господство раба над господином. Но,—замечает Гегель,—«хотя страх пред господином есть начало премудрости», но в этом страхе сознание для него самого еще не есть бытие для себя. Приходит же сознание раба к самому себе в процессе работы, который является процессом самоформирования и самообразования.

Удовлетворенность господина, которая не является следствием его трудовых напряжений и трудовой борьбы с предметом, есть, для Гегеля, только пропадание, так как она повисает в воздухе, лишенная предметной стороны. Обработка же и формирование вещей составляет ту почву, на которой подготовляется и зарождается владычество раба над господином. Ибо формирование и работа имеет не только то положительное значение, что рабское сознание становится благодаря ему существующим, как чистое бытие для себя, но и отрицательное значение по отношению к своему первому моменту, к страху. «В формировании вещи собственная отрицательность служащего сознания, его бытие для себя, становится его предметом только посредством снятия противополагающейся ему чуждой формы. Но эта предметная отрицательность есть именно та чуждая ему сущность, перед которой оно дрожало. Но оно разрушает эту чуждую отрицательность, утверждает себя, как таковое, в сфере устойчивости и благодаря этому становится для себя сущим» («Феноменология духа», стр. 88).

Раб, формируя вещи, приобретает власть над чуждой ему сущностью, которая причинила его горькую участь и сковала его цепью рабства. Поэтому Гегель говорит, что в формировании «бытие для себя» становится для раба его собственным, и рабское сознание начинает сознавать, что оно существует «в себе и для себя». «Таким образом именно в работе, в которой, казалось, был только чуждый ему смысл, оно снова находит свой собственный, благодаря себе существующий, смысл» («Феноменология духа», стр. 89).

Труд и борьба, таким образом, оказываются решающим фактором для конечного исхода борьбы, совпадающего с победой раба над господином. Они-то составляют живую канву той диалектики в отношении господства и рабства, которая приводится в концо-концов к тому, что каждая из двух сторон превращается в свою противоположность. Господин наслаждается тем, что создал раб, и, таким образом, становится зависимым от раба, который, формируя и обрабатывая вещь, приобретает господство над последней и тем самым над господином, так что в концо-концов все отношения становятся обратными: господин становится зависимым от раба, а раб независимым от господина; господин с нравственной точки зрения становится рабом раба, а этот последний господином господина» (Куно Фишер). Этот диалектический финал Гегель сжато формулирует словами, что **истина самостоятельного сознания есть рабское сознание.**

III. Революционная логика и реакционная критика.

Глубоко революционный характер гегелевской диалектики, который, как было сказано, находит свое об'яснение в своеобразии экономических условий Германии, которые позволяли развить буржуазные идеалы до самых смелых логических последствий, но смущаясь суровой действительностью, стал неуместен с изменением этих условий, когда в процессе экономического развития из подр немецкой буржуазии вырос новый класс, революционный пролетариат. Революционный класс, отбросив мистическую оболочку гегеловской философии, усвоил ее революционно-диалектический метод.

Мы уже из предыдущего могли убедиться, в какой мере диалектическое мышление Гегеля приводило его к ярким революционным построениям, наглядно иллюстрирующим революционную природу диалектического мышления. Когда же немецкая буржуазия, вступившая в поединок с пролетариатом, усмотрела революционное содержание гегелевской диалектики, почуяла ее революционно-критическое жало, доктринеры буржуазии выбросили ее за борт. Поход против Гегеля, вернее его диалектики, ознаменовался реакционным лозунгом «назад к Канту», как паролем борьбы против революции пролетариата. «Гегеля на самом деле возненавидела немецкая буржуазия, но не за его слабые стороны, а за его сильные стороны, не за его произвольные исторические конструкции, а за его диалектический метод» (Меринг). Диалектический метод Гегеля проявляет свою революционность и в сфере истории. Именно эта сфера наиболее непосредственно связана с активностью человека, которого социальные противоречия побуждают и толкают к революционным выступлениям. Поход против Гегеля начался именно на этой почве. Так, например, Шопенгауер, которого Меринг справедливо именует философом немецкого мещанства, яростно выступивший против «тупоумного шарлатана», «пачкуна бессмыслицы», «губителя умов», в первую очередь обрушился против его философии истории. История для Гегеля является диалектически развивающимся закономерным процессом, Но реакционный философ не приемлет такого понимания истории. Для него «все преходящее только подобие». Философия Шопенгауера убеждена, «что во все времена было одно и то же, и что то, что есть теперь,

будет постоянным». «История на каждой странице показывает нам одно и то же только в различных формах: разные главы из истории разных народов различаются, в сущности, только именами и хронологией; настоящее существенное содержание их одно и то же... материя истории есть наиболее индивидуальная в своей индивидуальности и случайности, все, что постоянно существует и вместе с тем навсегда исчезает,—это преходящее сплетение кружащегося словно тучи в вихре человеческого мира, которое часто совершенно преобразуется вследствие ничтожной случайности». Случайность, замещающая необходимость, неизменность, выступающая вместо изменчивости в истории, провозглашается Шопенгауэром как тайна действительности. Ибо немецкое мещанство, развивавшееся в крупно-промышленную буржуазию, стало предпочитать неизменное в истории исторической изменчивости.

«Оглянитесь кругом», восклицает Шопенгауэр.—Оказывается, что подобно тому, «как худшее, что может случиться с государством, это, если бразды правления попадут в руки негоднейшего класса, подонков общества, так и для философии и всего от нее зависящего, т.-е. для всего знания и духовной жизни человечества, ничего не может быть хуже, чем если дюжинная голова, отличающаяся только, с одной стороны, своей угодливостью, а, с другой, своей наглостью в писании бессмыслиц, словом, какой-нибудь Гегель,—с величайшей, прямо беспримерной настойчивостью провозглашает себя величайшим гением, в котором философия, наконец, и навсегда достигла своей желанной цели» (Шопенгауэр, Об университетской философии, стр. 154).

Конечно, если самое опасное и угрожающее, это—победа «негоднейшего класса», т.-е. угнетенной массы человечества, то ясно, что революционное мышление, которое включает в положительное понимание существующего также понимание его отрицания и неизбежного падения, т.-е. предвещающее необходимое торжество именно этого класса, окажется наглой бессмыслицей, а его автор—пачкуном бессмыслицы и губителем умов. «Дело,—говорил Гегель,—не исчерпывается его целью, но также состоит в раскрытии ее; результат не есть действительное целое, но является таковым совместно с процессом возникновения; цель для себя есть безжизненное всеобщее, как тенденция есть простое стремление, лишенное еще своей действительности, и чистый результат есть труп, оставивший тенденцию позади себя (Феноменология, Предисловие, стр. 2). Результат дела еще не есть целое, но оголенный от всякого предшествующего процесса, есть только труп, оставивший тенденцию позади себя. Когда же Гегель говорит, что путь формально-логического искания истины не верный; «что манера выставлять положение, приводить для него основание и точно так же путем оснований опровергать положение противоположное, не есть форма, в которой может выступать истина, так как последняя есть движение ее в самой себе», т.-е. что истина есть развитие самого дела, то Шопенгауэр по этому поводу делает следующее замечание: «Я думаю, не трудно видеть, что кто начинает подобными заявлениями, тот бесстыдный шарлатан, желающий дурачить простаков и признающий в немцах XIX века людей такого склада, каких ему нужно» (Шопенгауэр, Эскиз истории, стр. 23).

Таким образом революционная диалектика ниспровергается реакционной руганью, которая столь же способна ниспровергнуть ее, сколь черные силы реакции способны отвратить революционный ход исторического процесса.

Ненависть к «негодному классу» определяет яростную ненависть Шопенгауера к логике этого класса и к противоречию, как к основному началу этой революционной логики. Противоречие возбуждает сильнейшее негодование со стороны Шопенгауера, который считает, что всякое надлежащее размышление должно признать невозможным, «чтобы понятия, правильно извлеченные из явлений и априори достоверных законов, а затем согласно законов логики, связанные в рассуждения и умозаключения, могли вести к противоречиям». Подобную возможность Шопенгауер оспаривает по той причине, что «в таком случае должны были бы содержаться противоречия в самом наглядно данном явлении и в закономерной связи его членов,—а это вещь невозможная» (Шопенгауер, Фрагменты для истории философии, стр. 98). Шопенгауер считает, что противоречие существует только в абстрактном познании рефлексии, когда по отношению к интуитивному (воспринимаемому органами чувств. *И. В.*) оно не имеет никакого значения. Словом, для Шопенгауера ничто действительное не может себе противоречить. Но верно ли это? Подобная оценка противоречия постулирует возведение в высший закон мышления закона тождества, ибо если ничто действительное не может себе противоречить, то, следовательно, все тождественно себе. Однако, как это ни странно, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что само тождество «вместо того, чтобы быть неподвижной простотою, есть выход из себя и саморазложение» (Гегель, Наука логики, ч. 1, кн. 2, стр. 21). Ибо тождество оказывается, как справедливо говорит Гегель, пустым тождесловием, которое для тех, что выставляет его, как нечто истинное, означает лишь, что тождество не есть различие, но что тождество и различие различно. Они не видят,—говорит Гегель,—что тем самым уже высказывают, что тождество есть различное, ибо они высказывают, что тождество различается от различия (Наука логики, ч. 1, стр. 20).

С беспощадной резкостью Гегель говорит о пустоте того тождесловия, которое выражается в предложении: растение есть растение и проч. «При ближайшем рассмотрении скуки от такой истины оказывается, что начало: растение есть... служит подготовкой к тому, чтобы сказать что-нибудь, дать дальнейшее определение. Но так как повторяется лишь то же самое, то получается обратное и в результате оказывается ничто. Следовательно, такое тождесловие **противоречит** само себе. Вместо того, чтобы быть в себе истиной и абсолютной истиной, тождество есть ее противоположность» (Наука логики, стр. 21).

Восстание против диалектики есть, собственно, восстание против революционного класса, как ее социального носителя.

Фридрих Альберт Ланге, питающий несомненное уважение к Гегелю, все же не миновал этого реакционного давления и также видел в Гегеле по сравнению с Кантом «великий регресс», который, по его мнению, состоит в том, «что он совершенно утратил идею более общего способа познания вещей, нежели способ познания человека». «Вся его система движется в пределах

наших идей и фантазии о вещах, которая обозначается всякого рода громкими именами, и притом он вовсе не задумывается о том, какое вообще могут иметь значение явления и выведенные из них понятия» (История материализма, стр. 53). Определение же Гегеля действительности, как полного и адэкватного обнаружения сущности, Ланге считает просто предрассудком. Однако ж нелепость приведенных слов Ланге прямо бьет в глаза. Оказывается, что в сравнении с Кантом Гегель утратил идею более общего способа познания вещей, нежели способ познания человека. Если Ланге в данном случае под идеой более общего способа познания вещей понимает более об'ективный способ познания, то подобное утверждение говорит о суб'ективности самой критики Ланге, так как Гегеля в подобного рода суб'ективизме менее всего можно упрекать, тем более в сравнении с Кантом.

Рассматривая, например, проблему истинного, Гегель говорит, что истина есть целое. Но что представляет собой для Гегеля целое? «Целое,—отвечает Гегель,—представляет собою сущность, осуществившуюся путем своего развития» (Предисловие к Феноменологии духа, стр. 8). Истинное, таким образом, есть осуществившаяся в процессе саморазвития сущность. Спрашивается, отсутствует ли в данном случае об'ективный способ познания вещей, проглядывает ли здесь хотя бы крупица суб'ективизма, пренебрегающего об'ективностью развивающегося предмета? «Так как,—говорит Гегель,—познание хочет познать истину того, что такое бытие в себе и для себя, то познание не останавливается на непосредственном его определении, но проникает через них в предположении, что за этим бытием есть нечто иное, чем самое бытие, что эта основа составляет истину бытия» (Гегель, Наука логики, кн. 2, стр. 1). Словом, подлинное познание не ограничивается поверхностным явлением, но стремится познавать закон явлений, что лежит в их основе, т.-е. их сущность.

Следуя Спинозе, Гегель безжалостно осуждает всякую назидательность познания, которую он считает простой кичливостью и пустозвонством. «Кто ищет только назидания, кто стремится земное многообразие своего бытия и мышления окутать облаком и желает неопределенного удовлетворения и неопределенной божественности, пусть сам его находит; он легко отыщет средство выдумать что-нибудь и кичится этим. Философия же должна защищать себя от стремления к назиданию» (Гегель, Предисловие к Феноменологии духа, стр. 11). Истинное познание, таким образом, далеко в корне от всякого суб'ективизма, согласно Гегелю имеет свои задачи отдаться жизни предмета, «чтобы иметь его перед собой и высказывать внутреннюю необходимость его».

«Погруженное в материю и двигаясь в движении, научное познание возвращается в себя, однако, не раньше того, как осуществленное содержанием, придет обратно в себя, упростится до определенности, сделает себя самого стороной наличного бытия и перейдет в свою более высокую истину» (Предисловие, стр. 25). В приведенных словах говорится, что познание, погруженное в предмет, не выступает в виде разорванных фрагментов, не относится к содержанию, которым стремится овладеть, как нечто чуждое и внешнее, но охватывает его в целом и полноте его моментов, и, только охватив его таким образом, возвращается

в себя, т.-е. становится действительным знанием содержания. Во всем этом нет ни на каплю суб'ективизма.

Конечно, такая диалектическая революционность, хотя бы в идеалистической форме, не могла не вызывать у реакционных философов отвращения и негодования, но гений Маркса, почуявший революционную мощь этого метода, влил в него то материалистическое содержание, благодаря которому он стал теоретическим знаменем революционного пролетариата и пролетарской революции.

Корифеем борьбы против диалектики является также Эдуард фон-Гартман. Но если присмотреться к жалобам этого реакционного философа на диалектику, то его прежде всего возмущает неуязвимость диалектика, которую никоим образом нельзя довести до абсурда, ибо область противоречий, составляющая для здравомыслящего почву всякого рода бессмыслиц, является для диалектика высшей мудростью. Противоречие, как почва, на которой только выковываются и познается истина, как рычаг, приводящий в движение мир, возбуждает у Гартмана сильнейшее негодование. Никакие сети,—вопиет Гартман,—не способны смутить диалектика, ибо если перед ним поставить решительную альтернативу, он перепрыгивает поставленную сеть замечанием, «что истина не может заключаться в одном суждении, что диалектика не признает формулы либо-либо, потому что для диалектика закон исключенного третьего давным давно брошенный баласт. Но Гартман во имя истины все же пытается уязвить это неуязвимое чудовище и во имя же истины он спрашивает: «есть ли какое-либо другое средство доказать возможность какого-либо утверждения, кроме как приведением его к абсурду, делая из него такие выводы или представляя это утверждение в таком виде, что результатом его непременно являются противоречие? Только диалектик делает исключение из этого общего правила. Для него, наоборот, пробный камень ложного, это—отсутствие противоречия, а всеобщей формальной критерии истины лежит в единстве противоречия с тождеством, в тождестве противоречивых положений и понятий». Гартман далее оговаривается, что хотя не всякое противоречие, которое он отождествляет с вздором и бессмыслицей, признается диалектиком за истину, но его критерий истины не идет дальше требования противоречий и, наконец, для определения истинности или ложности противоречия у диалектика нет формального критерия. Диалектик, возмущается Гартман, не пугается даже абсолютно невозможного, ибо для Гегеля—все невозможно. Последнее замечание Гартмана разоблачает его формально логический подход в понимании самого Гегеля, который, например, категорию возможности рассматривает не в ее самостоятельности и независимости от других категорий действительности и необходимости, но в органической связи с последними рассматривает возможность, как внутреннюю и потенциальную действительность. Гегель говорит, что все невозможно, возмущается Гартман. Но ведь Гегель же говорит: что действительно, то возможно (Наука логики, часть 1, кн. 2, стр. 127). В чем же дело? Дело в том, что действительность охватывает все существующее, все разнообразие вещей. «Оставляя в стороне различие существований вещей,—говорит Куно Фишер,—возможность является под видом простого тождества;

все возможно, что тождественно с собою и не противоречит себе, т.-е. возможно все мыслимое, а мыслимо все, что не заключает в себе такого противоречия как деревянное железо, все даже самое абсурдное. Мыслимо, что луна сегодня упадет на землю, земля на солнце, что султан сделается христианином, священником, папою и еще бо́льшие глупости. В этой мыслимости, т.-е. формальной свободе от противоречия, состоит абстрактная или формальная возможность, царство бесчисленных ничего не говорящих пустых возможностей» (Куно Фишер, Гегель, стр. 583). Но эта абстрактная возможность сталкивается в царстве действительности с условиями и обстоятельствами, которые эти хаотически-неопределенные возможности отбрасывают, выделяя и выдвигая только реальную возможность в ее различных вариациях. Различие же переходит в противоположность, которая в ее обостренной форме является противоречием, почему заключает Гегель «все есть равным образом противоречивое и потому невозможное» (Наука логики, ч. 1, кн. 2, стр. 127). Простое формальное заявление о чем-либо, что оно возможно, совпадает для Гегеля с пустотой того тождесловия, которое гласит *А* есть *А*. Содержание имеет форму простоты, поскольку оно лишено развития. Различие переходит в содержание только через его разложение на его определения. «Пока держатся за эту простую форму, содержание остается чем-то тождественным себе и потому некоторою возможностью. Но этим самым также, как посредством формально тождественного предложения, высказывается лишь ничто».

Гегель далеко не ограничивается голым положением, все невозможно, как это изображает Гартман, но его диалектическое рассмотрение категорий возможности, приводит его к заключению, что возможность лишь момент, лишь некоторое бытие в себе, «указывающее на другое, на действительность, и восполняющее себя в ней, а действительность имеет характер «невозможности быть иначе». Согласно формальной возможности, возможно все, что не противоречит себе, положение, которое распространяется на все бесконечное многообразие в его неоформленной и алогической расплывчатости. Но многообразие определено внутри себя и, в противоположность другому, «имеет отрицательность в нем и, таким образом, безразличное различие переходит в противоположность, которое есть противоречие, определяющее в равной степени противоречивый и невозможный характер «всего».

Гартман далее жалуется на упразднение и низвержение диалектиком формальной логики, которая для Гартмана является единственным средством доказать ложность какого нибудь утверждения путем раскрытия следующего из него противоречия. Гартман в данной его жалобе в такой же мере раскрывает всю неосновательность своих выпадов. Ибо диалектика Гегеля не низвергает формальной логики, но квалифицирует ее как подчиненный момент по отношению к высшей диалектической логике. Как подчиненный момент в отношении к диалектике, формальная логика Гегелем не упраздняется, но возводится на должное место. как полезный и необходимый инструмент». Эта наука,—говорит Гегель,—имеет своим предметом изучить деятельность конечного мышления и наука верна себе, когда соответствует предпоставленной цели. Изучение этой формальной логики имеет бесспорно свою пользу. Она очищает голову, учит сосредоточиваться, отвле-

каться, между тем, как обычное сознание занято чувственными представлениями, которые перекрещиваются и перепутываются. Отвлекаясь, дух сосредоточивает свое внимание на одном предмете и приучается заниматься самим собою. Знакомство с формами ограниченного мышления может служить, как приготовительное средство для посвящающих себя опытным наукам, потому что они руководствуются этими формами и в этом смысле логику называли инструментальной» (Гегель, Энциклопедия, том I, стр. 35).

Гегель не только не отбрасывает формальной логики, как ненужную ветошь, но считает ее полезным инструментом, способствующим овладеванию эмпирическими науками. Признавая истину рассудка, Гегель считает формальную логику, как логику рассудка, полезной и необходимой, как предварительную ступень в процессе научного овладевания предметом, ибо «ни в теоретической, ни в нравственной областях нельзя дойти ни до чего твердого и определенного без рассудка».

«Во первых,—говорит Гегель,—чтобы узнать предмет, необходимо уловить его определенные различия. С этой точки зрения, рассматривая природу, различают и разграничивают разные вещества, силы, роды и прочее. Мысль, действующая таким образом, есть рассудок и она руководствуется при этом началом тождества или простого соотношения вещи с самой собою. То же самое начало служит мысли для перехода от одного предмета к другому, в развитии частных наук. Так математика рассматривает исключительно величину предметов, опуская все прочие их определения. Геометрия, например, различая фигуры, старается найти что-нибудь общее между ними. То же самое должно сказать и о других частных науках». (Энциклопедия, том I, стр. 130).

Приведенное ясно указывает, что Гегель не отбрасывает бесцеремонно формальную логику, а решительно признает ее относительную ценность в той мере, в какой она помогает сосредоточиваться, отвлекаться, улавливать определенные различия предмета и доходить до твердых определений. В таких рамках формальная логика правомерна и законна, становясь бессмысленной при выходе за эти рамки или в лучшем случае пустой тавтологией. Философ же, который руководствуется законами формальной логики, как абсолютными законами, может в лучшем случае возвыситься до пустой формальной критики и бессмысленных жалоб.

Необходим ли нам Гегель?

К. Милонов.

> Настоящий Маркс до конца своих дней оставался верен... духу **диалектики**. Но именно это обстоятельство и не нравилось г.г. «критикам».
>
> *Плеханов.*

> Они все называют себя марксистами, но понимают марксизм до невозможной степени педантски. Решающего в марксизме они совершенно не поняли: именно его революционной диалектики.
>
> *Ленин.*

Гегелю в наш век определенно не везет. Идеалисты при помощи сравнительно несложных манипуляций, если и не превращают его целиком в святого отца и апостола церкви, то нередко об'являют его верным сыном последней. Марксисты... Но это нужно рассмотреть подробнее. В особенности потому, что сейчас вокруг Гегеля завязывается как будто бы целый ряд теоретических битв.

В дореволюционное время марксисты относились к Гегелю не хуже и не лучше, чем к Фейербаху: и тот и другой, как известно, сыграли колоссальную роль в развитии Маркса, а следовательно, и марксизма. Однако в отношении к Гегелю уже тогда можно было заметить несколько своеобразных черт. Одна из них заключается в том, что каждый сознавал, сколь неразвитым, даже плоским оставался бы современный материализм, если бы Маркс не оплодотворил его диалектическим методом. Это пробуждало несколько больший интерес к Гегелю, так как здесь, само собой разумеется, хотели найти ключ к марксовой диалектике. Но этот интерес—говорится специально о русских условиях—по целому ряду причин не мог полностью реализоваться. Стороннему или же позднейшему наблюдателю, несмотря на прямые, хотя и беглые указания, могло показаться, что Гегель не в фаворе у русского марксизма. Только теперь, когда публикуются конспекты Ленина по Гегелю, мы знаем, что дело обстояло не совсем так.

Произошла революция. Диктатура пролетариата укрепилась и повела упорную борьбу за овладение «всерьез и надолго» широчайшими народными массами. В числе прочих встал вопрос и об идеологическом овладении. А это не могло не поставить проблемы детальнейшего изучения истоков марксизма, среди них и гегелевской диалектики. Однако последняя выдвигается на один из первых планов и по ряду других причин, в общем и целом увязывающихся вокруг основного стержня—вокруг необ-

ходимости переварить опыт революции, его теоретически подытожить и, пользуясь им, итти вперед. Нетрудно понять, почему вопрос идет именно о диалектике: весь мир видел, что совершить революцию с эдакой солдафонской, скалозубовской прямолинейностью никак нельзя, нужна гибкость, умение через все трудности провести свою точку зрения, свою политику. Этим и только этим об'ясняется интерес к диалектике со стороны как вузовской молодежи, крупнейших марксистов, так даже и Г. Лукача. Если отсюда нередко проистекают следствия, отрицающие причину (Г. Лукач), то в этом, кроме диалектики самой жизни и неумения свести концы с концами у некоторых, никто не виноват.

Казалось бы, поэтому надо всячески приветствовать работу тех, главным образом русских, марксистов, — и среди них в первую очередь работу т. Деборина,—которые, осознав указанную философскую задачу дня, пытаются и популяризовать и, что не менее важно, об'ективно исследовать Гегеля. Но... но Гегелю не везет и здесь.

Действительно, можно ли счесть за «везенье» те высказывания, которые появились за последнее время в нашей печати? Определенно нельзя. Тем более, что исходят они от марксистов, пользующихся известным авторитетом среди вузовской молодежи. Мы говорим, как вероятно понял уже сведущий читатель, о С. Ю. Семковском.

Последний в послословии к своим «Этюдам по философии марксизма» [1]) сакраментально изрекает относительно «пышного по внешности расцвета исследовательской работы в области философии марксизма»: «Весь этот расцвет грозит остаться пустоцветом, ввиду того схоластического уклона (курсив автора), который от действительных живых проблем диалектического материализма, выдвигаемых развитием естественных и общественных наук, тянет вспять к бесплодной схоластике школьной философии».

Прямого указания, такого, где было бы и имя автора-«схоласта» и его произведение, конечно, нет. Сказано вообще, в пространство. (Это, заметим в скобках, очевидно, имманентно природо почтенного автора.—Ср. замечание Ленина на 539 стр. 2 части XII т.). Однако достаточно перелистать «пышно расцветшую», как угодно выражаться С. Ю. Семковскому, литературу по философии марксизма, чтобы увидеть, ч о к чему. Автор имеет, надо полагать, в виду статьи, скажем, т. Деборина [2]), посвященные выяснению диалектики у Канта, взаимоотношения Маркса и Гегеля и т. д. (называем только важнейшие работы, опуская целый ряд статей, главным образом в «Под Знаменем Марксизма», статей, идейно солидарных с философскими работами Деборина). Мимо всего этого можно было бы, конечно, спокойно пройти: мало ли что пишут,—безгласная бумага не будет вопиять. Однако целый ряд соображений заставляет открыто поставить вопрос и возможно полно на него ответить. Соображения

[1]) Гиз. М. Без года, с. 163—164.

[2]) Последний уже отметил, куда направлены обвинения в „схоластическом уклоне". См. „Воинствующий материалист". Сборник № 2. „Материалист", 1925, см стр. 35.

эти, кроме приведенных нами в начале заметки, заключаются в следующем: с С. Ю. Семковским, к сожалению, солидаризировались—в разное время и по разным поводам—т. И. Степанов и Л. И. Аксельрод [1]). Другое соображение состоит в громадной принципиальной важности вопроса о степени схоластичности Гегеля и занятий им. Надо же, наконец, выяснить, повезет или не повезет Гегелю у нас, в стране победившего пролетариата. Ответить на все эти вопросы можно будет лишь тогда, когда мы установим взгляд марксистов на роль и значение Гегеля. При этом, само собой разумеется, мы сможем говорить лишь о крупнейших величинах: Маркс же, Энгельс, Плеханов и Ленин будут служить для нас руководящей нитью.

Марксисты о Гегеле.

Было бы, конечно, очень хорошо, если бы основоположники марксизма дали абсолютно полный и абсолютно исчерпывающий ответ на интересующий нас вопрос. Но так как это невозможно не только само по себе, но и ввиду того, что они никогда не были катедер-социалистами, то, естественно, в их работах мы имеем чаще лишь общее направляющее указание, чем систематическое и детальное исследование. Отсюда вытекает, что последователи их, руководствуясь их указаниями, должны сами продумать детали, должны сами ответить на вопросы, прежде не встававшие во весь свой рост.

Начать, само собой разумеется, необходимо с Маркса и Энгельса.

Плеханов в цитированной выше статье о «Философской эволюции Маркса» устанавливает три фазиса его развития. Весь путь, говорит Плеханов, «представляет три этапа: первый этап—абстрактное гегелевское самосознание, второй этап—конкретно-абстрактный человек Фейербаха, третий и последний этап—реальный человек, живущий в реальном классовом обществе в определенной общественно-экономической обстановке» (стр. 20). При этом, в других местах той же работы Плеханов говорит о первом фазисе, как о таком, когда «Маркс (как мы знаем теперь, и Энгельс. См. соч. М. и Эн., т. II. *К. М.*) был безусловным поклонником философии Гегеля» (стр. 11); второй он называет «антигегелевским» [1]), о третьем же говорит, как о том, когда Маркс и Энгельс «видели в философии Гегеля философскую систему, выработавшую могущественное орудие исследования, —диалектический метод» (стр. 18). Но касаясь пока явного пристрастия Плеханова, как сказал бы не-«схоласт», к правильно понятому Гегелю, мы заметим, что нас, естественно, может интересовать сейчас лишь третий период, тот, когда взгляды Маркса и Энгельса на Гегеля стали вполне марксистскими. А если дело

---

[1]) См. статью „Диалектическое понимание природы — механистическое понимание", - «Под Зн. М-ма» № 3, 1925 г., и Аксельрод—Предисловие к „Философской эволюции Маркса" Плеханова, Гр. „Освобождение Труда", сб. № 2, Гиз. 1925 г.

[2]) Гр. «Освобождение Труда», стр. 19. Плеханов в исследовании этого фазиса несколько расходится с обычным пониманием, включая борьбу Маркса с Бруно Бауэром (см «Святое семейство») уже во второй, а не первый, как обычно, этап развития. Но заниматься этим здесь нам не имеет смысла.

обстоит так, то по выяснении этих взглядов мы обязаны либо недвусмысленно признать их, либо столь же недвусмысленно их отвергнуть. Так и только так может стоять вопрос для марксиста. При этом придется, к сожалению, напомнить то, что всем и каждому известно, но на что сейчас не обращают должного внимания. Мы заранее извиняемся поэтому за некоторую элементарность нижеследующих строк. В своем известном и неоднократно цитируемом «Послесловии (или предисловии) ко второму изданию» первого тома «Капитала» Маркс уделяет немало внимания Гегелю. Трудно из этих превосходных, ставших классическими строк вырвать что-нибудь одно. Однако важнейшее из важного не дает, очевидно, места никакому скепсису. Маркс говорит: «Как раз в то время, когда я разрабатывал первый том «Капитала», крикливые, претенциозные и ограниченные эпигоны... с особенным удовольствием третировали Гегеля... как «мертвую собаку». Я поэтому открыто заявил себя учеником этого великого мыслителя...» Та мистификация, которую претерпела диалектика в руках Гегеля, отнюдь не помешала тому, что именно Гегель первый дал исчерпывающую и сознательную картину ее общих форм движения. У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо ее поставить на ноги, чтобы вскрыть рациональное зерно под мистической оболочкой... В своей рациональной форме диалектика внушает буржуазии и ее доктринерам-идеологам лишь злобу и ужас, так как в позитивное понимание существующего она включает в то же время понимание его отрицания, его необходимой гибели, каждую осуществленную форму рассматривает в движении, следовательно, также и с ее преходящей стороны, так как она ни перед чем не преклоняется и по самому существу своему критична и революционна» (стр. XXIX, изд. 1909 г.). Прибавлять к этим блестящим словам, кажется, нечего. Нужно лишь подчеркнуть, что это писалось в 1873 году, когда Маркс вполне и целиком и давным давно уже был марксистом. Кроме того, нужно специально выделить то, что имеет ближайшее отношение к нашей задаче. Маркс «открыто заявил себя учеником» Гегеля—это значит, что он видел в этом глубокий смысл и значение. Маркс требует материалистического понимания Гегеля и в то же время он сам, величайший из великих, недвусмысленно признает, что «именно Гегель первый дал исчерпывающую и сознательную картину диалектики»; Маркс признает, наконец, громадное значение диалектики, спасающей от пошлого об'ективизма и дающей понимание движения вперед, ибо она—диалектика—«по самому существу своему критична и революционна».

Чтобы не повторить почти полностью того же самого относительно Энгельса, скажем, что у последнего в «Анти-Дюринге» есть добрая сотня мест, также не дающих никаких оснований устанавливать скептическое отношение Энгельса к рационально понятому Гегелю («Анти-Дюринга» берем исключительно потому, что последнее предисловие к книге помечено 1894 годом, когда Энгельс давным давно перестал быть «гегельянцем». То же самое можно найти и в «Людвиге Фейербахе»). Все это достаточно ясно. Мы хотели бы прибавить к этому лишь небольшое замечание, которое делает Энгельс в одном из своих писем к Ф. А. Ланге (см. Neue Zeit, 28 Jahrgang, 5/XI 1909 г. № 5. Письмо дати-

ровано 29/III—1865): «Вполне естественно, что я больше не гегельянец. Однако я все еще питаю большое уважение и привязанность к великому старику (в интересах точности в оттенках мысли, даем и немецкий текст: «Ich bin natürlich kein Hegelianer mehr, habe aber doch immer noch eine grosse Pietät und Anhänglichkeit an den alten kolossalen Kerl»). Энгельс считает, очевидно, что изучение Гегеля полезно для марксизма, так как это отнюдь не является пустой схоластикой. Человек, обуреваемый неудержимым скепсисом, мог бы, однако, заявить на все это, примерно, следующее: вполне естественно, что Маркс и Энгельс чувствовали «eine grosse Pietät und Anhänglichkeit» к великому Гегелю—ведь они вышли из его школы и влияние последней должно было сказываться на них довольно долго. Но—прибавит такой скептик—последующее развитие марксизма отнюдь не дает нам оснований именно на Гегеля обращать наибольшее внимание.

Нетрудно показать, что действительность резко расходится с подобным мнением. Сделать это можно и надо на рассмотрении некоторых, в настоящий момент элементарных, но часто забываемых фактов. Мы говорим о том, что различие между революционным марксизмом, с одной стороны, и марксизмом в кавычках, с другой, обнимая достаточно большую группу важнейших принципиальных вопросов, имеется сверх того и в отношении к диалектике, следовательно, и к Гегелю. История марксизма дает для этого достаточно богатый материал. Однако мы можем воспользоваться лишь немногим [1]), а из этого немногого мы по известным соображениям избираем только Богданова, Бермана и Кунова. При этом мы не можем не привести уже теперь замечательных слов Плеханова, характеризующих противоположный революционному марксизму лагерь: «Историческая миссия наших «критиков»,—говорит Плеханов,—заключается в «пересмотре» Маркса для устранения из его теории всего ее социально-революционного содержания»... Из теории Маркса выбрасываются одно за другим все те положения, которые могут служить пролетариату духовным оружием в его революционной борьбе с буржуазией. Диалектика, материализм, учение об общественных противоречиях, как о стимуле общественного процесса; теория стоимости вообще и теория прибавочной стоимости—в частности, социальная революция, диктатура пролетариата,—все эти необходимые составные части марксова научного социализма, без которых он утрачивает все свое существенное содержание, об'являются второстепенными частностями, несоответствующими нынешнему состоянию науки, тенденциозными, утопичными и подлежащими ампутации в интересах беспрепятственного развития основных положений того же мыслителя... Настоящий

[1]) Свой выбор—конечно, далеко не полный—мы основываем на следующих соображениях. К марксистам в кавычках вполне приложима сентенция: «одних уж нет, а те далече». Мы интересуемся специально теми, кто хотя и «далече», но считает себя (или считается) марксистом. О Струве, Бернштейне etc. читатель найдет немало прекрасных мест у Каутского («Анти-Бернштейн»), Плеханова (Соч., т. XI), Ленина. Некоторые места кажутся написанными специально для новейших скептиков (См., напр., стр. 37—38 т. XI Соч. Плеханова и т. д.).

Маркс до конца своих дней оставался верен этому духу **диалектики**. Но именно это обстоятельство и не нравилось (это можно употребить и в настоящем времени. *К. М.*) г.г. «критикам»[1]). Мы приводим эту выписку отнюдь не для застращивания кого бы то ни было. Мы, используя Плеханова для характеристики Богданова, Кунова и т. п., хотим лишь показать этими словами, куда фактически идут те, кто извращает хотя бы частицу учения Маркса. При этом мы не считаем нужным добавлять, что для ревизии Маркса не обязательно ругать именно его самого: вполне достаточно обругать кого-нибудь из его последовательных учеников, при чем можно даже лишь по одному вопросу,—скажем о диалектике.

Однако переходим к А. А. Богданову. Это сулит нам довольно пикантные переживания. В своей «Философии живого опыта» Богданов посвящает V главу «Диалектическому материализму» [2]). Стоя на точке зрения некоей «организационной диалектики», в каковой подлинной диалектики столь же мало, сколь марксизма в тектологии, Богданов замечает: «...основное понятие диалектики (речь идет о триаде и о количестве-качестве. *К. М.*) у Маркса, как и у Гегеля, не достигло полной ясности и законченности; а благодаря этому самое применение диалектического метода делается неточным и расплывчатым, в его схемах примешивается произвол, и не только границы диалектики остаются неопределенными, но иногда и самый смысл ее сильно извращается» (стр. 242). Предпослав это любезное замечание, Богданов констатирует сильнейший уклон... кого бы вы думали?.. Энгельса (!) от материализма. Уклон именно потому, что Энгельс, как и его ученики, увлекся диалектикой. Богданов изрекает (дело идет о диалектике движения): «На деле Энгельс, как и Зенон, обнаружил только противоречие двух **понятий**, применяемых к движению, понятий «находиться» и «не находиться» там-то, а не противоречие реальных сил или тенденций». Это значит,—продолжает он,—«переходить на точку зрения идеализма, возвращаться к диалектике Гегеля» (стр. 243—244). Уже отсюда с полной ясностью вытекает, сколь не любит Богданов диалектики. Поэтому, подчеркнув еще раз, что «понимание диалектики у Маркса и Энгельса то же, что у Гегеля—«развитие путем противоречий»,—с той разницей, что дело идет о противоречиях сил, а не только понятий» (стр. 264), уважаемый автор ликвидирует марксову диалектику совершенно. Иначе никак нельзя понять заключительного аккорда главы: нам «раскрывается ее (диалектики. *К. М.*) историческая ограниченность, необходимость перехода к более широкой и общей точке зрения: организационные процессы в природе совершаются **не только** через борьбу противоположностей, но также иными путями; диалектика, след., есть частный случай и ее схема не может стать универсальным методом. Вытекающую отсюда новую точку зрения формулирует эмпириомонизм» (стр. 266). Антидиалектичность же последнего как будто бы общеизвестна.

Во внутреннем смысле всех этих «высказываний» можно было бы сомневаться, если бы Богданов совершенно откровенно

---

[1]) Соч., т. XI, стр. 269—270. Первый курсив наш, остальные—автора.
[2]) «Книга», П.-М. 1923 г., 3 изд., стр. 261—267.

не выступил против наследия Гегеля. В «Тектологии» [1]) он еще раз напирает на то, что «неизбежно связанные с... гегелевской и догегелевской терминологией остатки «логизма», отождествляющего развитие схем и реальностей (кто сие делает, да и делает ли?—неизвестно. *К. М.*), могут быть и вредны». «Диалектика—видите ли—имела еще иное значение, которое всего лучше определить, как архитектурно-эстетическое. В и з л о ж е н и е фактов и мыслей она вносила моменты ритма и симметрии, внешнюю, формальную организованность, которая облегчает восприятие и запоминание. Эта сторона диалектики, повидимому, еще долго будет сохранять свою ценность» [2]).

Все это так, скажет нам скептик. Но какое, позвольте спросить, отношение имеет это к обсуждаемому вопросу?—Дело, однако, совершенно ясно. Все эти несколько утомительные цитаты, несмотря на разную форму выражения, говорят одно: марксизм должен избавиться от диалектического наследия Гегеля, ибо оно—это наследие—способно ввести в заблуждение даже такого человека, как Энгельс, не говоря уж о современных «эпигонах». Словечки «схоластика», «схоластические ухищрения» Богдановым, конечно, не употребляются, хотя «логизм», «отождествление развития схем и реальностей», а также «ритм», «симметрия», «внешняя организованность»—могут означать лишь ту же схоластичность. Но разве дело в словах? Ежели мне об'являют, что 1) Энгельс стал идеалистом из-за увлечения Гегелем и что 2) диалектика сохраняет лишь «архитектурно-эстетическое» значение, то к какому иному выводу могу я притти, как не к тому, что занятия диалектикой «могут быть и вредны», ибо они схоластичны по существу. Не входя в подробный разбор этих положений, так как «на всякое чихание не наздравствуешься», достаточно констатировать: бывают случаи, когда точка зрения людей, считающих себя ортодоксальными, на один из важнейших вопросов марксизма совпадает со взглядами признанных не-марксистов. Идет ли сие на пользу ортодоксии,—предоставляем судить знатоку марксистской литературы, С. Ю. Семковскому.

В своих взглядах на диалектику Богданов, если даже брать выбранную нами троицу—Богданов, Кунов, Берман,—не одинок. Во всех трех случаях, правда, под разной приправой, мы имеем одинаковое отношение.

Берем Кунова. Он в свое время считал возможным заявить такую мысль: «Связь (Марксовой теории) с гегелевской философией должна быть отнесена к началу пятидесятых годов... Философская (=диалектическая. *К. М.*) оболочка имеет у него лишь значение более строгого, точного формулирования выводов; она, по моему мнению, ни в коем случае не может считаться необходимой принадлежностью исторического материализма» [3]). С этим

---

[1]) А. А. Б о г д а н о в, Тектология, части 1. 2 и 3. Изд. З. Гржебина, Берлин, 1922 г., стр. 516.

[2]) Заметим мимоходом, что в данном случае Богданов стоит на тривиальной невыносимо-плоской точке зрения, определяющей диалектику, как «искусство разговора... искусство методологического расположения доводов» (Р а д л о в, Философский словарь, 2 изд. 1913 г., стр. 178). Боимся, что С. Ю Семковский весьма склонен к тому же, когда он говорит об «острой диалектике» Потебни (См. «Эт. по фил. марксизма», стр. 124).

[3]) Не имея под руками «Neue Zeit», B. XIV, № 39, цитируем по Берману «Диалектика в свете современной теории познания», М. Кн-ство, М. 1908 г., стр. 1[illegible]

стоит сравнить то, что пишет тот же Кунов, заканчивая свою книгу «Die Marxsche Geschichts-Gesellschafts-und Staatstheorie»[1]. Он говорит: «диалектика, как понимает ее Маркс,... не является в марксовой общественной науке чем-то чуждым, чем-то перенятым из гегелевской логики исключительно ради привязанности к Гегелю (*К. М.*). Напротив (sondern),—диалектика в связи с марксовым понятием исторической необходимости представляет из себя чрезвычайно важный краеугольный камень марксовой теории развития. Удаление его повлекло бы за собой крах (den Fale) всего замкнутого, хотя в большей своей части и не вполне внутренне законченного учения» (последней фразой Кунов указывает для желающих, по какой линии может итти очередная ревизия Маркса). Несогласованность обеих цитат не должна нас смущать; к числу человеческих доблестей, как известно, принадлежит частая смена своих взглядов, и умение сегодня утверждать нечто диаметрально противоположное вчерашнему, хотя в важнейшем—в отрицании во что бы то ни стало—они остаются одинаковы. Пусть в первом случае утверждается, что диалектика—только оболочка, во втором—краеугольный камень, в основе, как не трудно видеть, лежит одно: откровеннейшая нелюбовь к диалектике. Надо полагать, что и этого за глаза достаточно для безошибочных выводов. Кунов, марксизм которого находится под величайшим сомнением, сильно не любит диалектики Маркса, не говоря уж о Гегеле. Не любит, очевидно, потому, что в последний период своей ученой карьеры он с правом усматривает в ней Eckstein революционного марксизма. И вряд ли стоит прибавлять сюда то, что отчасти именно незнание и неумение пользоваться диалектикой,—в которой, по нашим сведениям, он никогда не был особенно силен,—заставило Кунова критиковать «Государство и революцию» (Ленин), как и весь ленинизм[2].

Переходим к Берману. В своей цитированной уже нами книге «Диалектика в свете современной теории познания» он утверждает почти дословно то, что мы видели выше, приводя мнение Семковского (разница лишь в об'екте утверждения: у Бермана—Маркс, здесь же—последователи последнего). Он говорит: «Не нужно, однако, быть особенно глубоким знатоком «Капитала», чтобы видеть, что все эти **схоластические схемы** (курсив наш. *К. М.*) у Маркса играют исключительную роль философской формы, наряда, в который он облекает свои, добытые чисто индуктивным путем, обобщения» (стр. 17). В дальнейшем немало говорится о «погремушках гегелевского схематизма», об «особом таинственном значении» отрицания у Энгельса, и все это для того, чтобы об'явить результаты исследования Энгельсом математики такими, которые добыты «ценою больших натяжек и

---

[1]) Vierte Auflage, Verl. v. Dietz, Nacht Berlin 1923, B. II, S. 347.

[2]) См. B. I, S. 327—337 цит. работы. Здесь, как и в других местах, поражает скрупулезное педантство, которое дало право Ленину сказать, что герои II Интернационала не поняли решающего в марксизме—его революционной диалектики (см. т. XVIII, ч. 3, стр. 117). Но об этом после. А сейчас заметим еще, что на стр. 333 Кунов, поговорив о ленинской теории диктатуры пролетариата, где, как известно, нет ни грана метафизики, зато немало жизненной диалектики, одним духом перемахивает к квалификации его, Ленина, как «большевистского схоласта». Последнюю оценку не вредно было бы запомнить.

не выступил против наследия Гегеля. В «Тектологии» [1]) он еще раз напирает на то, что «неизбежно связанные с... гегелевской и догегелевской терминологией остатки «логизма», отождествляющего развитие схем и реальностей (кто сие делает, да и делает ли?—неизвестно. *К. М.*), могут быть и вредны». «Диалектика—видите ли—имела еще иное значение, которое всего лучше определить, как архитектурно-эстетическое. В изложение фактов и мыслей она вносила моменты ритма и симметрии, внешнюю, формальную организованность, которая облегчает восприятие и запоминание. Эта сторона диалектики, повидимому, еще долго будет сохранять свою ценность» [2]).

Все это так, скажет нам скептик. Но какое, позвольте спросить, отношение имеет это к обсуждаемому вопросу?—Дело, однако, совершенно ясно. Все эти несколько утомительные цитаты, несмотря на разную форму выражения, говорят одно: марксизм должен избавиться от диалектического наследия Гегеля, ибо оно—это наследие—способно ввести в заблуждение даже такого человека, как Энгельс, не говоря уже о современных «эпигонах». Словечки «схоластика», «схоластические ухищрения» Богдановым, конечно, не употребляются, хотя «логизм», «отождествление развития схем и реальностей», а также «ритм», «симметрия», «внешняя организованность»—могут означать лишь ту же схоластичность. Но разве дело в словах? Ежели мне об'являют, что 1) Энгельс стал идеалистом из-за увлечения Гегелем и что 2) диалектика сохраняет лишь «архитектурно-эстетическое» значение, то к какому иному выводу могу я притти, как не к тому, что занятия диалектикой «могут быть и вредны», ибо они схоластичны по существу. Не входя в подробный разбор этих положений, так как «на всякое чихание не наздравствуешься», достаточно констатировать: бывают случаи, когда точка зрения людей, считающих себя ортодоксальными, на один из важнейших вопросов марксизма совпадает со взглядами признанных не-марксистов. Идет ли сие на пользу ортодоксии,—предоставляем судить знатоку марксистской литературы, С. Ю. Семковскому.

В своих взглядах на диалектику Богданов, если даже брать выбранную нами троицу—Богданов, Кунов, Берман,—не одинок. Во всех трех случаях, правда, под разной приправой, мы имеем одинаковое отношение.

Берем Кунова. Он в свое время считал возможным заявить такую мысль: «Связь (Марксовой теории) с гегелевской философией должна быть отнесена к началу пятидесятых годов... Философская (=диалектическая. *К. М.*) оболочка имеет у него лишь значение более строгого, точного формулирования выводов; она, по моему мнению, ни в коем случае не может считаться необходимой принадлежностью исторического материализма» [3]). С этим

[1]) А. А. Богданов, Тектология, части 1, 2 и 3. Изд. З. Гржебина, Берлин, 1922 г., стр. 516.

[2]) Заметим мимоходом, что в данном случае Богданов стоит на тривиальной невыносимо-плоской точке зрения, определяющей диалектику, как «искусство разговора... искусство методологического расположения доводов» (Радлов, Философский словарь, 2 изд. 1913 г., стр. 178). Боимся, что С. Ю. Семковский весьма склонен к тому же, когда он говорит об «острой диалектике» Потебни (См. «Эт. по фил. марксизма», стр. 124).

[3]) Не имея под руками «Neue Zeit», B. XIV, № 39, цитируем по Берману «Диалектика в свете современной теории познания», М. Кн-ство, М. 1908 г., стр. 18

стоит сравнить то, что пишет тот же Кунов, заканчивая свою книгу «Die Marxsche Geschichts-Gesellschafts-und Staatstheorie»[1]). Он говорит: «диалектика, как понимает ее Маркс,... не является в марксовой общественной науке чем-то чуждым, чем-то перенятым из гегелевской логики исключительно ради привязанности к Гегелю (*К. М.*). Напротив (sondern),—диалектика в связи с марксовым понятием исторической необходимости представляет из себя чрезвычайно важный краеугольный камень марксовой теории развития. Удаление его повлекло бы за собой крах (den Fale) всего замкнутого,. хотя в большей своей части и не вполне внутренне законченного учения» (последней фразой Кунов указывает для желающих, по какой линии может итти очередная ревизия Маркса). Несогласованность обеих цитат не должна нас смущать; к числу человеческих доблестей, как известно, принадлежит частая смена своих взглядов, и умение сегодня утверждать нечто диаметрально противоположное вчерашнему, хотя в важнейшем—в отрицании во что бы то ни стало—они остаются одинаковы. Пусть в первом случае утверждается, что диалектика—только оболочка, во втором—краеугольный камень, в основе, как не трудно видеть, лежит одно: откровеннейшая нелюбовь к диалектике. Надо полагать, что и этого за глаза достаточно для безошибочных выводов. Кунов, марксизм которого находится под величайшим сомнением, сильно не любит диалектики Маркса, не говоря уж о Гегеле. Не любит, очевидно, потому, что в последний период своей ученой карьеры он с правом усматривает в ней Eckstein революционного марксизма. И вряд ли стоит прибавлять сюда то, что отчасти именно незнание и неумение пользоваться диалектикой,—в которой, по нашим сведениям, он никогда не был особенно силен,—заставило Кунова критиковать «Государство и революцию» (Ленин), как и весь ленинизм[2]).

Переходим к Берману. В своей цитированной уже нами книге «Диалектика в свете современной теории познания» он утверждает почти дословно то, что мы видели выше, приводя мнение Семковского (разница лишь в об'екте утверждения: у Бермана—Маркс, здесь же—последователи последнего). Он говорит: «Не нужно, однако, быть особенно глубоким знатоком «Капитала», чтобы видеть, что все эти с х о л а с т и ч е с к и е с х е м ы (курсив наш. *К. М.*) у Маркса играют исключительную роль философской формы, наряда, в который он облекает свои, добытые чисто индуктивным путем, обобщения» (стр. 17). В дальнейшем немало говорится о «погремушках гегелевского схематизма», об «особом таинственном значении» отрицания у Энгельса, и все это для того, чтобы об'явить результаты исследования Энгельсом математики такими, которые добыты «ценою больших натяжек и

---

[1]) Vierte Auflage, Verl. v. Dietz, Nacht Berlin 1923, B. II, S. 347.

[2]) См. B. I, S. 327—337 цит. работы. Здесь, как и в других местах, поражает скрупулезное педантство, которое дало право Ленину сказать, что герои II Интернационала не поняли решающего в марксизме—его революционной диалектики (см. т. XVIII, ч. 3, стр. 117). Но об этом после. А сейчас заметим еще, что на стр. 339 Кунов, поговорив о ленинской теории диктатуры пролетариата, где, как известно, нет ни грана метафизики, зато немало жизненной диалектики, одним духом перемахивает к квалификации его, Ленина, как «большевистского схоласта». Последнюю оценку не вредно было бы запомнить.

софистической аргументации» (стр. 183). Берман считает даже возможным сказать, что «все рассуждение Энгельса (о математике. *К. М.*) основано на таком же жонглировании терминами, как и все диалектические фокусы самого Гегеля» (стр. 186) [1].

Не обсуждая пока вопроса о «погремушках», «схоластике» и т. д., подведем некоторые предварительные итоги. Рассмотрение писаний тех, из коих «одних уж нет, а те далече», убеждает, что взгляды на отношение марксизма к Гегелю и его наследству нередко обуславливали (обуславливают?) между ними отношение к самому марксизму. Итоги эти нуждаются, однако, в подтверждении не только с отрицательной, но и что, пожалуй, важнее, с положительной стороны. В данном случае по вполне понятным основаниям мы выбираем Плеханова и Ленина, отнюдь не забывая, а, напротив, намеренно подчеркивая существующее при всей общности различие, и последнее совершенно наглядно укажет нам, где искать ответ на интересующий нас вопрос.

Однако предварительно необходимо привести пару исторических справок.

В «Малой Логике» Гегель делает такое замечание: «Всякий недостаток, всякую границу узнают и чувствуют только тогда, когда вышли за эту границу» [2]). Смысл этого замечания ясен. А так как, по выражению Ленина, «не только овес растет по Гегелю, но и русские социал-демократы воюют между собой тоже по Гегелю» [3]), то мы вправе применить его к некоторым фактам из истории—отдаленной и близкой—русского марксизма.

Во 2-й части XII т. сочинений Ленина собрано немало материала, касающегося оценки С. Ю. Семковского, как теоретика и практика революционного движения. Обобщая эти оценки, общую точку зрения почтенного автора обвинений можно было бы квалифицировать как эклектическую, но отнюдь не диалектическую.

Это могло бы пройти незамеченным, если бы в новейшее время не оказалось, что здесь,—дабы повторить выражение Шекспира,—есть своя система. К сему надлежит прибавить, что сборник статей, составленный С. Ю. Семковским под названием «Исторический материализм» (впервые издан в 1908 г., в 1923 вышел 5-м изданием), почти не уделяет внимания вопросам диалектики в марксизме. Не уделяет, очевидно, потому, что исторический материализм понимается примерно в таком извращенном смысле: есть философия марксизма—диалектический материализм, но она для марксизма вовсе необязательна; а вот есть еще материализм исторический (=экономический)—вот это и есть доподлинный марксизм. В порядке исторической справки полезно привести также те замечания, которые делает С. Ю. Семковский в цитированной уже нами брошюре «Этюды по философии марксизма». Там, на стр. 39, к сугубому посрамлению Гегеля утверждается «богословская подпочва» его учения. На

---

[1]) Естественно в данной связи мы не можем касаться совершенно неправильного понимания Берманом, так же как и Богдановым, диалектики движения и математики.

[2]) Энциклопедия. Пер. Чижова, § 60.

[3]) Соч., т. V: «Шаг вперед, два шага назад», стр. 480.

стр. 128, как и во всей статье («Марксизм как предмет преподавания»), проводится та мысль, что «роль метода и мировоззрения—воспитательная», при чем забывается его—марксизма—действенное значение. Кроме всего этого, в докладе «Материализм Фейербаха и Маркса в свете современной науки» (там же, стр. 31 и сл.) до смешного мало говорится о диалектике. Хотя, как известно, основное различие между Марксом и Фейербахом заключается в историзме (=диалектике) первого и метафизичности последнего... Приняв во внимание вышеприведенные слова Гегеля, не трудно притти к выводу, что 1) цитированные нами в начале статьи слова С. Ю. Семковского из «Послесловия» далеко не случайны, а обусловлены прежними работами автора, и что 2) они—эти словечки о схоластике—позволяют правильно понять прошлое, когда данный вопрос открыто еще не ставился. Тем более, что автор поспешил отклонить все кривотолки, указав, что все вошедшее в сборник «связано определенным внутренним единством» (стр. 163 «Этюдов»). Невольно, поэтому, повторишь вслед за т. Степановым: данный спор «вскрыл существование в марксизме двух противоположных течений» [1]).

Все это с тем большей силой вынуждает нас перейти к тому, что выше было названо положительными доказательствами, перейти к Плеханову и Ленину.

Остановимся на первом.

У Плеханова нет недостатка в чрезвычайно высокой оценке Гегеля. При этом, как нетрудно будет видеть из дальнейшего, Плеханов говорит не только о необходимости изучения марксовой диалектики, но и диалектики именно Гегеля, с полным правом утверждая, что «у Гегеля очень многому научатся те, которые действительно стремятся к знанию» [2]). Научатся именно потому, что «идеалистическая философия Гегеля сама в себе заключает самое лучшее, самое неопровержимое доказательство несостоятельности идеализма. Но в то же время она учит нас последовательности в мышлении, и кто с любовью и со вниманием пройдет ее суровую школу, тот навсегда получит спасительное отвращение от эклектического винигрета» (там же, стр. 39). Сюда же необходимо прибавить и такую мысль, которой обычно не придают всего значения: «Выражаясь терминами Гегеля, можно сказать, что материализм оказывается истиной идеализма... Величайший из идеалистов как будто задался целью расчистить поле для материализма» (стр. 43. Курсив автора). В скобках заметим: следуя т. Деборину, мы думаем, что, оценивая Гегеля как идеалиста, что вполне отвечает действительности, нельзя тем не менее забывать нередкие у него материалистические положения. Ср., напр.,—не говоря уж о «географической основе мировой истории»—многие места в «Малой Логике». Там Гегель говорит то, что под стать и марксисту: так необходимость реформы философии он выводит в «Речи при открытии чтений в Берлине» из противоречия между прогрессирующей жизнью—даже промышленностью (!)—и отставшей философией. Он утверждает затем,

---

[1]) „Под Знам. Марксизма", № 3, 1925 г. Цитир. статья, стр. 212.—Мысль высказана по другому поводу.

[2]) Соч., т. VII: К 60-летней годовщине смерти Гегеля, стр. 34.

что «философия должна согласоваться с действительностью» и что это согласие—«пробный камень истины всякой философской системы» и т. д. Отчасти это, надо полагать, дало Ленину основание сказать, что он «читает Гегеля материалистически».—Но все это в скобках: здесь необходимо серьезнейшее исследование. Однако ценность Гегеля Плеханов видит не только в этом. Он подчеркивает: «Гегель совершенно прав, когда говорит, что серьезное усвоение и ясное понимание диалектики есть дело чрезвычайной важности. Диалектический метод—это самое главное научное орудие, которое досталось в наследство немецкого идеализма его преемнику, современному материализму» (стр. 53. Курсив наш). Не менее ясно говорит Плеханов и в своей работе о Чернышевском: «Диалектический метод материалистичен по своей природе, и под его влиянием даже исследователи, стоящие на идеалистической точке зрения, в своих рассуждениях являются подчас несомненными материалистами. Лучшим примером этого может служить сам Гегель» [1]). От всех этих оценок ничем принципиально не отличается та мысль Плеханова, что «Маркс не мог бы так безусловно резко (дело идет о критике Гегеля в «Святом Семействе». *К. М.*) и без всяких оговорок отозваться о философии Гегеля, если бы он в то время придавал ей то значение, которое и он и Энгельс придавали ей в свой окончательный, третий, период развития, когда они выработали основы научного социализма. Как известно (оказывается, не всем. *К. М.*), они тогда видели в философии Гегеля философскую систему, выработавшую могущественное орудие исследования, — диалектический метод» [2]). Тот, кто не принимает во внимание этих слов Плеханова, очевидно, не способен понять, что более детальной оценки Гегеля мы не имеем в «Философской эволюции Маркса» просто потому, что она обрывается на втором периоде, т.-е. на том периоде, когда Маркс воевал с остатками специфического «гегельянства». Говоря о нем, Плеханов, естественно, должен был указать на то реакционное, что у Гегеля есть.

Итак, Плеханов, не в пример Богданову и пр. и в полном согласии с Марксом и Энгельсом, отнюдь не забывает Гегеля, а, напротив, постоянно напоминает о нем, придавая изучению его большое значение [3]). Со всем этим марксистам надо было бы считаться!

Выше мы говорили, что между Плехановым и Лениным, несмотря на многое общее, существует и очень важное различие, которое никак нельзя, при всем уважении к памяти Плеханова, пропустить или смазать. Само собой разумеется, что в данной

---

[1]) Плеханов. Соч., т. V, стр. 229. Курсив наш. Чтобы не дать оснований для недоразумения, заметим, что гегельянцы—идеалисты вроде И. Ильина (Философия Гегеля, т. I и II), Г. Лукача (Geschichte und Klassenbewusstsein и Лассона—см. его предисловия к Собр. соч. Гегеля) становятся идеалистами за счет отказа от диалектики.

[2]) Группа «Освобожд. Труда», сб. № 2, стр. 18.

[3]) Мы намеренно не приводим соответствующих выдержек из таких фундаментальнейших работ Плеханова, как «К вопросу о развитии монистич. взгляда на историю», «Очерки по истории материализма», примечания к «Л. Фейербаху» etc., считая их абсолютно известными каждому. Во всех этих работах Плеханов проводит ту же основную мысль.

связи мы не можем касаться вопросов политики, однако нам кажется, и это будет подтверждено дальнейшим, что разное отношение к диалектике (как и теории вообще), обусловило отчасти различие политических взглядов. Говорим «отчасти», так как каждому марксисту ясно, что различие в первом само было обусловлено целым рядом социальных причин.

Естественным следствием одного из распространеннейших взглядов на Ленина, только как на практика, пусть гениального, является несомненно недостаточное внимание к тому, что говорил и писал Ленин о теории вообще, и—для нас—о диалектике в частности,—о Гегеле в особенности. То, что сказал Ленин в своей статье «О значении воинствующего материализма» о Гегеле, считается поэтому либо сказанным «для красного словца», либо специально для «философов». Последние же, как известно, «схоласты», ибо про них сказано бысть древним: «не можно того в горячке сбредить, чего бы философы до сих пор уже не сказали». Мы не уверены, что дело обстоит именно так, но что в основе пренебрежения к философии лежит как раз это,—совершенно бесспорно. Отнюдь не претендуя на приоритет, мы вынуждены привести замечательные слова Ленина: «Опираясь на то, как применял Маркс материалистически понятую диалектику Гегеля, мы можем и должны, разрабатывать эту диалектику со всех сторон, печатать в журнале отрывки из главных сочинений Гегеля, истолковывать их материалистически, комментируя образцами применения диалектики у Маркса, а также теми образцами диалектики в области отношений экономических, политических, каковых образцов новейшая история, особенно современная империалистическая война и революция дают необыкновенно много... Современные естествоиспытатели найдут (если сумеют искать и если мы научимся помогать им) в материалистически истолкованной диалектике Гегеля ряд ответов на те философские вопросы, которые ставятся революцией в естествознании и на которых «сбиваются» в реакцию интеллигентские поклонники буржуазной моды» [1]). Действительно, есть от чего притти в священный ужас. Как?! Ленин, марксизм которого, надо думать, не вызывает ни у кого из думающих людей никакого сомнения, Ленин в статье «О значении воинствующего материализма» говорит о необходимости создания «общества материалистических друзей Гегелевской диалектики». Говорит, что ее—диалектику—«мы можем и должны разрабатывать со всех сторон», рекомендует «печатать в журнале отрывки из главных сочинений Гегеля, и—о, двойной ужас!—считает даже, что «естествоиспытатели... найдут» там «ряд ответов».

Не перегнул ли он палку? Мы думаем, мы убеждены—нет! Ленин, как и в миллионе других случаев, целиком прав. Именно потому, что «у главных направлений передовой общественной мысли России имеется, к счастью, солидная материалистическая традиция» (там же, стр. 5. Курсив наш), диалектика же, добавим мы от себя, увы, в загоне. Поэтому именно на это надо обратить внимание, именно

[1]) «Под Зн. М-зма» 1922 г., № 3, стр. 10. Курсив везде наш.

юда надо бить. С «ужасом» же и с обвинениями в «схоластике» надо поскорее—и попрочнее—разделаться.

Цитированное выше место относится к 1922 г., т.-е. к последнему периоду деятельности Ленина. Встает естественно вопрос, не представляет ли эта мысль чего-нибудь случайного. Ответить на него было легко и раньше, еще легче теперь, когда мы имеем «Ленинские сборники» и заметки Ленина на «Логику» Гегеля. Один факт, что величайший революционер считал необходимым изучать Гегеля, должен был кое-кого кое-чему научить, точно так же, как могли бы поучить и далеко нередкие ссылки Ленина на Гегеля, делаемые им в моменты ожесточенного спора [1]). При этом Ленин, насколько мы знаем, никогда не третировал Гегеля en canaille,—напротив, он нередко говорит о «великой гегелевской диалектике». Это, как легко видеть, расходится с некоторыми современными настроениями.

Но послушаем еще раз Ленина. В статье «Еще к вопросу о теории реализации» (т. II, стр. 486, прим. второе), он, указав на реакционность лозунга «Назад к Канту», говорит: «Наоборот, те ученики, которые пошли назад не к Канту, а к философскому материализму до Маркса, с одной стороны, и к диалектическому идеализму, с другой стороны, дали замечательное стройное и ценное изложение диалектического материализма, показали, что он представляет из себя законный и неизбежный продукт всего новейшего развития философии и общественной науки». (Дальше—ссылка на работы Плеханова «Очерки по истории материализма» и «К вопросу...»). Оказывается, что по закреплении на материалистических позициях возвращаться назад к Гегелю (о, конечно, не в плоском значении этого для идущих назад к Канту!) далеко не вредно: возвратившиеся туда (к диалектическому идеализму! Ну, как тут не впасть в прострацию?!) «дали замечательно стройное и ценное изложение диалектического материализма». Тогда как возвращающиеся только к материализму до Маркса или почившие на опошленном, раздиалектиченном Марксе, способны дать, очевидно, нечто весьма плоское,—не больше.

Однако Ленин говорит лишь об изложении. Но дело не в нем одном, а в чем-то более серьезном, более важном. Где искать этого важного, совершенно ясно указывается самим Лениным. «Крепкой социалистической партии,—говорит он,—не может быть, если нет революционной теории, которая об'единяет всех социалистов, из которой они почерпают все свои убеждения, которую они применяют к своим приемам борьбы и способам деятельности» [2]). В этих немногих словах мы находим прекрасную формулировку значения теории, в частности диалектического материализма. Но не это может интересовать нас в данной связи, а то, как продолжает Ленин свою мысль: «Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса, как на нечто законченное и неприкосновенное, мы убеждены, напротив, что она положила только краеугольные камни той науки, которую социалисты д о л ж н ы двигать дальше

---

[1]) Указываем наудачу несколько мест: «Шаг вперед...» (Соч., т. V, стр. 480) «К. Маркс» (т. XII, ч. 2, стр. 323 и др.). «Еще раз о профсоюзах» и т. д. (т. XVIII, ч. 1. стр. 60). Здесь Ленин употребляет даже гегелевский термин «самодвижение» и т. д.

[2]) „Ленинский сборник" № 3, Институт Ленина, Гиз, 1925 г., статья „Наша программа", стр. 15.

во всех направлениях, если они не хотят отстать от жизни. Мы думаем,—развивает свою мысль Ленин,—что для русских социалистов особенно необходима **самостоятельная** разработка теории Маркса, ибо эта теория дает лишь общие руководящие положения, которые применяются в **частности** к Англии иначе, чем к Франции, к Франции иначе, чем к Германии, к Германии иначе, чем к России» (там же. Курсивы автора). Здесь не знаешь, чему больше изумляться, тому ли, как бесстрашно утверждает Ленин необходимость самостоятельной разработки марксизма, той ли диалектике, которой насыщен этот отрывок, или же требованию претворять теорию в дело. Важно, во всяком случае, то, что теория и диалектика в этом числе не остаются для Ленина простой иконой, на которую обращаешь внимание, лишь когда «почил от дел своих». Как раз этим-то и страдают некоторые теоретики par excellence. Как на такого, Ленин указывает, в частности, на Плеханова: «перед нами,—говорит он,—образчик метафизики, против которой Плеханов любит пышно декламировать, не умея изгнать ее из своих собственных конкретно-исторических рассуждений» (Соч., т. VIII, стр. 81. Речь идет о вопросах Плеханова Каутскому относительно характера русской революции). То же самое повторяет Ленин и в книге «Государство и революция» (Соч., т. XIV, ч. 2, стр. 383: «для Маркса революционная диалектика никогда не была той пустой модной фразой, побрякушкой, которой сделали ее Плеханов, Каутский и т. д.)». Последние ссылки мы привели, само собой разумеется, отнюдь не для того, чтобы умалить имя Плеханова. Мы сделали это потому, что хотели наглядно показать, какое большое значение придавал Ленин революционной диалектике. «Наше учение,—постоянно подчеркивал он,—не догма, а руководство к действию». В этом классическом положении (дело идет о словах Энгельса. *К. М.*) с замечательной силой и выразительностью подчеркнута та сторона марксизма, которая сплошь да рядом упускается из виду. А, упуская ее из виду, мы делаем марксизм односторонним, уродливым, мертвым, мы вынимаем из него его душу живу, мы подрываем его коренные теоретические основания—диалектику, учение о всестороннем и полном противоречий историческом развитии; мы подрываем его связь с определенными практическими задачами эпохи, которые могут меняться при каждом новом повороте истории» [1]). Комментарии, думается, излишни.

К этому длинному списку цитат стоит прибавить еще одно место из Ленина. Оно ценно тем, что, не давая никаких оснований для кривотолков и устанавливая теснейшую связь диалектики марксистской с гегелевской, отмежевывает последнюю (последнюю!) от понимания ее как софистики, схоластики и т. д. Ленин говорит: «Великую гегелевскую диалектику, которую перенял, поставив ее на ноги, марксизм, никогда не следует смешивать с вульгарным приемом оправдания зигзагов политических деятелей, перемётывающихся с революционного на оппортунистическое крыло партии, с вульгарной манерой смешивать в

---

[1]) Соч., т. XI, ч. 2: «О некоторых особенностях исторического развития марксизма», стр. 138.

кучу отдельные заявления, отдельные моменты развития разных стадий единого процесса. Истинная диалектика... изучает неизбежные повороты, доказывая их неизбежность на основании детального изучения развития во всей его конкретности. Основное положение диалектики: абстрактной истины нет, истина всегда конкретна... И еще не следует смешивать эту великую гегелевскую диалектику с той пошлой житейской мудростью, которая выражается итальянской поговоркой: mettere la coda dove non va il capo (просунуть хвост, где голова не лезет)».

Вряд ли могут быть какие-нибудь сомнения в смысле этой цитаты. Хотя Ленин говорит здесь о политиках, об их софизмах, об их эклектике, не трудно, однако, сообразить, что это приложимо и к диалектике как таковой. Ибо ведь схоластика, как метод, принципиально изолирующийся от действительности, на практике означает как раз это просовывание хвоста туда, где голова не лезет.

Приведенные нами многочисленные цитаты, надеемся, достаточно вразумительны. Переходим к резюме. Водораздел между двумя школами в марксизме—если вторая, т.-е. Кунов, Богданов, Бернштейн etc., может быть названа марксистской—водораздел, кроме всего прочего, проходит также и по линии отношения к диалектике, след. к Гегелю, как ее основателю. Одни считают занятия Гегелем вещью a priori бесплодной, а посему никчемной. Другие убеждены, что так как марксизм—не догма, то занятия, сверх всего прочего, и гегелевской диалектикой способны содействовать углублению и развитию нашей теории. Ленин, в частности и в особенности, подчеркивает еще и другую сторону марксизма—именно, как руководства для действия,—что также выдвигает диалектику и Гегеля (ну, конечно, материалистически понятых!) на передний план научного исследования. Вопрос ставится, следовательно, только так: нужно ли подобное исследование именно сейчас, в данных конкретных условиях? а если нужно,—то где мера? Этим мы и займемся.

Необходим ли нам Гегель?

Ленин нередко говорил, что русская революция, будучи пролетарской, силою вещей вынуждена мимоходом решать задачи революции буржуазной. Это приложимо не только к социально-экономическим отношениям, но и к идеологии, к теории, к философии. Иначе—ряд абсолютно непонятных фактов. В России была буржуазия. Временами она добивалась если не политического, то хотя бы экономического господства. Казалось бы, что и идеология ее должна быть такой, какая выражена, скажем, крупнейшим писателем капиталистической Америки, Джеком Лондоном: идеология мощного, полного жизненных соков класса. Вместо этого—Бердяевы, Булгаковы, мистика Леонида Андреева, «Навьи чары» Соллогуба и прочие сугубые мерзости. Русская буржуазия не смогла сделать даже того, что сделала в свое время буржуазия французская, давшая Гольбаха, Гельвеция и Дидро, и немецкая, давшая Гегеля. Что это значит? То, что пред русским пролетариатом стоит проблема «мимоходом» решить и эту задачу. Можно возразить, что, несмотря на свою собственную идейную беспомощность, она, русская буржуазия, не отказывалась от на-

следства Запада. Это верно—что не отказывалась, верно, что «приняла» его. Весь вопрос,—как? Перед нами типичный для предреволюционной эпохи И. А. Ильин со своей работой—«Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека»[1]). Блестяще, если даже не талантливо, написанная работа эта страдает тем совершенно неприемлемым и об'ективно неверным постулатом, который выражен автором в «Предисловии». «Беды и страдания, пережитые человечеством за последние годы, пробудят в душах неискоренимую потребность в творческом, предметном пересмотре всех духовных основ современной культуры, и философия должна будет удовлетворить этому духовному голоду. Она должна будет вновь найти доступ к научному знанию о сущности бога и человека. И в этом отношении влияние Гегеля» и т. д. в том же духе. Мы видим таким образом, что русская буржуазия, конечно, так же, как и всякая другая, на определенной ступени развития, наследство приемлет, но превращает его в силу специфических условий времени и обстановки в обоснование тонкой, «дипломированной поповщины». Это же, увы, делает и Семковский, нашедший «богословскую подпочву» учения Гегеля и за деревьями не увидевший леса. Не вырастает ли из одного этого задача громадной культурной важности противопоставить это самое наследство марксистски об'ясненное и понятное, постоянно повторяющимся извращениям? Конечно, да. В частности, и в особенности еще и потому, что, как видно было выше, Гегель, несмотря на свою политическую реакционность, несмотря на свой идеализм и нередкие натяжки, часто говорит, как материалист и революционер. Но сказать так и этим ограничиться, значит стоять на точке зрения абстрактного культурничества, подменяющего политическую борьбу хотя бы и выраженную в философии, борьбой за отвлеченный идеал отвлеченной культуры, за восстановление подлинного исторического Гегеля. Для марксиста есть и другие, более существенные мотивы.

Важнейшие из них, нам думается, таковы. Совершенно не случайно то, что Ильин написал свою книгу о Гегеле именно перед революцией. Это было своеобразным выражением классовой борьбы. Не случайно и то, что в Германии в период войны и после нее обострился интерес к Гегелю, обострился настолько, что потребовалось новое, Лассоновское издание его сочинений. Ко всему этому, кажется нам, были следующие причины. Гегель учит, как известно, что «все течет, все развивается» (как говорят у нас в школах), учит диалектике общественной жизни[2]). К нему и обратилась буржуазная мысль, ибо военный и революционный процесс «захватил—употребляя слегка измененное выражение Маркса—настолько широкую арену, был настолько интенсивен по своему влиянию, что научил диалектике даже баловней» мировой буржуазии. Однако она—буржуазия—поняла эту

---

[1]) Изд. Лемана и Сахарова. 2 тома. Москва 1918 г.—Берем именно его ввиду близкой связи с нашей темой.

[2]) Здесь необходимо учесть то замечание, что, скажем, в Philosophie der Weltgeschichte Гегеля иногда бывает достаточно заменить «дух»—категорией «общество», чтобы получить материалистический взгляд: таково, напр., его учение о роли личности в истории.

диалектику весьма своеобразно, специфически по Гегелю: не как наиболее революционное оружие, а как способ доказательства царства «абсолютного духа», «гражданского мира». И никто не поручится, что наша, отечественная, вновь растущая буржуазия не увидит именно в Гегеле своего знамени. Ведь если с последним несколько вольно обращаться, то можно начать доказывать именно им необходимость всяких неприемлемых для нас, но приемлемых для нее вещей. Данное положение усугубляется еще тем, что, как известно, в стране ведется государственная пропаганда марксизма. Маркс же вышел от Гегеля, ergo—назад к Гегелю, к Гегелю—идеалисту, к Гегелю—проповоднику царствия абсолютного духа! Вопрос о Гегеле может стать, следовательно, одним из существеннейших на идеологическом фронте. И никто иной, как марксисты должны показать, что Гегель, несмотря на весь свой идеализм, значительно ближе нам, чем любому оттенку политического, философского и всякого прочего мракобесия. И здесь пролетариат «мимоходом» решает задачу буржуазной революции. Та же задача на Западе модифицируется и выступает, как задача борьбы с ревизией марксизма, основанной на тезисе, что раз Маркс вышел из Гегелевской школы, значит надо быть рабски скованным некоторыми Гегелевскими схемами (Г. Лукач).

Однако Гегель нужен нам еще и по некоторым иным основаниям. И тут мы решаемся высказать несколько мыслей, могущих показаться на первый взгляд недостаточно правильными. Но дело обстоит именно так. В своей цитированной выше статье «О значении воинствующего материализма» Ленин упирает на необходимость изучения Гегеля. Ленин говорит,—что для борьбы с натиском буржуазных идей и для победы в ней необходимо быть «современным материалистом, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом, т.-е. диалектическим материалистом. Чтобы достигнуть этой цели... (необходимо) организовать систематическое изучение диалектики Гегеля с материалистической точки зрения»... Прочитав эти слова и вспомнив, что Ленин отнюдь не настаивает в этой статье столь же энергично на изучении Маркса, иной весельчак сконструирует «схоластический» уклон у Ленина. Однако Ленин остается, конечно, марксистом, хотя и отличается от иных прочих, пребывающих в давно прошедших временах. Для Ленина совершенно ясно, что закону «звена, за которое надо ухватиться, чтобы вытащить всю цепь»,—этому закону подчинено и историческое развитие марксизма. Были времена, когда особенно ударять надо было на материализм. Но... «изменились времена, изменились и песни». Теперь есть уже «солидная материалистическая традиция». Теперь можно и надо (почему?—в дальнейшем), ни на секунду не забывая материализма, постоянно подчеркивать значение диалектики, значение Гегеля, направить свое внимание **также** и сюда. Можно, конечно, игнорируя современность, предпочесть остаться в «добром, старом времени», но... еще Дон-Кихот должен был жестоко поплатиться за свою ошибку, когда вообразил, что странствующее рыцарство одинаково совместимо со всеми экономическими формами общества» (Маркс). Пора же, наконец, отдать себе отчет, что марксизм в настоящий момент —худо ли, хорошо ли—приемлется всеми, а вот его «душу

живу», диалектику, после многократных декламаций о ней и словесного преклонения, на деле забывают.

Но почему же Ленин говорит все-таки о Гегеле, а не о Марксе и Энгельсе? Нам думается, что для этого есть только одно основание. Маркс и Энгельс были настолько заняты обоснованием научного социализма, что систематического и, главное, во всех деталях разработанного изложения диалектики не дали. В «Капитале» мы имеем применение диалектики,—что, кстати сказать, нередко упускается из виду,—а не ее изложение. Ее надо оттуда выуживать, нередко с большим трудом (если не знаешь ее предварительно). У Энгельса в «Анти-Дюринге» и «Л. Фейербахе» мы имеем блестящие очерки диалектики, но там совсем не затронут ряд существеннейших вопросов. Естественно поэтому, что детальное исследование диалектики—пусть с рядом ошибок и натяжек—мы имеем только у ее основателя, у Гегеля. Современная же эпоха, и у нас и на Западе, такова, что она требует основательного умения пользоваться диалектикой в ее развитом виде. Это последнее может и должно итти отчасти за счет усвоения материалистически понятой Гегелевской диалектики. Получается на первый взгляд странная вещь: чтобы изучить Ленина, надо знать Маркса, а чтобы знать их обоих, далеко не вредно изучать идеалиста Гегеля. Однако странность здесь чисто внешнего свойства. Что дело обстоит именно так, нетрудно понять, если принять во внимание следующее. «Ленинизм,—определяет тов. Сталин,—есть марксизм эпохи империализма и пролетарской революции» [1]). Уже отсюда ясно, что новая эпоха—к тому же эпоха непосредственно революционная—по необходимости должна была ставить задачи, которые в эпоху Маркса лишь намечались с большей или меньшей силой. Иными словами—да не приключится родимчик у С. Ю. Семковского! [2])—иными словами нельзя дать теоретического анализа Ленина, если не будешь знаком с Гегелем. Ибо только у последнего имеются в развитом виде те категории, которыми пользовался Ленин в своем анализе, которые он применял для руководства политикой и которые нередко остаются у него завуалированными конкретным содрежанием. Чтобы не быть голословным, приведем несколько примеров (некоторые из важнейших приведены т. Дебориным в его статье «Ленин—революционный диалектик»). Нетрудно понять, что факт, рассказываемый Джоном Ридом, относительно определения Лениным момента захвата власти,—есть реальное воплощение категории «меры» Гегеля. Столь же легко видеть использование категорий сущности, явления, действительности, скачка и т. д. при переходе от «военного коммунизма» к нэпу и т. д., и т. д. Гегель, таким образом, существенно необходим для понимания Ленина. Если же мы примем во внимание, что пролетариату приходится и придется действовать и дальше в постоянно меняющейся обстановке, то вряд ли останутся какие-нибудь сомнения касательно роли и значения Гегеля для революционного марксизма. Во всем этом, думается нам, важнейшая причина, побуждающая говорить о Гегеле и диалектике.

---

[1]) И. Сталин, О Ленине и ленинизме, ГИЗ, М., стр. 22.

[2]) В Харьковской газете «Коммунист» С. Ю. Семковский категорически возражал недавно против «возврата к Гегелю» от Ленина.

Ко всему этому надо прибавить еще одно соображение, также целиком покоющееся на Ленине. Выше мы говорили, что вполне возможно наступление на марксизм под флагом идеалистически истолкованного Гегеля. Такую операцию производил в частности Г. Лукач. Но едва ли не опаснее другое, именно — забвение диалектики и наступление на марксизм под флагом самоновейших «измов»—фрейдизма и т. п. Оные «измы» могут быть при известной ловкости рук истолкованы материалистически, а на сей основе сконструирован подмен Маркса Фрейдом, Енчменом или еще кем-нибудь в этом роде. Или —другой пример. В настоящий момент довольно распространенным является то убеждение, что истина современной науки есть механическое мировоззрение. Одними это выражается вполне открыто, у других же оно принимает вид подмены диалектики логистикой и т. д. В связи с этим встает целый ряд вопросов, важность которых не подлежит никакому сомнению. Ответы на эти вопросы совершенно невозможны без выяснения целого ряда диалектических категорий, которые можно найти только в «Науке Логики» Гегеля. К числу таких принадлежат: качество, количество, мера, сущность, явление, действительность и т. д. Обойтись без них,— мы говорим, само собой разумеется, об исследователе,—совершенно невозможно. Дело ведь в том, что марксист не может расценивать работы Гегеля à la Богданов, т.-е. социоморфически, иначе—как такие, стимул и все содержание которых было вызвано и целиком обусловлено только лишь социальными причинами. Марксист не может быть богдановцем, он обязан видеть в философской системе, кроме того, и поиски—пусть относительной,—но все же истины. Такую истину, почти всегда в мистифицированной форме, нередко с массой натяжек, и дает нам Гегель. Именно поэтому, думаем, прав был Ленин, когда он говорил, что «естествоиспытатели найдут в материалистически истолкованной диалектике Гегеля ряд ответов на философские вопросы» [1]). Гегель нужен, таким образом, как для понимания конкретной общественной действительности, так и для борьбы со всякими возможными ревизиями. Ибо еще Ленин, указав на необходимость разработки и популяризации диалектики, говорил: «Без того, чтобы такую задачу себе поставить и систематически ее выполнять, материализм не может быть воинствующим материализмом. Он останется, употребляя щедринское выражение, не столько сражающимся, сколько сражаемым» («О значении воинств. материализма». Курсив наш). Sapienti sat!

Гегель нужен сейчас,—ведь обстановка со времени написания Лениным его статьи, а также и всего того, что было цитировано в предыдущей части,—ибо обстановка изменилась и, вероятно, будет изменяться в сторону большего выпячивания этих и подобных им вопросов, а отнюдь не в сторону их сглаживания, уничтожения.

Мы подошли сейчас к самой сути вопроса. Действительно, иной, прочитав нашу заметку, скажет: в чем же дело? Кто

---

[1]) Не имея возможности подробно останавливаться на соотношении между философией и наукой, мы усиленно обращаем на это место внимание тех, кто и сейчас еще нередко болеет рецидивами третирования философии en canaille.

возражает против Гегеля и его изучения? Мы говорим лишь о «пустоцветах», о том, чтобы не переборщить, не вдаться в схоластику.

Соображения эти кажутся ультра-марксистскими, они импонируют, они должны убедить в полной схоластичности. Нетрудно, однако, убедиться, что «умысел иной тут был».

Прежде всего, что такое схоластика? Ответ на этот вопрос мы находим у Маркса в его 2 тезисе о Фейербахе. Маркс говорит: «Спор о действительности или недействительности мышления, изолированного от практики, есть чисто схоластический вопрос» [1]). Возражать против такого определения вряд ли возможно. Его можно лишь обобщить с тем, чтобы сказать, что все рассуждения и дефиниции схоластичны постольку, поскольку они не связаны с практикой, с действительностью. Это совершенно очевидно. Мы ищем подобной схоластики в русской философской литературе последнего времени. Мы берем журнал «Под Знаменем Марксизма» за период с 1922 г. по настоящий момент. Выбираем наудачу несколько статей. Скажем: т. Деборин—Маркс и Гегель, его же—Фихте и Великая Французская революция, т. Тимирязева о теории относительности, Луппола о Дидро и о русских материалистах, Орлова о математике, Юринца о фрейдизме и марксизме и т. д. Подбор, как видите, солидный. Не имея ни возможности, ни необходимости рассматривать все эти статьи по отдельности, мы вынуждены, естественно, дать им общую характеристику. Притом характеристику только с точки зрения их «схоластичности». Каждый, читавший их, скажет, что никакой схоластики там нет и в помине. Конечно, поскольку все они—статьи по философии и логике, постольку в них мы имеем анализ якобы отвлеченный, абстрактный. Но это только «якобы», только на первый взгляд. Еще Гегель говорил, что в процессе познавания «человек... должен как бы разрушить реальное содержание предметов и низвести его на степень идеального момента в своем сознании» (Энциклопедия, Логика, пер. Чижова, § 44, прибавление 1). Гегель в данном случае совершенно прав. Конкретность не может быть взята во всей, стопроцентной полноте. Мы можем и должны приближаться к этим ста процентам, но в то же время достигнуть их—значило бы впасть в непростительный «ползучий» (Деборин) эмпиризм, значило бы за индивидуальным, частным совершенно забыть общее, характерное, за деревьями не увидеть леса. Хороша была бы, скажем, статья, т. Деборина «Фихте и Великая Французская революция», если бы он, убоявшись «схоластики», начал излагать в числе прочего (сколько этого прочего было бы тогда!), также и состояние погоды, говорить о здоровьи Робеспьера и т. д. Но, может быть, обвинения в схоластике идут не по этой линии? Может быть, требуют при каждом логическом исследовании обязательного социального анализа. Однако, насколько мы знаем,—да и читатель знает,—общие контуры социальной обстановки всегда даются в статьях мар-

---

[1]) Архив Маркса-Энгельса, кн. I, ГИЗ, 1924 г., стр. 200 Заметим кстати, что это замечание Маркса навеяно Гегелем. Последний в своей Энциклопедии, критикуя Канта, говорит: «хотеть знать прежде, чем приступить к познанию, это так же нелепо, как и умное намерение того схоластика, который хотел выучиться плавать, прежде чем итти в воду». (Пер. Чижова, § 10, стр. 13). И еще говорят, что изучение Гегеля есть схоластика.

ксистов. Мы знаем также, что порой бывает достаточно дать оди общепринципиальный анализ, скажем, фрейдизма, чтобы увидет всю его неприемлемость для марксиста. Даже больше—одно ссылки на то, что это-де, мол, буржуазная теория и посем должна быть отвергнута, мало, ибо разве отвергаем мы буржуа: ную технику, буржуазную биологию и т. д. только потому что она буржуазна? Смехотворность этого бьет в глаза.

Можно предполагать, однако, что обвинения в схоластичнс сти, в отсутствии чувства меры и т. д. направляются главны образом против писаний о Гегеле и диалектике.

Мы попытаемся рассмотреть поэтому статьи, посвященны этому вопросу, при чем ограничимся лишь статьями т. Деборина «Маркс и Гегель» и «Ленин — революционный диалектик» (Пс следняя появилась после «Послесловия» С. Ю. Семковского, н это не меняет дела, ибо она написана, в общем и целом, в то: же духе). Если встать на точку зрения критиков, то Деборин конечно, схоласт: он разбирает диалектику Гегеля, останавли вается на важнейших категориях, он, как сказал бы Семков ский, «тянет вспять к бессильной схоластике школьной фило софии». Однако возьмем наудачу один пример, и мы убедимся что схоластика-то есть, только не на этой стороне. Проанализи ровав, что с точки зрения Гегеля развитие пробегает три сту пени—различия, противоположности и противоречия, т. Дебо рин говорит: «Буржуазия и пролетариат составляют, например различные, общественные классы. Однако различными і общественными классами являются также пролетариат и кре стьянство, правда, это еще ни в малейшей мере не говорит ‹ том, что они противоположные классы в смысле противо положности их интересов и пр. Но различие переходит в противс положность, когда оно касается существа дела, т.-е. это раз личие «субстанциональное» («Под Знаменем Марксизма» № 8—9 1923 г., стр. 16). Вы считаете это схоластикой? Напрасно! Ту ничего, кроме чрезвычайно ценного теоретического анализа, нет А ведь известно, как много путаницы существует у нас п вопросу о классах вообще и о взаимоотношении между проле тариатом и крестьянством в особенности. При чем путает н только мелкота, но и крупные марксисты. Иные склонны совсе не видеть никаких различий (тем более, противоположности между этими классами, другие, напротив, считают их—классы— даже взаимно непримиримо противоречивыми... Возьмем статьі «Ленин—революционный диалектик». Там автор обращает особенн большое внимание на категорию «продолжение». Кое-кому и эт может показаться схоластикой. На деле же, ничто иное, ка теоретическое выяснение существеннейшего вопроса. Того, во круг которого вертится дискуссия о соотношении между задачам социалистической и буржуазной революции. Если на это обрати внимание т. Деборин, то мы должны воспользоваться исследо ванием, а не вздыхать: ах, схоластика, ах, пустоцвет! Вод все эти сугубо абстрактные на первый взгляд категории на дел дышат жизнью—необходимы для нашей повседневной практики

В недавно опубликованном фрагменте Ленина о диалектик (см. «Большевик», № 5—6, 1925 г.) последний говорит: «Диа лектика и есть теория познания (Гегеля и) марксизма: во на какую сторону дела (это не «сторона» дела, а суть дела) в

обратил внимания Плеханов, не говоря уже о других марксистах» (стр. 104, курсив Ленина). Мы боимся, что кое-кто принадлежит к этой последней категории.

Во всех этих статьях нет и тени забвения опасностей, вытекающих из чрезмерных увлечений Гегелем. Одна из них — это абсолютное преклонение перед Гегелем, преклонение à la Лукач. Это действительно громадная теоретическая ошибка. Все дело лишь в том, что Семковский направляет тогда свои воздыхания не по адресу, ибо все «схоласты» в кавычках не устают повторять, что такого Гегеля нам не нужно, не устают повторять, что Гегеля можно и надо понимать только материалистически.

Итак, то, что есть в русской марксистской литературе о Гегеле и диалектике, совершенно не дает почвы для обвинения в схоластике. В отличие от предшествующей эпохи вопросы эти выступают на передний план научного исследования. Можно, конечно, считать, что все сказано уже и до нас, но это будет значить, что думающий так уподобляется известному барону фон-Гринвальдусу, каковой

Все в той же позицьи на камне сидит,
Сидит призадумясь, сидит и молчит.

Марксист же должен уловить «живое беспокойство жизни», а именно оно-то и заставляет нас говорить, кроме всего прочего, и о Гегеле. Мы бы поняли, если бы было сказано, что Гегелю и диалектике уделяется относительно мало внимания. Под таким заявлением марксист подписался бы обоими руками.

Гегель для марксиста существенно необходим. Именно потому, что его можно и должно понять материалистически. Всякое другое понимание есть отказ от диалектики, не говоря уже об отказе от марксизма. Но верно и то, что отказ от Гегеля есть отказ от марксизма.

* * *

Нам нечего говорить больше о С. Ю. Семковском. Мы хотели бы подчеркнуть лишь, что он не только не понимает диалектики, но и не может ее понять, ибо, как указал т. А. Тимирязев («Под Знаменем Марксизма» № 10—11, 1924 г., стр. 111), почтенный автор «сбивается в махизм». Это последнее само говорит о том, что мы взяли Семковского только, как симптоматичное явление, как угрожающий пример. Не больше.

Эдельман—немецкий материалист XVIII века.

Г. Тымянский.

„Unsere Alt-Hegelianer, die nicht den Muth hatten sich zu gestehen, dass ihr System im Grunde der Pantheismus sei, würden vor Schrecken vergangen sein, wenn ihnen zugemuthet worden wäre, auch nur eine der Wendungen Edelmann's mitzumachen".

Автор „Neu eröffnete Edelmann".

Влияние французского материализма XVIII века на последующую философскую мысль, на социальную историю конца XVII и первой половины XIX в.в. было настолько определенным, что этот материализм, несмотря на всяческие опровержения и направленные прямо или косвенно против него сочинения, был чрезвычайно популярным во многих классах общества.

Французский материализм послужил даже основанием для последующих социально-философских построений прошлого века. Но редко кто знает, что вообще существовали немецкие и английские материалисты, которые проповедывали материалистическое философское учение и высказывали революционно-философские идеи за несколько десятков лет до французских материалистов.

Эпоха XVII и XVIII в.в. содержала в себе столько социально-экономических противоречий, что почти во всех странах Европы, тогда очень слабо сообщавшихся между собой, почти одновременно возникали революционные группы, возглавляемые талантливейшими литераторами и философами. Эти группы большей частью носили характер не революционно-политический, а идеологический, и, в соответствии с условиями той эпохи, принимали религиозно-реформаторский характер. Повидимому, церковь нетерпимая, ревнивая, контролировавшая и вмешивавшаяся в частную жизнь людей, была особенно ненавистной. Она должна была внушать особенно сильную ненависть к себе со стороны лиц, желавших откровенного выражения своих мыслей и начавших, под влиянием бурного роста наук, приходить к сознанию преобладания разума над авторитетом. Можно с определенностью сказать, что основным фронтом борьбы между наукой и новыми идеями, с одной стороны, и религией, с другой, в XVII и отчасти XVIII в.в. был вопрос о роли разума. В то время, как церковь не только католическая, но и всякая, даже церковь реформированная продолжала с тупостью и близоруким постоянством повторять за-

менитую формулу «credo, quia absurdum», просветители на своем знамени начертали имя разума и значительно раньше Робеспьера поклонялись разуму, как богу. Эта новая молодая мысль, ставшая актуальной, благодаря расцвету производительных сил и науки, в особенности математики и физики, не сразу открыла свою революционную сущность. Она сначала выступила чрезвычайно осторожно, пытаясь примирить новое со старым. В системах лорда-канцлера Бэкона, пытавшегося с чисто юридической ловкостью одеть церковную идеологию в материалистические одежды, и Рене Декарта, высказывавшего гениально смелые, материалистические суждения, но тут же трусливо прятавшегося за признание церковных догматов и за ширму дуализма, материалистическая научная мысль пробивала себе дорогу, завоевывала признание широких кругов интеллигенции.

Среди последней, однако, находились смелые умы и смелые характеры, которые не удовлетворялись трусливой половинчатостью и нерешительностью многих философских систем. Для этих людей учителем являлся Бенедикт Спиноза, сумевший бесстрашно и гениально высказать и обосновать главную идею эпохи.

В произведениях Спинозы, сначала в теолого-политическом трактате, а потом в Этике—разум стал аттрибутом бога, и весь мир со всем конкретным его содержанием, в том числе и человеком, стал проявлением разума. Но, став частью бога, об'ективного разума, человек перестал быть центром мира, а стал просто вещью, подчиненной, как и другие вещи, закону причинной связи, необходимо господствующей во всем мире.

Против Спинозы ополчились все церкви. Вторя похоронному пению проклятий Амстердамской синагоги, все другие синагоги и церкви хором прокляли Спинозу и его учение. Книги Спинозы стали чрезвычайной редкостью. Высказать какую-нибудь мысль, напоминающую учение Спинозы, было достаточным фактом для того, чтобы подвергнуться церковному преследованию, общественному презрению, потере всякого благополучия.

Церковь, держа в своих руках ключи от материального благосостояния интеллигенции того времени, в особенности в Германии, ревниво следила за умственными настроениями общества и жестоко пресекала всякие попытки к свободному выражению «опасных» мыслей. Тем не менее, идеи Спинозы продолжали жить, проникали в общественные круги и мало-по-малу распространялись среди интеллигенции и в особенности среди врачей.

Эти идеи в своеобразной, полумистической или совершенно мистической форме проникали также в народные массы, распространялись, главным образом, среди ремесленников, книгопродавцев, низшего духовенства и студенчества. Эти слои общества, по самому социальному положению неустойчивые, странствовавшие часто с одного места на другое, воспринимали и передавали дальше всяческие идеи, часто высказанные решительно и пламенно за кружкой пива или стаканом вина. В среде этих людей, испытывавших особенно остро противоречия общественно-политического строя и особенно склонных к новым идеям, возникали всевозможные религиозные секты и направления, чрезвычайно различавшиеся между собой, но об'единенные единым чувством ненависти против господствующих церквей и их террора. Ненавидя гнет авторитета, они проповедывали личное познание бога и, в зависимости от личных склонностей и научной подготовки,

падали часто либо в мистические крайности, либо же, отождествляя бога с разумом, иногда личным, а иногда об'ективным, становились на путь, ведущий к пантеизму. От последнего же в то время был только один шаг к материализму, который в то время часто скрывался под покровом пантеизма.

Это развитие религиозно-философского движения в Германии приняло своеобразный характер вследствие того, что Германия на много отстала от других стран в смысле развития своих производительных сил. 30-летняя война наложила такой ужасный отпечаток на страну и ее жителей, что Германия в сравнении с другими странами казалась дикой. Клозе, в предисловии к изданной им автобиографии Эдельмана, с ужасом сообщает, что в XVII в. население Германии было настолько некультурным, что трудно было отличить священника от простого обывателя. Народ, по его словам, предавался невероятным излишествам, потерял всякие моральные устои, обжорство и пьянство были чрезвычайно развиты. С другой стороны, в среде низшего народа и даже мелких дворян часто зарождались пламенные стремления к истине и справедливости, в то время принимавшие непременно религиозный характер. Нигде мистические секты не достигли такого развития и такого углубления, как именно в нищей Германии. Интеллигенция же немецкая, сообщавшаяся, хотя и слабо, с центром тогдашней свободной мысли—Амстердамом—заражалась свободомыслием и, соединяя это свое свободомыслие с религиозными и социальными настроениями народа, образовывала своеобразные формы религиозно-философской и религиозно-социальной мысли.

Вблизи Гамбурга в Альтоне около церкви Демпелера, являвшейся идейным центром мистиков, собирались представители и проповедники всяческих религиозных и социальных направлений.

Там встречались пиетисты, последователи Шпенера, Антона и Франка, просто одетые, бичевавшие всякие проявления излишества и роскоши и призывавшие к скромной и трудолюбивой жизни. Предшественники современной мелкой буржуазии, они решали социальный вопрос почти так же, как пуритане в Англии, полагая, что мир спасется в том случае, если люди не будут веселиться, не будут красиво одеваться и если священники не будут совершать торжественных богослужений.

Там же боролась против церкви одна ветвь пиэтизма—сепаратистов.

Там проповедывал Иоганн Георг Гихтель, бывший адвокат и издатель Бэме, называвший своих последователей Ангеловыми братьями, так как хотел вместе с ними, путем отречения от благ жизни, подняться на ближайшую к богу ступень ангелов. Там встречались, проповедывали, боролись, совершали свои богослужения или действа—циониты, тихие адамиты, лабадисты, названные так по имени Жана де Лабади, бывшего иезуита, потом мистика, стремившегося к совмещению католически-церковного идеала с коммунистической жизнью. Там учил Диппель, этот ученейший человек Германии того времени, хиромант и великий химик-фармацевт, ярый противник церковных догм и духовенства и проповедник любви и самоотречения.

Все эти секты имели социальную подкладку и являлись протестом, попыткой изменить существовавшие общественные отношения. Пророки, проповедники, учителя этих сект говорили и проповедывали, не столько восхваляя бога на небе, сколько порицая несправедливость и грехи людей на земле. Они сильны были и имели успех, главным образом, благодаря критике существовавшего порядка. В положительной же стороне своих учений они были чрезвычайно слабы.

В Германии антирелигиозное деистическое и часто атеистическое движение, основывавшееся на философии Спинозы, Гоббса, Гассенди, было сосредоточено не в богатых, часто аристократических слоях населения, как это имело место в Англии и Франции, а в руках, главным образом, небогатого студенчества и низшего духовенства. Эти люди не имели ни времени, ни средств для систематической разработки своих учений. Они горели жаждой знания, но часто вынуждены были приобретать свои познания в пивных, на случайных собраниях религиозных сект, из уст какого-нибудь фанатического проповедника.

В философии этих людей не следует искать последовательной, продуманной до конца мысли. Их мысль поразительно своеобразна и отражает в странных сочетаниях феодальный порядок и рост производительных сил нового времени. Мистические идеи неоплатоников сплетались и образовывали неестественный союз с рационалистическими идеями Декарта, и часто материализм Гоббса соединялся с фантазией каббалы. Старый феодальный строй Германии наполовину сгнил, но не было в нищей стране достаточно новых сил, чтобы очистить гнилое место и построить новый, буржуазный общественный порядок. Поэтому молодые силы постепенно, силой вещей, втягивались и утопали в тине церковного лицемерия. Все же немногим сильным людям удалось устоять против напора церкви и, начав с искренней веры в бога и церковь, постепенно, в стремлении обосновать свою веру доводами разума, дойти не только до атеизма, но и до материализма.

Следует все же еще раз указать, что если эти люди пользовались успехом, то не благодаря своей философии, а благодаря сильным критическим наклонностям, революционному темпераменту и способностям главным образом журналистов.

Толанд в Англии представлял как раз такой тип немного неуравновешенного, но чрезвычайно талантливого и темпераментного журналиста и мыслителя. Таким же человеком в Германии был Иоганн Христиан Эдельман, судьба, характер и учение которого очень напоминают Толанда. О биографии Эдельмана мы узнаем из автобиографии, написанной им по поводу вышедшей во Франкфурте-на-Майне в 1750 г., — книжки, озаглавленной «Жизнь осужденного Иоанна Эдельмана, родившегося в Вейсенфельзе, учившегося теологии, но бросившего ее и взявшегося за осмеяние христианской религии, св. писания и духовенства». В этой книжке, среди описания некоторых верных фактов, относящихся к жизни Эдельмана, заключено столько неверных и столько клеветы, что Эдельман счел себя вынужденным взяться за перо, чтобы восстановить истину, касающуюся не только его жизни, но и учения и всей его деятельности. Автобиография Эдельмана представляет чрезвычайный интерес для историка культуры Германии XVII и XVIII в. в., так как дает живое, почти

художественное описание общественной и семейной жизни духовенства, чиновников, некоторых групп знати и рассказывает много интересного относительно религиозно-сектантского движения того времени. Эдельман был очень известен и популярен в Германии, его автобиография ожидалась современниками с нетерпением. Сам Эдельман признается, что его личность очень популярна, и о нем говорят кто с одобрением, а кто со страхом и ненавистью.

Кроме того, биография Эдельмана имеет интерес и для философа, ибо история его жизни есть типичная история философского развития немецкого вольнодумца, постепенно переходившего от правоверного протестантизма через пантеизм к материализму.

Эдельман родился 9 июля 1698 года в небольшом немецком городе Вейсенфельзе. Отец его был музыкантом при княжеском дворе. Будучи очень веселым и остроумным человеком, отец Иоанна Христиана был терпим при дворе и даже пользовался некоторым расположением князя. Все же служба при маленьком княжеском дворе не давала достаточно денег. Скоро он переехал в Зангерсхаузен. Там Иоанн Христиан поступил в школу. Он очень быстро выдвинулся среди товарищей своими способностями к логическому размышлению и любовью и уменьем спорить. Эдельман любил излагать свои мысли в прозе. В этой школе, однако, поощрялись поэтические упражнения учеников, и честолюбивый Эдельман, не желая уступать товарищам, взялся с усердием за составление стихов. После первых трудностей он вскоре усвоил технику стихотворства и в состоянии был конкурировать с товарищами. Конечно, в стихах Эдельмана не было ни унции поэзии, это были типичные схоластические стихи, имевшие широкое распространение в то время. Одной способностью Эдельман не обладал—он не умел произносить проповедей. Каждую пятницу ученики должны были произносить пробную проповедь, и эти пятницы являлись неприятнейшими днями для Эдельмана. В этом благочестивые биографы Эд. находят об'яснение его последующего отклонения от пути истины и устремления к еретическим учениям. «Его душе, — говорят они, — чужда была мягкость и глубина переживаний». Отчасти они правы. Эдельман, действительно, с молодого возраста поражает силой логического мышления и его рационалистическим уклоном. Но все же вся последующая жизнь Эдельмана, его пытливые искания, самопожертвование, отказ от личной жизни, пламенное искание истины показывают, что он умел не только мыслить, но и глубоко переживать. В характере Эдельмана нас, в противоположность мнениям его биографов, поражает соединение холодного мышления философа с энтузиазмом революционера.

Его отец, вследствие болезни, вскоре должен был переехать в Альтенбург, и Эдельман для того, чтобы иметь возможность продолжать образование, вынужден был поступить репетитором и воспитателем детей своего дяди. Жизнь у последнего, притом еще с одним товарищем, глупым идеологическим юношей, доставляла много горя Эдельману. Но самое худшее заключалось в том, что его дядя требовал от воспитателя своих детей применения физического наказания, на что Эдельман не хотел соглашаться. После двух лет жизни в доме дяди он смог, наконец, окончить школу и уехать к родителям. После этого Эдельман

поступил в Gymnasium Academicum. Ему очень хотелось попасть в университет, но для этого нужны были деньги, которых у его отца не было. Последний был настолько беден, что не имел денег для совершения путешествия в Эйзенах, где открылась вакансия секретаря. Он не получил жалованья за 8 лет. Эта бедность сильно раздражала молодого Иоанна. То обстоятельство, что он не в состоянии был купить платье, а вынужден был одеваться в старый износившийся костюм, так его волновало, что он заболел. Наконец, он случайно получил несколько талеров и пешком отправился в Иену. Провожать его вышел отец, и Эдельман, человек, которого обвиняли во всех смертных грехах, в том числе и в жестокости и холодности, поделился при прощании своими грошами с бедным отцом.

В Иене Эдельман кормился уроками и усердно изучал богословие.

Он был правоверным протестантом и не имел ничего общего с пиетистами, последние внушали ему даже некоторое отвращение. Эдельман с успехом выступал в диспутах, но не имел денег, чтобы сдать магистерский экзамен. В 1724 г. он оставил Иену и, подобно большинству философов Германии, принял должность домашнего учителя в Австрии у графа Корнфейль, но в дороге к месту службы с Эдельманом произошел случай, которому и он и его биографы приписывают большое значение. На корабле, возившем его по Дунаю, он услыхал, как кто-то декламирует стихи, хорошо выражавшие его собственное настроение и чувство восхищения прекрасной природой, которое он испытывал. Он попросил у читавшего стихи показать ему их, тот передал ему томик I части Брокеса: «Земное наслаждение в боге». Как это ни странно, но эти бездарные стихи впервые направили мысль Эдельмана в сторону рационализма и пантеизма.

Эдельман жил у графа Корнфейль 4 года. Жизнь у графа ему нравилась. Он сам был веселым человеком, и веселая жизнь помещика, охота, хорошее венгерское вино, балы и танцы доставляли ему много радости. Он, однако, не переставал читать, и по временам у Эдельмана возникало сомнение относительно пользы такой жизни для подготовки к пасторскому званию, которому он хотел посвятить себя. Поэтому он в 1728 г. оставил службу у графа и переехал в Вену, где поступил к купцу-евангелисту Мюлю. Последний был пиэтистом и, считая всякое удовольствие грехом, мучил и себя и всех окружавших его. Попав из веселого дома графа в мрачную атмосферу постоянного покаяния, Эдельман почувствовал себя несчастным. Он едва выдержал 6 месяцев такой жизни и, бросив дом Мюля, принял место воспитателя у зятя графа Корнфейля—графа Аурсберга. У последнего жизнь была еще более веселой, чем у его зятя. Эдельман закружился в светской жизни, занимался стрельбой, игрой в кегли, в биллиард, охотой, стал любимцем светских дам. Быстро прошли три года. Наконец, Эдельман опомнился и стал подумывать о должности пастора. Он стал писать в различные места, предлагая свои услуги, но напрасно. Он написал письмо и к сенатору Брокесу, чьи стихи ему так понравились во время путешествия по Дунаю, но последний, ответив любезным письмом, тем и ограничился. Как раз в это время гр. Корнфейль предложил ему поехать с ним в Германию, так как ему

нужно было отправиться в Нюренберг. Эдельман с радостью согласился и отправился в Германию. В Саксонии он оставил графа и поступил информатором проповедника в Бекондорфо. Здесь он много читал и размышлял. Он прочитал историю ересей Готфрида Арнольда, и эта книга произвела на него большое впечатление. Она дала направление том неопределенным сомнениям, которые до этого бродили у него в голове. Он стал задумываться над теориями ересей, сравнивать их с догматическим учением протестанской церкви и после упорных размышлений должен был сознаться, что многие непреложные истины церкви оказывались беззащитными против ударов еретиков. Особенностью Эдельмана являлось то, что он не мог обуздать себя, сдерживать свой исследовательский пыл. Если какое-нибудь сомнение овладевало им, он не мог успокоиться, пока не разрешал его. Придя же к какому-нибудь заключению, он фанатически защищал его. Эдельман был поражен сомнением в истине церковного учения, но сила воспитания была настолько велика, что, почувствовав себя еретиком, он в ужасе оставил свою службу, прекратил читать и поступил гофмейстером при дворе графа фон-Калембург в Дрездене. Здесь он услыхал об одном знатном религиозном реформаторе—графе Цинцендорфе. Последний недавно принял духовное звание и сейчас был занят переорганизацией своей колонии Моравских братьев в Гернгуте в братскую церковь. Эдельман написал ему письмо, в котором выразил свое восхищение графом и просил выслать ему денег на дорогу, чтобы он мог приехать и лично убедиться в истине его учения. Граф прислал к нему своего друга, а также деньги на дорогу. Тогда Эдельман приехал в 1735 г. в Гернгут, где был очень хорошо принят графом и его друзьями. Однако уже через несколько дней Эдельман почувствовал себя плохо в Гернгуте. Дело в том, что все сектантские группы, как уже ранее упоминалось, имели ясно выраженный социально-экономический характер. Они ставили своей целью не только религиозную реформу, но, главным образом, реформу социальных отношений. Эдельман потому проникся большим уважением к братской жизни «братьев», что ему нравилась их попытка устроить коммунистический образ жизни, их равенство в отношении друг с другом, их простота и любовное отношение к людям.

Приехав в Гернгут, он был уверен, что встретит счастливых, равных между собой людей. Что же оказалось? Граф Цинцендорф, даже приняв духовное звание и став членом братства, все же остался графом и не имел намерения отказаться от графских привычек; среди братьев далеко не господствовал мир; вместо простоты в их жизни он заметил пышность братских встреч, большое количество музыки при богослужении. Все это очень не понравилось Эдельману, и он поспешил вернуться в Дрезден.

Однако Эдельман не порвал сношений с Цинцендорфом. Тот предложил ему учиться медицине у д-ра Гротгауза. Эдельман согласился. Однако после первой же встречи с д-ром, когда последний рассказал ему, между прочим, о миссии второрожденных в Америке, Эдельман заподозрил, что его собираются учить медицине для того, чтобы впоследствии отправить в Америку, и поспешил порвать сношения с второрожденными. Он сошелся

с неким Бущем, членом секты тихих и последователем Гихтеля. Эдельман стал членом секты тихих, стал вести такой же образ жизни, как они, но мистицизм Гихтеля его меньше привлекал, чем остроумие и ясность логических построений блестящего Диппеля, с книгами которого Бушц давно его знакомил. Он стал увлекаться работами Диппеля, заражался его ненавистью к церкви и духовенству, воодушевлялся его верой в разум и удивлялся огромным познаниям этого крупного ученого. Несомненно, под влиянием Диппеля он сам начал пробовать свои силы в своей работе, которую назвал «Невинными Истинами» („Unschuldige Wahrheiten. Gespräсhsweise abgehandelt zwischen Doko-philo und Philaletho; worin von allerhand theils verfallenen, theils gegenwärtig unterdrückten, theils noch unbekannten Wahrheiten nach Anleitung der Bibel, auf eine freimühthige und aufrichtige Art gehandelt wird").

Первую беседу он окончил еще в 1734 г. и послал ее в Лейпциг некоему Вальтеру. В этой беседе он высказывает мысли о веротерпимости, об одинаковом праве на существование различных сект, лишь бы последние имели целью жить «согласно совести». При защите веротерпимости он ссылается на Парацельсия, английского вольнодумца Чербери и на Арнольда. Его доводы, которые он приводит в пользу веротерпимости, заключают в себе зачатки историзма, ясно проявляющегося сквозь неоплатоновскую оболочку.

Полная истина,—пишет Эдельман, на самом деле в синтезе всех религий, всех односторонних истин. Эта истина не есть новая какая-нибудь религия, новая догма, она—отрицание догм, она—вера в разум, одним словом, она—естественная религия. Здесь возникает вопрос, что конкретно представляет собою естественная религия. Толкование, которое дал естественной религии Эдельман, представляет собою просто отрицание абсолютной ценности одного какого-либо религиозного учения, но не включает никакого указания на возможность познания этой истины. Естественная религия в толковании Эдельмана может представлять собою либо мистическую внутреннюю сущность, незримо присутствующую во всех учениях, познать которую можно лишь путем интуиции, либо рациональную религию. В последнем случае она познаваема, но все же остается вопрос, каким способом? Эдельман отбрасывает всякое предположение о таинственной, недоступной человеческому разуму сущности естественной религии, но дать рациональное определение все же не может и вынужден лишь в общих фразах сослаться на возможность познания ее при сравнительном изучении религий различных народов.

Абсолютная мудрость или бог не открывает своего лица сразу; познание бога представляет собой процесс, растягивающийся в историю человечества. Каждая историческая эпоха есть одна сторона абсолюта—разума, одна какая-нибудь истина. Но так же, как многообразен сам абсолют, так же многогранна и истина, так же богато будущее, чреватое новыми и новыми истинами. Из этого почти Гегелевского представления об относительности истины и относительной ценности каких угодно учений следует практический вывод, который Эдельман спешит вывести: бессмысленно ненавидеть другие учения, бессмысленно счи-

чать их абсолютной ложью, ибо они так же, как те учения, которых мы придерживаемся, являются откровениями абсолюта.

Во второй беседе он продолжает развивать эту точку зрения. Религия,—говорит он,—имеет свое происхождение от живущего в душе каждого человека вечного стремления к истине, искания правды. Однако глубокой ошибкой является вера в истину одной только религии. Каждая религия истинна, ибо освещает одну сторону абсолюта, открывает лишь одно лицо бога, на самом деле многоликого.

В следующей, третьей беседе, он еще дальше развивает свою точку зрения, ставит определенно вопрос об относительной ценности религий. Если принять во внимание, что в XVII и XVIII в.в., в особенности в Германии, религия обнимала решительно все стороны жизни, как область теории и науки, так и область житейских отношений, то эта постановка вопроса покажется очень смелой. Эдельман спрашивает, как возможно, что в продолжение многих веков продолжали существовать и существуют и поныне огромные массы лиц, исповедующих не только неортодоксальные религии, но и не христианские, а даже языческие. Если язычество ложь, то возможно ли, чтобы половина человечества жила во лжи в продолжение такого долгого времени? Возможно ли, чтобы ложью была вся жизнь человечества до Христа? Этот вопрос обнаруживает большую оригинальность мысли и, взятый в связи с проблесками историзма, представляет собой правильную постановку основной проблемы истории религии. Решить эту проблему, конечно, было не под силу Эдельману, ее в искаженной форме решил Гегель, и правильно Маркс. Все же характерна сама постановка вопроса, которая интересна не только в истинно-религиозном смысле, но и философском, так как ставит проблему истины и лжи. Эдельман, не в пример большинству просветителей, не отбрасывает религию, как абсолютную ложь,—он сознает, что в каждой религии, под покровом всяких вымыслов, басен и лжи, содержится зерно истины. Однако дать ответ, в чем эта истина, Эдельман был не в состоянии, как не был в состоянии никто в то время. Он поэтому вынужден был путаться в тонкой сети логических построений, рискуя в каждый момент провалиться в глубокую пропасть мистицизма.

Эдельман отчаялся найти истину в тонких сплетениях книжников и потому решил искать ее у простого народа, у массы сапожников, портных, кузнецов. Со свойственным ему тоном сатиры он смеется над оторвавшимися от жизни схоластами, посвятившими всю жизнь изучению текстов и, наконец, безнадежно запутавшимися в них. Истина—не у этих книжных червей, занятых толкованиями текстов и постоянными премудрыми спорами, а у народа, живого деятельного люда, якобы невежественного.

Однако в чем истина? И вот Эдельман мечется, ищет, но не находит ответа. В четвертой беседе «Невинных истин» он пытается найти истину в чувстве любви. Истина,—пишет он,— не в логических построениях, не в умствованиях, а в живом непосредственном чувстве любви. Чем об'яснить этот ответ в устах человека с революционным темпераментом, умевшего не только любить, но и ненавидеть и вызвавшего огромную ненависть к себе со стороны церкви?

С одной стороны, этот ответ подсказывает, что Эдельман сознавал социальный смысл церковной и сектантской борьбы и понимал, что истина, т.-е. действительное стремление изменить общественный порядок, существует у народа, а не в темных углах церквой и молитвенных домов, а, с другой стороны, выразить свои социальные идеи в то время в Германии можно было только в религиозной форме, критикуя и обнаруживая лицемерия высших классов, в особенности духовенства, проповедывавших христианскую любовь и сеявших ненависть.

Эдельман провозгласил истинную любовь в противоположность ненависти, царившей среди духовенства.

В следующих беседах он восстает еще энергичнее против духовенства, возражая против их «святости». Но особенной силы достигает его критика духовенства в восьмой беседе, где он подвергает критике уже не только церковный строй, но и догматы христианства. Эта последняя беседа навеяна непосредственным влиянием Диппеля или, как последний называл себя, христианином-демократом.

Эдельман не знал совершенно о судьбе посылаемых им к издателю бесед. Однажды он случайно присутствовал при том, как один его знакомый распаковывал пачку полученных книг и бросил с пренебрежением одну книжку. Последняя оказалась первой беседой «Невинных истин».

Беседы Эдельмана, написанные живо и резко, скоро обратили на него внимание не только читающей публики, но и консистории, тем более, что двое членов последней были непосредственно затронуты в беседах. Эдельман был призван к ответу. Он ожидал самого худшего для себя, когда неожиданно получил приглашение от своего издателя принять участие в издании Бурлебургской библии.

История этой библии такова. Граф фон-Витгенштейн-Берлебург был мистиком и считал своим долгом оказывать материальную поддержку немецким мистикам. Для этого он в своих владениях устроил ряд благотворительных учреждений для последних. Однако эти учреждения требовали много денег, и вот граф решил издать перевод библии, от продажи которого можно было выручить деньги, достаточные для содержания его учреждений. Библия эта должна была быть снабжена комментариями и примечаниями.

Первый лист ее вышел в 1724 г., а закончена она была в 1739 г. Библия эта, благодаря своим примечаниям мистического и хилиастического характера, стала знаменитой. Она переиздана в 1832 г. Руководителем издания был некий Иоанн Фридрих Гауг. Последний и предложил Эдельману принять участие в издании.

Эдельман направился в Берлебург. По дороге он остановился во Франкфурте н/М. у некоего Гросса, купца, потратившего бо́льшую часть своего состояния на издание Бурлебургской библии.

В доме этого купца встречались представители всяческих сект. Это были люди по большей части умные, веселые, и Эдельман чувствовал себя хорошо в их среде. Но, приехав в Берлебург и познакомившись с Гаугом, он почувствовал себя значительно хуже. В среде берлебургских сепаратистов царила ревность, за-

висть и недоверие друг к другу. Эдельман много работал, но часть его переводов оказалась измененной, и, кроме того, он не получал денег за работу. Эдельман стал тогда продолжать свои «Невинные истины». Последние беседы, 9—12, обнаруживают в Эдельмане большой сдвиг. В них, кроме обычной, очень резкой критики церковного строя и даже основных положений христианства, как вопросов о крещении, причащении, уже раздаются нотки просветительного характера, которые впоследствии, под влиянием Спинозы и Толанда, станут совершенно определенными и примут пантеистический характер (стыдливое слово, прикрывавшее материалистическое содержание).

Эдельман прожил у Гауга только один год. В своих беседах он выразил свое отрицательное отношение к берлобургским мистикам, боявшимся, как бы кто-нибудь ни любил человечество больше их. Те тоже были рады его уходу, так как острый язык Эдельмана раздражал их, и они его побаивались. Эдельман поселился в доме одного пекаря. Он, однако, не был в состоянии спокойно жить долгое время. Он искал истину, а так как в отсталой Германии в то время всякий проблеск духовной жизни мог быть облеченным только в религиозную форму, то Эдельман и стал погружаться в жизнь различных религиозных сект, чтобы среди них обрести успокоение.

Он сначала попадает к «одержимым» (inspirirten). Среди последних был замечателен проповедник Иоганн Фридрих Рок, который во время своей проповеди подвергался припадку конвульсий, весь дрожал, покрывался потом и прорицал страшным голосом, наводящим на слушателей ужас.

Этот человек имел большое влияние на своих слушателей. Сначала Эдельману эта секта очень не понравилась, но Рок во время речи, увидев Эдельмана, направился к нему, потряс ему руку и экзальтированно приветствовал его, при чем закатил глаза под лоб и тряс головой так, что шапка упала на пол, а волосы растрепались, конвульсивно сжимал руки и беспомощно опускал их на колени. Как это ни странно, но Эдельман почувствовал себя захваченным этим человеком и примкнул к секте. Однако скоро его рационалистическому уму надоели эти «страшные» проповеди и длинные богослужения. Когда ему предложили однажды произнести проповедь, он отказался и мистическому характеру секты противопоставил несколько своеобразно истолкованную фразу св. писания: в начале был разум, и бог был разумом (в греческ. переводе библии слово λόγος переводимое обычно—слово, означает также ум, разум).

Ему пришлось со скандалом оставить одержимых. Неудовлетворенный, ищущий Эдельман, подобно индусским мудрецам, облекся в грубый плащ, запустил длинную бороду и пошел бродить по Германии. Денег у него не было, и он долгое время голодал. Он решил больше не писать, а учиться ремеслу, чтобы стать обыкновенным ремесленником, ибо истина—у последних. Для этого он поступил в ученики к некоему лудильщику Лангемейеру. Скоро, однако, ему пришлось оставить ремесло и опять взяться за перо. Пока он занимался лужением кастрюль, книги его раскупались во всей Германии, и скоро он со всех сторон стал получать денежную поддержку и приглашения продолжать литературную деятельность. Это его ободрило, и он в следую-

щей тринадцатой беседе своих «Невинных истин» пишет с пафосом: «Однако я не хочу быть сектантской крысой или строителем здания при помощи старых бревен—таких лжеучителей много. Нет, моя задача сейчас—это задача Иеремии: вырывать, ломать, разрушать и уничтожать все, что имеет отношение к ортодоксии, фарисейскому богословию, богослужению, лживой мистике и сектантским спорам».

Издатели его работ предлагали ему приехать во Франкфурт, и вот Эдельман весной 1739 г. отправляется пешком во Франкфурт. По дороге ему пришлось вынести много насмешек и издевательств по поводу его костюма и длинной бороды. Во Франкфурте ему предложили заняться продолжением «Истории ереси» Арнольда, но Эдельман мечтал о более живой деятельности. Кроме того, общество сепаратистов ему надоело. Он разочаровался в них и пришел к заключению, что у них, кроме взаимной склоки, нет ничего, и что бесполезно искать у них истину, которой у них нет.

Его пригласили в Дармштадт тамошние сторонники просвещения. Эдельман, однако, решил возвратиться в Берлебург. Прибыв туда, он нашел предложение ежегодной денежной помощи от одного свободомыслящего и другое предложение от одного купца приехать в Берлин и 64 талера на дорогу. Эдельман нанял повозку и отправился в путь. После многих злоключений в дороге из-за странного своего вида, он, наконец, прибыл в ближайший к Берлину городок—Потсдам. Здесь его, однако, задержала стража и привела к королю Фридриху. Последний хотел было отдать его в солдаты, но после беседы отпустил, хотя в Берлин и не разрешил ему в'ехать. Эдельману пришлось вернуться в Берлебург.

К этому времени в жизни Эдельмана происходит перелом, давший определенную форму и содержание его беспокойному, но сильному уму. Эдельман с этого времени находит свой путь. До сего времени он искал новое и разрушал все имевшее отношение к религии, его работа была отрицательной. Взамен разрушаемого он, кроме обычной проповеди любви, не мог дать ничего. Со времени же вторичного возвращения в Берлебург он начинает не только разрушать старое, но и проповедывать новое, ибо находит, наконец, путь к истине в пантеизме. Поворот этот в жизни и деятельности Эдельмана произвели сочинения Спинозы, на которые Эдельман случайно напал. Они его захватили. он еле дотрагивался до пищи, почти ни с кем не встречался, читал и думал над глубокими мыслями Спинозы. Те неясные проблески рационализма, смутное сознание значения разума в противоположность темному мистическому мраку церкви, которые были у Эдельмана, получили твердое основание в стройной системе Спинозы.

Еще в 1738 г., т.-е. за два года до знакомства с работами Спинозы, Эдельман написал книгу под названием «Божественность разума», в которой пытается, на основании текста св. писания, доказать, что бог и разум—тождественны. Если не считать резкой критики Вольфа и его последователей, «безнадежно пытавшихся разумом осветить и оправдать христианские таинства», то эта книга мало интересна. Она показывает, что Эдельман стал определенно на путь просвещения, но все еще был под-

чинает влиянию религиозной мысли. Тем не менее эта книга возбудила большую ненависть против Эдельмана. От него отшатнулись даже некоторые его друзья, которым эта книга показалась ужасной. Однако Эдельман не успокоился, он было, собрался написать трактат «О неизвестном боге» (Der Unbekannte Gott), как случайно напал на сочинения Спинозы. Тогда он в 1741 г. выпустил работу, которая носит уже вполне спинозистский характер: «Die Goettlichkeit, der Vernunft, nebst einigen in diese Materie einschlagen den Briefen». Спинозистский характер этой работы довольно своеобразен. Эдельман восприпял у Спинозы то, что ему, ненавидевшему духовенство и церковь, казалось наиболее замечательным у Спинозы, а именно: его критику библии. Больше всего его захватил «Теолого-политический трактат». Он стал, основываясь на учении Спинозы, еще резче нападать на церковь и религию. Что же касается системы философии Спинозы, то характерно, что Эдельман вначало, как и большинство образованных людей в XVIII в., видел в учении Спинозы только проповедь немного опасной, но все же чрезвычайно интересной полурелигиозной системы—пантеизма. Интересно, что в упомянутой работе Эдельман воспринял философию Спинозы в полумистическом виде, напоминающем несколько философию Якова Беме.

«Бог,—пишет Эдельман,—представляет собою бытие всех вещей. Он вечен, бесконечен, добр, совершенен, мудр, неизменен. Все творения суть определенные образы, под которыми бог обнаруживается перед нами. Бог немыслим без мира, и так как бог бесконечен, то и мир не имеет начала и конца. По отношению к богу нельзя быть ни добрым, ни злым, невозможно быть врагом бога, и, следовательно, невозможно существование дьявола». Дальше следует рассуждение, которое не совсем вяжется с учением Спинозы.

Эдельман слишком проникся влиянием всяких мистических сект, чтобы сразу овладеть учением Спинозы в его действительной, материалистической сущности. Он в этой работе, как и в ряде последующих, еще рассуждает о какой-то таинственной связи души с богом, о сущности души, как некоторого вида бога, о ее бессмертии. Но так как это противоречит пантеизму, то Эдельман пытается избегнуть противоречия, допуская возможность переселения душ.

В дальнейшем он опять и опять садится на любимый конек всех просветителей, при чем обнаруживает такую смелость, что критикует божественную сущность самого Христа.

В книгах этого периода жизни и деятельности Эдельмана, представляющих собой странную смесь пантеизма, деизма и мистицизма, все же иногда, правда мельком, выражаются гениальные мысли, предвосхищающие будущие достижения философской и научной мысли. Мы уже указывали, что идея развития, не только в смысле спинозистского движения, а именно в гегелевском смысле, была не чужда Эдельману. Мало того, комбинация Спинозы и Якова Беме дает иногда и форму изложения, почти напоминающую Гегеля. Конечно, о материализме в этой работе и говорить не приходится. Эдельман выступает здесь как совершенно определенный идеалист.

«Развитие человечества,—говорит Эдельман,—есть развитие его разума. Последний сначала существует в невинном состоянии, как самосозерцающий себя, неподвижный внутренний свет». Это состояние однако пустое бытие или, как выражается Эдельман, «темный свет». Чтобы «свет стал светлым», разум должен был обратиться от самосозерцания к созерцанию внешнего мира, к чувственному познанию. С этого времени начинается грехопадение человечества, так как разум развивается в человеке и через него. Эдельман в письме к Ф., проживающему в Альтоне, проводит различение между разумом и рассудком. Рассудок есть то средство, которым пользуется разум, чтобы познать себя; рассудок есть мир чувственного, так сказать, материя разума. Поэтому рассудок пассивен, а разум активен.

В такой странной, идеалистической форме, полной невероятных противоречий и непоследовательностей, был сначала воспринят Эдельманом Спиноза.

Следующая работа «Моисей с открытым лицом» представляет собой также не что иное, как критику христианства, и в особенности божественного происхождения библии доводами, взятыми из «Теолого-политического трактата».

В этой книге нет новых идей, которые не были бы уже высказаны в других книгах. Поэтому остановиться на анализе ее незачем. Но интересна судьба этой книги. Она была запрещена, часть выпущенных экземпляров была уничтожена, но оставшиеся продавались тайком по очень высокой цене. Спрос на нее был очень высок, и фактически эта книга является наиболее известной из работ Эдельмана.

В это время в личной жизни Эдельмана опять произошли перемены, которые заставили его опять взяться за страннический посох. Умер граф Берлебургский, который не любил ни церковных, ни сектантских споров, и потому не хотел слушать наветов на Эдельмана. Его наследник оказался другим человеком.

Желая избавиться от всяких сепаратистов, нашедших в его графстве приют против преследований церкви, он издал закон, взимавший со всех чужеземцев высокий налог. Не будучи в состоянии уплатить этот налог или не желая его платить, Эдельман оставил Берлебург и переселился в Гахенбург. Здесь он выпустил пятнадцатую беседу «Невинных истин», которая, кроме общего среди просветителей в то время желания найти разумные основания для некоторых чудес, содержит еще некоторые мистические выводы из учения Спинозы, некоторые замечания, которые показывают, что Эдельман читал не только Спинозу, но и находился под влиянием «Пантеистикона» Джона Толанда.

Вопрос о том, когда Эдельман познакомился с работами Толанда, не может быть решен, так как нет прямых указаний на это. Однако нет сомнения, что последующая работа Эдельмана, «Исповедь», уже написана под непосредственным влиянием Толанда. На это ссылается один из самых яростных критиков Эдельмана, Иоанн Христоф Геренберг в «Спасенной религии». Нам, однако, кажется, что уже в пятнадцатой беседе «Невинных истин» имеются влияния Пантеистикона.

Толанд в Пантеистиконе выражает древнюю мысль о вечном круговороте вещей, о том ни один атом материи точно так же,

как ни один образ, не может пропасть в мире, ибо мир постоянен, не создан и вечен. Вот эту мысль и развивает Эдельман в пятнадцатой беседе. Он говорит о человеке, что он не есть новое создание, а лишь повторение того, что уже некогда было. Старинная фраза Экклезиаста: «нет ничего нового под солнцем» подтверждается Эдельманом вслед за Толандом. Но если у Толанда этот вывод, хотя и ложный, ясно показан, как результат материалистического понимания мира, то у Эдельмана такой ясной картины мира еще нет. Он блуждает между двумя крайними проявлениями пантеизма: между пантеизмом мистическим, напоминающим построения неоплатоников, и пантеизмом рационалистическим, типа толандовского, являющимся передовым идеологическим явлением своего времени и ступенью к диалектическому материализму.

Все же он иногда возвышается до вершин мысли, достигнутой лишь в XIX в. Некоторые идеи, высказанные в этой беседе о сущности религии и отношении человека к богу, напоминают мысли по этому поводу Фейербаха. Эдельман сравнивает отношение человека к богу с отношением его к зеркалу. «Как бывают различные зеркала, так и боги бывают различны,—говорит он.—Всякий признает, что отражение в зеркале происходят от вещей, но никто не соглашается признать себя в кривом зеркале религии». Не говоря об обычном тоне сатиры, которым проникнуты эти фразы, здесь ясно высказана мысль о человеческом происхождении бога. Бог из создателя человека превращается Эдельманом в отражение самого человека. Нужно согласиться, что в начале XVIII в. в реакционной Германии подобная, почти фейербаховская формула вызывает удивление.

Эдельман особенно охотно останавливается на земном, человеческом происхождении дьявола. Как видно, критика дьявола меньше раздражала церковных служителей. Он говорит: «Дьявол, змея, сатана, как угодно называйте его, родился в небе нашего рассудка и брошен в земную часть нашей фантазии. Разум является истинным Михаилом, умеющим господствовать над всеми этими фуриями». Однако, боясь, как бы эта фраза не была отнесена только к дьяволу, он развивает эту мысль дальше. Дьявол изображается им, как необходимый атрибут религии, как прямая необходимая антитеза бога. Дьявол—обратная сторона бога.

«Всякая религия заинтересована в существовании дьявола, в том, чтобы человечество грешило и заслуживало вечного огня. Ибо, когда ищут прощения, дорого за него платят и все же остаются вечными грешниками». Эдельман шутит: «Люди должны вступить в жизнь, как наследственные грешники, жить, как действительные грешники, и умереть, как бедные грешники».

В новом месте жительства Эдельман не мог долго остаться, так как никто не хотел сдать ему квартиры; он переехал в Нейвид. Там, однако, духовные лица ополчились против него и консистория потребовала от него его «кредо». Эдельман сначала отказался, полагая, что его учение изложено в достаточной степени в его печатных работах, но консистория все же настаивала на своем требовании. Мы полагаем, что эта настойчивость консистории имела основание в еще более резкой критике цер-

ковных догматов, основанной уже не только на сочинениях Спинозы, но и Толанда.

По крайней мере, в кратком «кредо», «Glaubensbekenntniss», поданном им консистории в 1745 г., влияние идей Толанда очень сильно. Glaubensbekenntniss была разослана университетам, появились также списки с нее, но так как эти копии не согласовались между собой, то Эдельман расширил свою исповедь и напечатал ее. Она получила очень широкое распространение в Германии и вызвала ряд опровержений. Основные идеи этой книги, в которой Эдельман дошел до предела своего духовного развития, таковы: нет никакого бога. Бог и мир тождественны. Нет на небе правителя над людьми. Существует лишь материальный мир, в котором царствуют законы, управляющие движением материи. Материя конкретна и является в виде чувственных образов и предметов.

Ангелы же, бог, сатана суть лишь абстракции, пустые отвлечения реальных вещей. Всякая религия полна такими абстракциями, вымышленными героями, чудовищами, страшилищами, которые созданы для покорения непослушных.

Нет восстания из мертвых, существует лишь постоянная смена образов в материи, правда, ни один из этих образов или душ не пропадает, а вновь и вновь рождается в потоке материи. Нет божественного откровения. Существует лишь один вид откровения — тот, который открывает нам мир через наши чувства. В мире нет случайностей, в нем господствует строгий закон необходимости. Нет беспричинных явлений, то, что существует в мире, необходимо существует и не могло не существовать.

На этом последнем пункте философии Эдельмана и пантеистов вообще и построил свою критику И. К. Гарнберг. Он задает Эдельману вопрос, аналогичный вопросу Штаммлера марксистам. «Если в мире все необходимо, то и духовенство и церковь необходимы, а если они существуют необходимо, то зачем вы, г-н Эдельман, беспокоитесь и нападаете на церковь и духовенство, доказывая, что они служат лишь тирании государства и буржуазных правительств. Эдельман употребляет выражение: «Chlerisei sei eine Tyranei des Staates und Bürgerlichen Regierungen».

На этот вопрос ни Эдельман, ни Толанд не могли дать ответа. Эдельман бросается от принципа абсолютной необходимости в мире к принципу свободы. Он ищет синтеза этих противоположных принципов, но не умеет его найти. Этот синтез мог быть найден только в диалектической философии, чуждой догматической критики просветителей.

Эдельман в работе, направленной против Гарнберга (Harnberg an I. Q. Edelmann ihrem vornehmten Inhalt nach von demselben beantwortet. 1747), делает под влиянием Толанда выводы определенно материалистические, напоминающие выводы метафизических материалистов XVIII в. Мысли, по его мнению, суть движения особой тонкой материи мозга, некоего огненного эфира. Мысль по существу не отличается от материи—она подчиняется законам материального мира, хотя эти законы, как и сама материя мысли, сложнее и тоньше. Закон необходимой связи явлений, закон причины и следствия также обязательны для мира идей, как и для мира материальных явлений. Люди несколько смешны, и обманываются, когда считают бога нематериальным.

Они строят бога, исходя из своих собственных качеств, т. из разделения на мысль и материю. Люди в этом отношении делают такую же ошибку, какую сделали бы, если бы составили себе представление о земле исключительно по свойствам камней. Но на земле существуют еще, кроме каменного мира, другие миры, существует жизнь во всех ее разнообразных проявлениях. Существует один мир, одна субстанция (unica substantia). Все остальное лишь—modificationes unius illius substantiae.

Мы должны, однако, признаться, что эти мысли в произведении Эдельмана выражены довольно запутанно и темно. Не нужно забывать, что работа эта была предназначена для консистории, и Эдельман, несмотря на свою смелость, все же должен был быть чрезвычайно осторожен. Он, повидимому, излагал то, что думал, но выражал это в чрезвычайно темной форме, и по всей вероятности, сказал далеко не все, что думал.

Однако достаточно было того, что он высказал, чтобы его обвиняли во всех смертных грехах. Имя Эдельмана стало в Германии того времени пугалом, символом атеизма, богохульства и материализма. Церковь воспользовалась этой работой, чтобы подвергнуть Эдельмана гонениям и преследованиям, при чем чрезвычайно интересными являются те доводы, на которых церковь основывалась, преследуя его.

Она доказывала, и не без основания, что учение Эдельмана, как учение Спинозы, опасно не только для нее, но и для политического строя того времени. Эдельман, борясь против нас,—восклицает Гарнберг,—борется против всех высших слоев населения, против всякого авторитета. Эдельман проповедует неповиновение власти, он отзывается плохо о царях и в частности о Фридрихе II,—возмущался другой церковнослужитель Зисмилх, требовавший изгнания Эдельмана из Берлина, где последний нашел себе приют.

Эдельман, уже будучи немолодым человеком, вынужден был бежать от преследований из одного города Германии в другой. Из Нейвида он должен был уехать в Гарц, оттуда в Брауншвейг, а затем в Гамбург, где поселился в Альтоне. Он, однако, и в этом центре сепаратизма не чувствовал себя спокойным. В Гамбурге он был свидетелем сожжения своих книг, читал в местной газете распространяемые слухи о его смерти, узнал о сожжении рукой палача его произведений в Франкфурте-на-Майне. Измученный, он бежал в Берлин, где некоторое время вынужден был жить под чужой фамилией. В этом городе он встретился с Мендельсоном, с которым, однако, не ужился. Мендельсон, придерживавшийся, несмотря на все свои просветительные взгляды, всех мелочей обрядной стороны религии, почувствовал антипатию к безбожнику Эдельману.

Он пытался восстановить и Лессинга против Эдельмана. Последний в одном письме к отцу (1750 г.) высказывает довольно сомнительную похвалу по адресу Эдельмана. «Эдельман,—пишет Лессинг,—святой в сравнении с Ламеттри».

Умер Эдельман в Берлине 15 февраля 1767 года. Автобиография была им доведена до 1752 г. С этого времени о жизни его известно очень мало. Он ничего не писал и, повидимому, устав от преследований, больной, старался не раздражать служителей церкви.

Книги его, однако, несмотря на то, что их в нескольких местах сжигали, читались в Германии усердно, и многие из будущих писателей и философов задумывались над страстно проповедуемыми идеями Эдельмана.

Если со времени Лессинга в Германии стали усерднэе и серьезнее изучать Спинозу, то не малая заслуга в этом Эдельмана. Если материалистические идеи Гоббса и Толанда получили широкое распространение в среде немецкой интеллигенции, в особенности врачей и представителей точных наук, то в этом также не малая заслуга Эльдемана.

Эдельман, как философ, не оригинален. Он не имел времени заниматься специально философией; он был больше человеком воли, чем мысли.

Все же мы в его произведениях находим, кроме идей, заимствованных у Спинозы, Гоббса и Толанда, и некоторые оригинальные построения, приближающиеся к идеям, ставшим достоянием лишь XIX века и развитым у Гегеля и Маркса.

К. А. Тимирязев как дарвинист.

Ф. Дучинский.

Прошло пять лет с момента смерти К. А. Тимирязева, являвшегося крупным, европейски известным ученым, видным представителем монистического мировоззрения, последовательно проводившим каузально-механическую точку зрения во всех своих научных трудах, посвященных «насущным задачам естествознания». К. А. Тимирязев в совершенстве владел даром научного творчества, искусством экспериментатора и способностью гармонически сочетать данные опыта с широкими обобщениями. Классические исследования Тимирязева проникнуты последовательно проведенным единством плана и разнообразием и совершенством экспериментальных методов. С полным правом он мог сказать о себе: «не покидая ни на минуту почвы прямого опыта, я не пускался в рискованные теории, а ограничился только ролью свидетеля, констатирующего факты и помнящего обязанность всякого добросовестного свидетеля говорить «истину, всю истину и ничего, кроме истины».

Громадны научные заслуги Тимирязева в области физиологии растений, неоценимы его исследования, направленные, главным образом, на изучение явления образования и превращения хлорофила и на выяснения наиболее важного в жизни растений процесса—превращения углекислоты воздуха в органическое вещество. Тимирязев своими изысканиями раскрыл сущность отношений между лучистой энергией солнца и растением, раз'яснил «космическую роль растений».

Научные заслуги Тимирязева не ограничиваются его исследованиями и открытиями в области физиологии растения; он не удовлетворялся ролью ученого экспериментатора. Его мысль с ранних лет обращена была в сторону общих основных вопросов естествознания, в сторону абстрактных теорий, философии естествознания. Тимирязев не менее известен, как убежденный сторонник учения Ч. Дарвина. Последовательный дарвинизм являлся основным, существенным, принципиально важным моментом его научного мировоззрения. Велико его значение в выяснении, развитии и обосновании эволюционной теории в форме дарвинизма. В течение долгих лет он являлся вождем русских дарвинистов.

В дальнейшем я сжато, в самых крупных чертах напомню о знакомых многим фактах и идеях.

Время выработки научного мировоззрения Тимирязева относится к началу 60-х годов и совпадает с моментом, когда Западная Европа вступила в полосу умственной революции, зако-

чившейся торжеством новых принципов и идей и блестящим на их почве расцветом различных отраслей естествознания. К концу 50-х годов накоплен был естественными науками огромный фактический материал, целый хаос специальных знаний. Всеми учеными специалистами ощущалась потребность в синтетическом обобщении, в создании такой теории, которая всю совокупность накопленных фактов, всю массу отрывочных, хаотичных, часто противоречивых явлений могла бы представить в виде соподчиненных, причинно-зависимых, легко обозримых групп и категорий и которая могла бы указать место не открытым еще, но с уверенностью предвидимым фактам. Живо чувствовалось, что не факты или явления, но обобщения, законы и «познание причины вещей» составляют конечную цель научного исследования. Ибо, как говорит Вейсман, «ohne Hypothese und Theorie giebt es keine Naturforschung».

Прогресс естественно-научного знания увенчался построением научной концепции, радикально изменившей все мировоззрение ученых и нашедшей отклик во всем мыслящем человечестве.

В 1859 году вышла книга Ч. Дарвина «Происхождение видов». Появление ее ошеломило, произвело на всех потрясающее впечатление. «В мир брошена была,—говорит Тимирязев,—новая идея, затрагивающая глубокие умственные и нравственные интересы». Геггинс, создавший астрофизику, говорит: «внезапность и потрясающая сила взрыва были таковы, что никакие метафоры не были бы достаточно сильны, чтобы их изобразить. С беспримерной в истории быстротой человечество изменяло свои коренные убеждения,—...это было полным отказом от воззрений, сделавшихся святыней, благодаря долгой наследственной их передаче». «Я прибегаю к сильным выражениям,—добавляет он,—потому что сам пережил весь этот период, и помню ту дикую злобу, с которой была поведена атака». С 1859 г. разгорелась борьба, какой история человеческой мысли еще не видела. Все беспристрастные перворазрядные ученые стали на сторону Дарвина. Около двух десятилетий длилась эта борьба в лагере натуралистов между защитниками и противниками эволюционного учения и закончилась полным и бесспорным торжеством сторонников теории Дарвина. Не было ни одной отрасли знания, на которую дарвинизм—одно из широчайших обобщений в сфере научной мысли—не оказал бы своего влияния.

В атмосфере этого величайшего умственного движения закладывались основы естественно-научного мировоззрения Тимирязева. Неудивительно, что он стал дарвинистом, он не мог им не быть. Спустя пять лет после выхода «Происхождения видов», Тимирязев выступает уже убежденным сторонником теории Дарвина. Почти с 20-летнего возраста Тимирязев начал знакомиться с учением Дарвина, именем которого называют целый XIX век, русское общество, особенно живо интересовавшееся тогда новой биологической теорией. И с этого времени до конца своей жизни он неуклонно являлся его апостолом и апологетом, всю свою долгую жизнь оставался последовательным, правоверным дарвинистом. «Целых полвека,—говорит он,—я верой и правдой служил дарвинизму, пропагандируя, защищая и развивая его». И если учение Дарвина особенно сочувственно было принято в России и сразу было признано как в научном, так и в обще-

ственном мире, и если подавляющее большинство русских натуралистов являлось дарвинистами, то этому дарвинизм с значительной мере обязан Тимирязеву.

Каков же комплекс идей, та система взглядов, которая являлась краеугольным камнем научного мировоззрения Тимирязева, в чем сущность дарвинизма в интерпретации Тимирязева?

С древнейших времен пытливый человеческий ум в поисках за об'яснением целесообразного совершенства органических форм находил два исхода: или «они созданы таковыми», или «слепой случай виноват». Ни одно, ни другое об'яснение не могло удовлетворить ученых, привыкших к строго логическому научному методу мышления. Дарвином указан был иной путь об'яснения.

В «Происхождении видов» Дарвин, на основании сотен и тысяч научных фактов, доказывал, что высшие, сложно-организованные формы ведут свое происхождение от низших организмов, что они явились в результате длительного, медленного процесса эволюции, тянувшегося десятки миллионов лет. Сама теория Дарвина очень проста, и многочисленные факты, на которых она базируется, могут быть сгруппированы в несколько категорий.

Гармония, целесообразность, совершенство органических форм, с точки зрения теории Дарвина,—не результат творческих актов и не следствие безотчетного влечения к совершенству. Ни морфология с ее сравнительным методом, ни физиология с ее экспериментальным методом, согласно свидетельствующие о сходстве, единстве всего органического мира как в отношении строения, так и функций, не могли рационально об'яснить наблюдающееся единство и целесообразное совершенство организмов. Дарвин только, применив метод исторического анализа, раскрыл тайну единства всего живого при существовании разграниченных, обособленных видовых групп; он позволил понять формообразовательный процесс, как процесс постепенного прогрессирования, совершенствования органических форм. Целесообразная организация живых существ является результатом совместного действия естественных «существующих причин», реальных факторов, направляющих развитие организмов в сторону приспособления к окружающим условиям. Взаимодействие между организмами, внешней физико-химической и биологической средой создает их гармонию, совершенство. Реальные силы—изменчивость организмов, наследственность их индивидуальных признаков и геометрическая прогрессия размножения—формируют их организацию и обусловливают их эволюционное развитие. Все организмы способны к быстрому, чрезмерному размножению. В результате тенденции к перенаселению неизбежно возникает между ними борьба за существование в прямом и косвенном смысле слова. Как логическое следствие борьбы за существование, происходит естественный отбор: все худшие, неприспособленные к данным условиям внешней среды индивиды и виды погибают, а выживают наиболее приспособленные. Естественный отбор пользуется двумя основными свойствами организмов: всесторонней индивидуальной изменчивостью и наследственной передачей вариаций. Относительная роль указанных факторов такова. Изменчивость доставляет материал для отбора, наследственность его передает, закрепляет и суммирует. Таким образом приспособление, совершенствование

об'ясняется, как необходимое следствие размножения организмов в геометрической прогрессии и проистекающего в результате борьбы за жизнь естественного отбора. Подобно искусственному отбору человека, произведшему все богатство и разнообразие пород домашних животных и разновидностей культурных растений, естественный отбор—единственная сила, приводящая при постоянном изменении окружающих органических форм и условий к образованию и развитию видов, поражающих целесообразностью и гармонией физиологических и морфологических свойств. В этом об'яснении органической эволюции весь дарвинизм, его сущность.

Дарвинизм разрешил загадку целесообразности органического мира и происхождения видов, он впервые дал причинно-механическое об'яснение эволюции и гармонического совершенства организмов. В естественно-каузальном об'яснении эволюционного процесса Тимирязев видит основное превосходство теории Дарвина пред учением Ламарка, почему он остался верен дарвинизму до конца своей жизни, защищая его от всех возражений, поправок, дополнений. И когда в России, как и в Западной Европе, после периода всеобщего увлечения, почти безоговорочного признания учения Дарвина одним из величайших завоеваний человеческой мысли («в России было столько дарвинистов, сколько было натуралистов»,—говорит Тимирязев), наступил период критической оценки и попыток его опровержения, Тимирязев оказался на своем боевом посту защиты дарвинизма.

Как известно, центральной фигурой открытого похода против дарвинизма оказался Данилевский, сгруппировавший вокруг себя всех недовольных новым методом в биологии. В своем двухтомном «Дарвинизме» Данилевский развивал все те возражения, которые раньше высказаны были западно-европейскими противниками теории Дарвина. Дарвинизм резко противоречил всему умонастроению, всему строю мыслей Данилевского—представителя 40-х годов, он «разрушал его нравственное мировоззрение, противоречил его религиозному чувству». Иначе, как враждебно, он не мог отнестись к новому учению. В предисловии к «Дарвинизму» Данилевский провозгласил, «что под напором его критики все здание теории изрешетилось, а наконец, и развалилось в бессвязную кучу мусора». Книга Данилевского и тоном самоуверенной критики, и внешним аппаратом учености, и своим большим об'емом вызвала соответствующий эффект. Шумно заговорили о крушении дарвинизма, о том, что он опровергнут до конца. Несмотря на то, что из всех дарвинистов к ответу был призван один Тимирязев, оказавшийся, с точки зрения Данилевского, наиболее последовательным и безупречным, Тимирязев, не любивший полемики, продолжительное время хранил молчание. И только когда противники начали обвинять его в сознательном замалчивании книги, он выступил с ответной критикой выдвинутых возражений. Он произносит публичные речи, помещает в журналах статьи в защиту дарвинизма. Он разоблачает суб'ективно-пристрастный, ненаучный характер возражений Данилевского, доказывает, что они заимствовали из западно-европейской литературы и давно уже опровергнуты.

Главное возражение Данилевского, много раз самоуверенно повторявшееся им, и которое его сторонник Страхов назвал «истин-

ным открытием Данилевского», сводилось к тому, что сущность дарвинизма—естественного отбора—в действительности в природе не существует, что он—продукт воображения дарвинистов, «ein Hirngespenst». Отбор—это сохранение и накопление полезных изменений. Необходимой предпосылкой выявления результатов работы естественного отбора должно быть, по мнению Данилевского, устранение скрещивания, уничтожающего, нивелирующего все полезные уклонения и изменения. Но в природе скрещивание ничем не ограничено и не устранено. Отсюда логический вывод, что естественный отбор никакой творческой роли не может играть в происхождении и развитии новых видов. Это наиболее существенное возражение Данилевского Тимирязев устраняет указанием, что никто другой, как Дарвин, содействовал выяснению истинной роли скрещивания в процессе расхождения видовых признаков и что никого больше, чем Дарвина, не интересовало поглощающее влияния скрещивания. Возражение Данилевского, что начертанный дарвинизмом путь эволюции органического мира не вмещается в отводимые геологией периоды времени, его указание, что будто бы сам Дарвин под конец жизни, в противоположность «староверческому дарвинизму» последователей, отказался от основной сущности своего учения и ряд других возражений Тимирязев критически анализирует и приходит к заключению, что попытка Данилевского ниспровергнуть дарвинизм, доказать его научную несостоятельность проистекала из непонимания его сущности и оказалась безрезультатной.

Когда в дальнейшем ходе развития эволюционной мысли появились новые течения, претендовавшие на то, чтобы значительно дополнить, исправить или даже заменить дарвинизм, Тимирязев не мог не подвергнуть их критической оценке. В статьях, помещенных в сборниках и журналах, он анализирует, с точки зрения последовательного дарвиниста, попытки в этом направлении ламаркистов, де-Фриза, менделистов, неодарвинистов и др.

С большим шумом выступивший на научную сцену неоламаркизм, положивший в основу своего учения модифицированные принципы Ламарка, дает повод подвергнуть критике ламаркизм.

Учение Ламарка, с точки зрения Тимирязева, не дает удовлетворительного ответа на основной вопрос каждой эволюционной теории: почему в результате воздействия среды на организм появляются целесообразно организованные формы, почему организмы изменяются под влиянием окружающих условий в сторону гармонического совершенства в смысле приспособления к последним? Не является ламаркизм и стройной целостной системой взглядов; он не представляет монистического об'яснения «эволюционного процесса. Для понимания эволюции растительного царства указывается, как на действующий фактор, на изменяющее и формирующее прямое влияние физической среды; для животного мира выдвигается другой принцип. Все органы способны усиливаться, укрепляться, увеличиваться под влиянием употребления, их упражнения; в результате же бездействия, неупражнения органы функционально слабеют, редуцируются, атрофируются. Но, упражняя свои органы, организм активно участвует в этом акте, он может изменять степень напряжения, направлять энергию в разных направлениях. Таким образом воз-

психический элемент выступает в качестве фактора, изменяющего животные формы. Тесно связанное с принципом упражнения второе положение ламаркизма, гласящее, что все приобретенные организмом изменения признаков, органов наследственно передаются, является в настоящее время спорным вопросом эволюционного учения. В защиту этого тезиса ни Ламарком, ни его последователями не было выдвинуто бесспорного фактического обоснования. Правильно отмечая, что Ламарк не имел возможности, по состоянию научного знания, достаточно прочно аргументировать свое учение фактически материалом и часто прибегал «к расплывчатому философствованию», Тимирязев несправедливо к заслугам Ламарка преувеличивает, когда заявляет, что «эта книга («Философия зоологии») не имела значения для науки XIX века и, понятно, еще менее для науки XX века». Впрочем, в более поздних критических заметках по адресу Ламарка не раздается таких резких оценок. В переработанном «Историческом методе в биологии» на неудачные попытки Ламарка об'яснить целесообразное строение животных ссылкой, как на движущие факторы, на метафизические понятия внутреннего чувства, внутреннего стремления, Тимирязев воздает должное заслугам Ламарка, считает, что «он был величайшим натуралистом-мыслителем своего времени, способным не только обогатить науку новыми фактами, но и обнять в одном широчайшем синтезе все поле современного ему естествознания».

Анализируя теорию неодарвинизма, Тимирязев указывает на односторонность ее, как и неоламаркизма. Неодарвинизм в противоположность неоламаркизму, об'ясняющему все изменения влиянием внешней среды, приписывает всё организации. Провозглашая «всемогущество естественного отбора» (Уоллес, Вейсман) и являясь более последовательными, большими дарвинистами, чем сам Дарвин, неодарвинисты не в состоянии об'яснить появление тех усложнений, тех вариаций, над которыми оперирует естественный отбор. Тимирязев же вслед за Дарвином признает, что изменения органических форм вызываются влиянием постоянно изменяющихся окружающих условий. Организм находится в беспрерывном взаимодействии с окружающей средой и подвержен всем воздействиям последней. Попытку де-Фриза теорией мутаций заменить основные положения дарвинизма Тимирязев также подверг критической оценке с точки зрения примиримости этих двух теорий. Как известно, де-Фриз, Коржинской и др. утверждали, что новые органические виды являются не вследствие медленного процесса накопления мельчайших изменений, постепенного, длительного расхождения видовых признаков, а путем внезапного скачка от старых к новым формам, путем резкого перерыва постепенности. Старые виды долгое время остаются застывшими, неподвижными, потом, под влиянием неизвестных внутренних причин, они «взрываются», сразу дают несколько или много новых видовых форм. В дальнейшем начинает действовать естественный отбор. Тимирязев указывает, что мутационная теория не противоречит дарвинизму, поскольку де-Фриз вполне признает важную роль естественного отбора, выдвигаемого дарвинизмом в качестве движущего фактора, об'ясняющего совершенство организмов в смысле их приспособленности к окружающим условиям, и поскольку основное положение теории де-Фриза о скачкооб-

разном процессе видообразования не исключалось теорией Дарвина. Дарвин отводил рядом с мелкими уклонениями известную роль и крупным, приписывая им в разное время то большее, то меньшее значение. По мнению Тимирязева, нет в настоящее время достаточных фактических оснований отводить скачкообразной изменчивости главное, первенствующее место. Число примеров образования новых органических форм путем изменений скачками крайне ограничено, еще меньше случаев наследования резких уклонений потомками. Основным фактором образования видов остается естественный отбор всех полезных мелких вариаций. В последнее время многие биологи приписывают основную роль в формообразовательном процессе мутационным, скачкообразным изменениям, наследственно передающимся, в противоположность ненаследственным мелким уклонениям, флюктуациям.

Преодолев попытки исправить или заменить даваемое теорией Дарвина об'яснение явлений изменчивости указанием иных путей, выдвиганием других факторов, Тимирязев переходит к критическому разбору современной теории наследственности, которая, по мнению некоторых эволюционистов, стала на место отжившего дарвинизма.

В центре внимания Тимирязева оказывается менделизм—одно из крупнейших течений эволюционной мысли в области проблемы наследственности в области генетики. Мендель, как известно, вывел свой основной закон наследственности, сводящийся к тому, что при наследовании признаки не смешиваются, не сливаются, а передаются независимо друг от друга в различных комбинациях, в связи с чем наблюдается правило доминирования одних признаков в первом поколении и правило расщепления признаков в известном процентном соотношении во втором поколении, основываясь, главным образом, на своих опытах над садовым горохом. При скрещивании желтого и зеленого гороха гибриды обладают желтой окраской. При разведении желтых гибридов получаются обе разновидности гороха в отношении трех желтых к одному зеленому. В третьем и следующих поколениях зеленый горох сохраняет свои признаки неизменными, а из трех желтых в третьем поколении сохранится только один, остальные разбиваются на желтые и зеленые, опять-таки в отношении трех к одному. Аналогичные явления наблюдались на маисе, улитках, курах, кроликах и других животных и растениях. Но имеют ли «правила» Менделя универсальное значение? В связи с сильным увлечением многих биологов менделизмом, пытавшихся иногда придать ему значение универсального закона, долженствующего заменить другие эволюционные теории, Тимирязев стремится ограничить заслуги Менделя и умалить значение его законов. Тимирязев указывает, что законы менделизма установлены были не только Менделем, но одновременно и Ноденом, заинтересовавшимся, почему в результате скрещивания сложных форм, образовавшихся путем предшествующего скрещивания, могут получиться новые формы. Он обращает внимание на исключения из законов менделизма, когда гибриды получаются среднего, промежуточного типа (мулаты), когда доминантные и рецессивные признаки меняются ролями, когда в результате скрещивания появляются новые формы. Он полагает, что для об'яснения основного факта господства и подчиненности признаков менде-

лизм вынужден будет обратиться к физиологической химии, что ферменты могут выступать в качестве действующей причины в явлениях при скрещивании. Законы Менделя, по мнению Тимирязева, не могут об'яснить происхождение видов. Кроме того, как было уже упомянуто, явления скрещивания были подвергнуты внимательному рассмотрению в книге Дарвина, и он знал о наследовании отдельных, изолированно передающихся потомству, признаков. Менделизм своим положением, что у потомков помеси наблюдаются чистые, исходные формы родителей, не только не упраздняет дарвинизм, а, наоборот, подкрепляет, дополняет его, так как устраняет основное возражение противников, считавших, что скрещивание поглощает, нейтрализует все индивидуальные уклонения. Естественный отбор производит выбор между смешанными и чистыми формами. По словам Тимирязева, «менделизм по своему значению покрывает какую-нибудь тысячную долю того обширного поля фактов, которые охватывает дарвинизм».

Нельзя вполне согласиться, оставаясь об'ективным, с суб'ективной оценкой менделизма—«всеоб'емлющего учения, которое освещает все отрасли науки о жизни и всюду прокладывает новые пути исследования» (Гольдшмидт). Всякие приговоры Тимирязева по адресу менделизма можно понять, как реакцию против преувеличений, переоценки нового генетического направления со стороны некоторых узких его сторонников. Как известно, в настоящее время, на основании новых экспериментальных данных самими генетиками вносятся некоторые ограничения в «законы» менделизма; законы доминирования, независимости признаков низводятся менделистами на положение правил, имеющих исключения. По осторожным словам Р. Гольдшмидта, «предположение, что этот тип наследования (по менделевским законам) является самым важным, если не единственным в живой природе, получило высокую степень вероятности».

По одному из основных спорных вопросов генетики—по вопросу о наследовании приобретенных признаков—Тимирязев, признавая всю трудность задачи проследить причинную зависимость между появлением, в результате воздействия на организм среды, новых признаков и передачей их следующему поколению, склоняется к положению, что приобретенные, вследствие продолжительного влияния среды на ряд поколений, свойства могут оставить «прочный наследственный след», и в подтверждение своей мысли приводит убедительные примеры из растительного и животного мира. Однако Тимирязев считает, что окончательное решение этого трудного вопроса чисто экспериментальным путем принадлежит будущему времени.

Но останавливаясь на критическом разборе Тимирязевым других теорий и возражений антидарвинистов, я укажу на даваемую им общую оценку всех этих попыток и построений. Он говорит, что все те теории, которыми пытались заменить, упразднить дарвинизм, не являлись целостной философией естествознания, охватывающей все вопросы и проблемы эволюционной теории, а в лучшем случае из всего комплекса элементов дарвинизма выдвигали один какой-нибудь момент и подвергали детальной разработке. Тем самым ясно обнаруживались противоречия, несогласованность новейших эволюционных концепций в их стремле-

нии дополнить, углубить или заменить дарвинизм—целостное мировоззрение. Тимирязев приходит к заключению, что выдвигание новых теорий на смену дарвинизму об'ясняется непониманием основной сущности его, что ни одно из основных положений дарвинизма не опровергнуто и что «книга Дарвина «Происхождение видов» (стр. 13) теперь, как и в момент появления, является единственной философией биологии, остается единственным ключом для понимания общего строя органической природы, продолжает служить путеводной звездой современного биолога». Дарвинизм освещает всю совокупность подлежащих исследованию явлений и фактов светом одной руководящей идеи и отвечает на вопрос quo modo, т.-е. указывает, каким путем и под влиянием каких факторов идет эволюционный процесс. Мощное здание дарвинизма покоится на неопровергнутых фактах изменчивости, наследственности и быстрого размножения организмов. Пока не разрушена фактическая основа, теория Дарвина будет неизменно выдерживать все попытки заменить, разрушить ее.

Блестящая защита Тимирязевым дарвинизма удерживала, как говорит проф. Мензбир, «широкое расползание по нашей стране новейших эволюционных теорий.

Существенной научной заслугой Тимирязева в сфере дальнейшего развития эволюционного учения является то, что он первый обратил внимание на новую и плодотворную область эволюционной теории, на, можно сказать, основу ее—на область экспериментальной морфологии. Дальнейшую разработку вопросов эволюционной теории Тимирязев видел в изучении экспериментальным путем механизма формообразовательного процесса, в экспериментальном исследовании двух основных явлений органической жизни—явлений изменчивости и наследственности. Намеченный им путь оказался правильным. Наука делает быстрые блестящие завоевания в этом направлении. Издаются специальные правила, ставящие задачей разработку вопросов экспериментальной морфологии, существуют лаборатории, опытные институты для экспериментального решения проблем генетики. Достигнуты поразительные успехи. Достаточно указать на деятельность «американского кудесника» Бурбанка, творящего чудеса в создании новых растительных форм. Он, точно ваятель, лепит из растений желательные ему формы. При помощи изменения физических условий существования (света, тепла, влажности, земного притяжения) меняются все части растений: форма цветов, листьев, стеблей, даже клеток. «Он (Бурбанк) подчинил себе силы жизни. Он наложил свою властную руку на эту жизнь и заставил ее творить новые формы по его указанию... Его тщательные опыты охватывают более, чем две тысячи пятьсот новых произведений, а перспективы, которые они раскрывают, обещают почти безграничную возможность совершенствования растительных форм»,—говорит Тимирязев (Гарвуд, «Обновленная земля»). Из статей ботаника Клебса видно, что наука подчинила своему экспериментальному искусству и сферу явлений размножения. Признавая могущество экспериментального метода, Тимирязев считает, что для об'яснения сложного формообразовательного процесса необходимо привлечение генетического метода. И, действительно, мы видим, что генетический анализ отдельных видовых форм выдвигается на первый план в области изучения явлений наслед-

ственности. Достаточно упомянуть генетический анализ знаменитой мухи Drosophila американской школы Моргана и, как результат работы, создание хромозомальной теории наследственности. На основании применения выводов генетики в настоящее время экспериментальным путем создаются выгодные породы домашних животных, новые сорта культурных растений.

Подвергал рассмотрению Тимирязев и труднейшую проблему эволюционной теории—вопрос о происхождении жизни на земле, тот вопрос, решить который мыслящее человечество тщетно силится с древнейших времен. Как, откуда и когда началось развитие органического мира? Не возникают ли элементарные организмы на земле и теперь? Не возникали ли они в прошлом при существенно иных условиях? Прослеживая историю вопроса и научно оценивая существующие гипотезы о происхождении жизни, Тимирязев, как и большинство выдающихся натуралистов (Ферворн, Ле-Дантек, Леб, Вейсман, Геккель, Шефер и др.) склоняется к тому предположению, что самопроизвольное зарождение простейших организмов невозможно при современных условиях, что оно имело место в далеком прошлом и не исключена возможность, что «со временем вновь осуществится при искусственных условиях в наших лабораториях». Пока же вопрос о самопроизвольном возникновении живых существ из неорганической материи продолжает оставаться в стадии гипотезы.

В последней, вышедшей из-под пера Тимирязева, статье «Дарвин и Маркс», появившейся почти накануне смерти его, выразился широкий охват научной мысли в философском обобщении, в синтезе эволюционизма в биологии и социологии. Исходя из того тезиса, что Дарвин открыл закон развития органического мира, Маркс же—закон социально-экономической эволюции, Тимирязев делает попытку сблизить две области знания: социальную науку и естествознание. Он устанавливает многочисленные точки соприкосновения, проводит параллели и аналогии между учением Дарвина и учением Маркса, начиная с указания на совпадение появления в одном и том же 1859 году и «Происхождения видов», и «К критике политической экономии» Маркса. Как на последней странице труда Дарвина, так и на одной странице предисловия «К критике полит. экономии» изложена лаконично и блестяще вся суть этих двух мощных, величественных научных концепций, встряхнувших до самых глубин и «сознание», и «бытие» человечества. Для всей совокупности явлений органической и социальной жизни они нашли естественное об'яснение в познании закономерности, причинной обусловленности последних, из'яв их из ведения теологии и метафизики. Таким образом Тимирязев на закате дней своих, умудренный долгим жизненным и научным опытом, увидел, что в свете эволюционно-диалектического принципа разные, казалось бы, далекие области познания сближаются и сливаются в высшем монистическом синтезе—обобщении в одно стройное величественное целое.

На-ряду с последовательным эволюционно-диалектическим методом мышления, как его неизбежную предпосылку и дополнение, следует отметить вторую характерную черту умственного склада, другой основной элемент научного мировоззрения Тимирязева. Это—его строгий рационализм, позитивизм. Он твердо был убежден, что наука, опытная, положительная наука с ее

экспериментальным методом способна разрешить самые сложные и трудные проблемы, что она далеко раздвинет «границы познания», что она сорвет покрывало с окружающих человека тайн. Он беспредельно верил в мощь и торжество положительной науки, стремящейся к реализации мечты человечества: «мочь и предвидеть». Он верил, он знал, что ничто не в силах остановить победного, триумфального шествия науки. Созданием всей материальной и духовной культуры положительная наука доказала свою способность открывать истину. Будущее принадлежит науке с ее экспериментальным методом.

Когда в конце прошлого и в начале нашего веков на Западе появились симптомы научного упадка, регресса научного мышления, выразившиеся в провозглашении «банкротства науки», в призывах вернуться «назад к Канту», под крылышко метафизики, Тимирязев выступил с призывом к борьбе с реакционными течениями мысли, ведущими к научному и культурному регрессу. Он провозгласил, что «наука не пойдет в Каноссу, не превратится в служанку философии». Все течения реакционной мысли, выразившиеся в утверждении трансцендентного со стороны проф. Лоджа, талантливого физика, адепта спиритизма и мистицизма, в попятном движении от разума к инстинкту, к интуиции в лице философа Бергсона, председателя спиритического общества, в призывах вернуться к витализму, в чрезмерном прославлении неоламаркизма и других новейших течений в области эволюционной теории,—все эти идеологические направления встречают энергичный отпор со стороны Тимирязева. Но главный натиск реакционных сил Тимирязев видит направленным против биологии и преимущественно против эволюционного учения. Астроном, физик, химик теперь оставлены в покое, они могут свободно провозглашать те истины, за которые три века тому назад сжигали. Область жизненных явлений стараются оградить непроходимой чертой от экспериментальных методов исследования и предоставить ее ведению метафизики и теологии. Но все достижения и успехи точных наук явились в результате применения физико-химических законов и методов исследования, что служит верным критерием их истинности. К отражению всех реакционных попыток, к изгнанию мистики и метафизики из последнего убежища—к этому призывал Тимирязев представителей науки, и этому посвящает он много блестящих страниц своих научных трудов. Всегда и везде Тимирязев оставался верен своему целостному материалистическому мировоззрению, ни разу не сделав принципиальных уступок дуалистическому и метафизическому методам мышления.

Тимирязева не раз обвиняли в том, что он односторонне восторженно относился к Дарвину и его учению, что он недостаточно оценивал новейшие дополнения и поправки к теории, а Богословский, сам фанатик ламаркизма, называл его в своей книге «Развитие жизни» фанатиком дарвинизма. На все подобные указания и обвинения Тимирязев отвечал, что он подвергал резкой критике, как ни один дарвинист, те воззрения Дарвина, которые казались ему ложными, разумея в данном случае, главным образом, гипотезу о пангенезисе. Тимирязев не был тем ортодоксальным догматиком, каким старались изобразить его противники. Признавая учение Дарвина истинным, логически обя-

зательным для настоящего времени, он не исключал возможности его дальнейшего развития и углубления, появления в будущем нового учения, которое существенно видоизменит дарвинизм. «В будущем,—говорит он,—явятся новые пути, новые методы исследования, откроются новые умственные горизонты. То, что в этом учении (дарвинизме) истина—постоит за себя, а о потере не истины дарвинисты, конечно, пожалеют последними. Но об этом пока бесполезно гадать». И Тимирязев, хотя он отрицал это, безусловно эволюционировал, учтя новейшие данные биологии, в сторону признания более важного значения влияния внешней среды, как фактора изменчивости и эволюции, выдвигаемого на первый план ламаркистами. Сравнение его «Ч. Дарвин и его учение» и позднейшего произведения «Успехи биологии в XIX в.» ясно говорит об изменении его воззрений в этом отношении. Он признавал, что истекшие полстолетия много внесли нового в смысле углубления методов исследования и расширения наших знаний в отношении основных явлений органической жизни—изменчивости и наследственности, разумея успехи биометрики, давшие точный метод для учета этих явлений,—успехи в разрешении вопросов наследственности (Мендель) и возникновение новой отрасли эволюционного учения—экспериментальной морфологии.

Еще не кончилась борьба сторонников разных эволюционных теорий, но уже многие крупные ученые (Гольдшмидт, Баур, Морган, Иллос) заявляют на основании новейших экспериментальных открытий о возвращении «назад к Дарвину». Чем бы ни кончилась борьба дарвинизма и других эволюционных теорий, но уже ввиду открывающихся перспектив можно с уверенностью утверждать, что дарвинизм должен будет явиться основным, краеугольным камнем всякого нового построения.

И К. А. Тимирязев, которому дарвинизм на русской почве так многим обязан, займет почетное место рядом с сподвижниками по борьбе—с Геккелем, Вейсманом и Роменесом—в галлерее великих мыслителей-дарвинистов всю жизнь свою посвятивших обоснованию и торжеству дарвинизма.

Пуризм и стихийный диалектический материализм[1]).

(*Предисловие к статье М. Планка*).

Помещенная ниже речь М. Планка представляет исключительный интерес с точки зрения диалектического материализма. И не только потому, что Планк один из самых выдающихся современных физиков, со взглядами которого нельзя не считаться, но потому еще, что взгляды эти выковались в процессе длительной эволюции. Было время, когда сам Планк склонялся в сторону той физической школы, которая так удачно названа им научным пуризмом. В конце концов Планк решительно выступил против главы физического пуризма Э. Маха. Выступление его знаменовало собою начало конца махизма, достигшего в то время кульминационной точки своего влияния. Планк ничего не говорит, конечно, о классовой подоплеке пуризма в науке, но он очень метко вскрывает и показывает, как мощное движение науки сметает паутинные перегородки пуристской логики. Замечательно то, что Планк характеризует эту логику, как формальную: пуристы,—говорит он,—склонны противиться всеми средствами всякому расширению признанных гипотез за пределы формальной логики. Но «вопрос об окончательном успехе новой физической аксиомы решается вовсе не в области логики, но лишь потому, что известные эмпирические закономерности не могут быть поняты без этой аксиомы». Планк иллюстрирует свое утверждение несколькими замечательными примерами из истории гипотезы атомов, понятий энергии и энтропии.

Картина, развертываемая Планком,—картина непреодолимого диалектико-материалистического движения научного познания. Существеннейший пункт диалектической теории познания—соотношение относительного и абсолютного—формулируется Планком с необычайной отчетливостью: «абсолютное образует идеальную цель, которую мы постоянно имеем перед глазами, никогда не будучи в состоянии достигнуть ее».

Но подобно путнику в горах, стремящемуся к вершине, мы все-таки идем вверх и вперед, и нам ничто не мешает неограниченно близко подойти к цели наших стремлений».

Выводы Планка тем ценны, что они являются плодами не априорных абстрактных рассуждений, а получены в результате многолетней научной деятельности, «после всего пережитого и изведанного».

[1]) «Пуристами» в данном случае называются философствующие физики-идеалисты, главным образом махисты, стремящиеся обосновать точку зрения «чистого» опыта.

Выводы эти являются вместе с тем удивительным образцом того, с каким большим трудом самые очевидные и элементарные истины завоевывают себе признание в классовом обществе. Планк должен был «много пережить и изведать», прежде чем пришел к заключению, что относительное предполагает абсолютное и наоборот. История борьбы за атомистическую теорию знает великую, непростительную жертву Людвига Больцмана, покончившего самоубийством, одной из причин которого была ожесточенная борьба против кинетической теории материи,—теории, которой Больцман посвятил всю свою жизнь и гений.

Последние десятилетия нанесли научному пуризму ряд жесточайших поражений. Но пуризм, являясь идеологическим прикрытием классовых интересов, не думает сдаваться. От философии чистого описания идут «назад» к модернизированным Канту и Лейбницу, превращая ставшие «очевидными» электроны и атомы в непространственные, вневременные и внепричинные «вещи в себе», в метафизические монады или центры сил Босковича. Делаются попытки гальванизировать труп телеологии, изобретаются «новые» системы философской обработки науки вроде «Als-ob Philosophie» Фаингера (Vahinger), переряженный и перекрашенный махизм фигурирует под различными формами релятивизма и позитивизма. Все эти ухищрения пуристской логики могут оказать и оказывают известное тормозящее влияние на движение науки, но остановить или окончательно исказить это движение они бессильны. Наука имеет свою собственную логику, в корне отличную от прокрустова ложа логики пуризма. Основание этой логики в том, что не мы строим мир «по основаниям целесообразности, а, наоборот, он сам со стихийной силой навязывается нам» (Планк).

Эта именно стихийная сила в конце концов прочь сметает логическую паутину пуризма.

Философы материалисты неоднократно указывали, что естествоиспытатели стоят на такой стихийно-материалистической точке зрения. Сознательно примыкая, обычно, к какой-нибудь идеалистической или полуидеалистической школе, естествоиспытатели в своих трудах бессознательно, силою вещей, принуждены становиться на почву стихийного материализма. Планк очень хорошо рисует это обстоятельство. Он говорит: «мы будем избегать исходить из каких-нибудь предварительных общих соображений, а подчинимся насколько возможно беспристрастно действию только самих фактов и, согласно впечатлению, которое произведет на нас их совокупность, образуем наше суждение».

Планк берет некоторые основные факты из истории развития физико-химических знаний за последнее столетие. Он начинает с истории атомистической гипотезы. Стихийный материализм естествоиспытателей не может не считать атом об'ективной реальностью, абсолютным. Несмотря на все ухищрения идеализма, стремящегося «обработать» понятие атома в соответствующем духе, всякий физик и химик, если даже его сознательное credo склоняется к идеализму, выпужден в своей действительной работе мыслить атом, как об'ективную, т.-е. существующую независимо от человеческой воли и сознания, реальность. Планк показывает ту силу фактов, которая повелительно действует на арене науки. После многих попыток толковать атом, как чистое отношение,

«ныне ни один физик не заявит протеста против утверждения, что вес атома водорода, отвлекаясь от неизбежных погрешностей измерения, равен 1,649 квадриллионной грамма,—число, значение которого независимо от атомных весов других химических элементов и, следовательно,. в этом смысле может быть обозначено как абсолютное».

Переходя к понятиям энергии и энтропии, Планк показывает, как стихийный материализм науки сметает в сторону идеалистические истолкования этих понятий: движение материи, которое выражено в понятиях энергии и энтропии—это не чистая относительность, зависящая от «точки зрения наблюдателя», а абсолютная реальность. Планк отмечает парадоксальное обстоятельство—то именно, что теория относительности, поставившая себе целью релятивизировать все понятия, в том числе и понятие энергии, пришла к определению абсолютной величины энергии данной массы. Более того: стихийный материализм науки—это не просто материализм, а материализм диалектический. Планк показывает это с замечательной наглядностью на примере атома. Атомный вес, который признан наукой величиной абсолютной, на самом деле содержит в себе нечто относительное, представляя средний вес нескольких изотопов. Кроме того, современные исследователи разложили некогда неделимый атом на электрон и протон, т.-е. опять-таки релятивизировали атом. Но,—говорит Планк,—эта релятивизация атома опять-таки приводит к абсолюту, ко всеобщей основной материи—той, о которой мечтал еще Фалес Милетский. Планк называет этот абсолют—«абсолютом высшей ступени и более простой формы» и подчеркивает в заключительных словах, что абсолютное в «конечной инстанции»—это идеальная, никогда не достижимая цель нашего познания.

Таковы стихийные диалектико-материалистические выводы крупнейшего современного ученого из основных фактов развития физико-химического исследования за последнее столетие.

Планк, не мудрствуя лукаво, выразил бессознательно то, что давно утверждает теория диалектического материализма. И речь Планка весьма знаменательна—она показывает, что стихийный диалектический материализм науки начинает превращаться в сознательный. Этот факт не является для марксиста чем-то неожиданным и удивительным. По мере нарастания мировой революции (а кривая ее с теми или иными колебаниями неуклонно идет вверх) лучшие представители интеллигенции теоретически и практически начинают переходить в лагерь современного революционного класса. Речь Планка в сложной и косвенной форме выражает этот факт, а потому заслуживает большого внимания.

З. Цейтлин.

От относительного к абсолютному[1]).

М. Планк.

Перевод Н. М. Лихтгейма.

Милостивые государыни и государи!

Я считаю за высокую честь и особенное удовольствие, что имею снова возможность, благодаря любезному приглашению, сказать несколько слов о вопросах моей науки в этом доме, куда вступил пятьдесят лет тому назад в качестве сотрудника академии, и где я позже получил степень доктора и право читать лекции. При этом взор невольно обращается назад на прежнее состояние научных исследований, измеряя громадное расстояние, которое открывается нам при сравнении обеих картин прежних и нынешних исследований. Едва ли в какое-нибудь другое полустолетие физика изменила так глубоко и совершенно неожиданно свой облик. Когда я начал свои физические занятия и спросил у своего почтенного учителя Филиппа Жолли совета об условиях и перспективах моих занятий, он представил мне физику, как высоко развитую, почти вполне созревшую науку, которая должна скоро принять свою окончательную устойчивую форму после того, как она в известном смысле увенчана открытием принципа сохранения энергии. Конечно, в том или ином уголке можно еще заметить или удалить пылинку или пузырек, но система, как целое, стоит довольно прочно, и теоретическая физика заметно приближается к той степени совершенства, какой уже столетия обладает геометрия.

Таков был лет пятьдесят тому назад взгляд физика, стоявшего на высоте своего времени. Правда, и тогда уже не было недостатка в физической науке в некоторых темных местах, требовавших лучшего раз'яснения и вносивших нечто тревожное в приятное состояние насыщения. Так, странные свойства светового эфира упорно противились всем изысканиям, направленным к их выяснению, а явление катодных лучей, открытых в то время Вильгельмом Гитторфом, представило экспериментаторам и теоретикам трудную загадку. Еще Генрих Герц, последняя яркая звезда на небе классической физики, приводил катодные лучи в связь с продольными волнами эфира, так как, при бывших в его распоряжении экспериментальных методах, ему не удалось обнаружить действие катодных лучей на магнитную иголку, а он справедливо был убежден, что такое действие необходимо должно быть, если катодные лучи суть носители электрического тока.

---

[1]) Речь, произнесенная Планком в Мюнхене 1 декабря 1924 года.

С открытием электронов, лучей Рентгена и радиоактивности началась новая эра физики, под впечатлением которой мы ныне находимся, последствия которой еще не вполне обозримы и во всяком случае будут простираться на долгие времена. Поэтому если я решаюсь сегодня пригласить вас к совместному обзору высших областей теоретической физики, то я прежде всего должен об'яснить вам значение той несколько отвлеченной формы, в которую я принужден был облечь тему моего нынешнего доклада, а также цели, руководившие мною при выборе именно этой темы, и точку зрения, с которой я думаю приступить к ее обсуждению. Однако я не хотел бы с самого начала углубляться в общее определение понятий «относительное» и «абсолютное» именно потому, что я убежден, что даже при тщательном раз'яснении нельзя удовлетворить всем требованиям полноты и точности, а затем, главным образом, потому, что я забочусь не о названии, а о предмете, и я охотно подверг бы первое всякому изменению в случае нахождения более подходящего выражения для того же предмета. Точно так же я не положу в основание моих выводов какой-либо особенной точки зрения и не свяжу с ними с самого начала особенной цели, но я намерен просто ограничиться тем, что представлю вам некоторые замечательные явления из фактического хода развития физико-химических исследований в последнее столетие, отыщу в них некоторые общие черты и дам этим общим чертам характерное изложение. Поэтому мы также не будем исходить из каких-либо предварительных общих рассуждений, но по возможности непринужденно отдадимся фактам и, смотря по впечатлению от их совокупности, составим свое суждение.

Я начну с обсуждения одного из элементарнейших понятий химии—понятия об а т о м н о м в е с е. Как известно, уже в греческой философии говорится об атомах, но измерение атомного веса начинается лишь с открытия основного положения химической стехиометрии о том, что все химические соединения происходят согласно вполне определенным весовым отношениям. Так 1 *г* водорода соединяется всегда лишь с 8 *г* кислорода в воду, а 35,5 *г* хлора в хлористый водород и т. д. Поэтому 8 *г* есть эквивалент кислорода, 35,5 *г*—эквивалент хлора, и точно так же можно для всякого химического элемента вывести эквивалент с другим элементом. Конечно, эти числа имеют значение лишь тогда, если брать водород за единицу; в этом смысле они представляют известный произвол. Более того, их значение ограничивается прежде всего лишь специальными соединениями, из которых они выведены. Эквивалент 8 кислорода имеет силу только по отношению к воде. Если взять вместо воды другое соединение с кислородом, напр., перекись водорода, то эквивалент кислорода будет 16. С первого взгляда нет принципиального основания предпочесть одно число другому. Поэтому каждый элемент имеет вообще несколько различных эквивалентов, даже собственно столько, сколько видов соединений он может образовать. Если для какого-либо элемента вообще неизвестно ни одно соединение, то нет и точки опоры, чтобы приписать ему какой-нибудь эквивалент.

Но обнаружился важный факт, что в различных соединениях, образуемых одним элементом с другими, всегда появляются

одни и те же числа для эквивалента или их целые кратные. Так, эквивалент 35,5 для хлора имеет силу не только для соединения с 1 г водорода в хлористый водород, но и для соединения с 8 г кислорода в окись хлора. Если смотреть на это правильное совпадение не как на непонятную случайность, то необходимо дать понятию эквивалента более самостоятельное значение, отделить его от вопроса о соединениях, образуемых элементом с другими элементами, и, таким образом, сообщить ему в известном смысле абсолютный характер. Это на самом деле и случилось весьма скоро, но при этом осталось некоторое затруднение, которое в химии долгое время ощущалось особенно тягостно и происходит от того, что обычно два элемента, напр., водород и кислород, могут образовать несколько соединений разных порядков, так что неизвестно, следует ли принять за эквивалент кислорода 8 г или 16 г. Чтобы найти здесь ясное решение, необходима новая идея, чуждая стехиометрии, новая аксиома, которая найдена в гипотезе Авогадро. Она основана на факте, установленном Ге-Люссаком, что два элемента в газообразном состоянии соединяются не только в определенных весовых отношениях, но, взятые при одинаковой температуре и равном давлении, в определенных об'емных отношениях. Эта гипотеза выделяет из массы различных возможных для данного вещества эквивалентных весов один вполне определенный, который она обозначает, как молекулярный вес, приравнивая вообще отношение молекулярных весов двух газов отношению их плотностей. В этом определении нет более речи о химических реакциях, но лишь о химических веществах. Поэтому его можно также применить к элементам, которые подобно благородным газам соединяются с трудом или вовсе не соединяются с иными телами.

Так как по закону Авогадро молекулы химических элементов входят в молекулы своих соединений не как целое, но лишь частью своего общего веса, как, напр., молекула водяного пара образуется из целой молекулы водорода и половины молекулы кислорода, молекула хлороводорода—из половины молекулы водорода и половины хлора, то от молекулярного веса переходят к атомному весу элемента, как к наименьшей части, в названных примерах, к половине молекулярного веса, которая находится в соединениях элемента.

Таким образом, если через определение Авогадро понятие атомного веса получило известное абсолютное значение, то всетаки в этом понимании еще заметно нечто относительное. Ибо атомный вес Авогадро обозначает лишь относительное число: для его определения нужно еще произвольное установление атомного веса для всякого отдельного элемента, напр., для водорода 1 г или для кислорода 16 г. Независимо от этого установления числа атомных весов не имеют смысла. Поэтому издавна внимание многочисленных исследователей было направлено на то, чтобы освободить понятие атомного веса и от этого последнего ограничения и сделать его значение в более широком смысле абсолютным,—задача, во всяком случае, менее важная для практических потребностей химиков, так как собственно в химии дело идет всегда лишь об отношениях весовых количеств.

Правда, во всякой науке часто возникает острый конфликт между исследователями, которые стараются привести в порядок

признанные аксиомы науки, анализировать их и очистить от всех случайных и посторонних составных частей,—я назову их пуристами,—и такими исследователями, которые стремятся расширить данные аксиомы введением новых идей и потому охотно вытягивают щупальцы по всем направлениям, чтобы узнать, с какой стороны можно достигнуть успеха. Таким образом и в химии не было недостатка в пуристах, которые строго осуждали все попытки видеть в атомном весе более, чем простое относительное число; руководящие же химики по крайней мере находили полезным рассматривать атомы в смысле механического мировоззрения, как самостоятельные мелкие образования, которые расположены в молекуле по определенным пространственным измерениям и которые при наступлении химического изменения соответственно разделяются или иначе группируются. Я сам живо вспоминаю из моей мюнхенской эпохи начала восьмидесятых годов о впечатлении, которое здесь, в химической лаборатории университета, произвела полемика тогдашнего главы пуристически настроенных химиков, Германа Кольбе, в Лейпциге; он произнес свое священное проклятие над механико-атомистическими представлениями, к которым привела выработка химических структурных формул и за отсутствием ожидаемого результата дошел до самого резкого тона. Ввиду таких горячих нападок, касавшихся даже личности, Адольф фон-Бэйер делал то, что при таких условиях было лучше всего: он молчал и работал до тех пор, пока успех не оправдал его. Подобную картину наблюдаем мы ныне в борьбе по поводу модели атома Нильса Бора, которая пред'являет доброй воле теоретика во всяком случае гораздо бо̀льшие требования, чем ранее гипотезы структурной химии.

Но и с философской точки зрения пуристы выставляют в течение целых десятилетий упорные возражения против выработки атомистической теории. Здесь надо назвать прежде всего Маха. Мах во всю свою жизнь не уставал дискредитировать острым оружием своего анализа понятий, а при случае и своей иронией наивные и грубые воззрения, которые он ставил в вину сторонникам атомистики, и которые, по его мнению, стояли в резком противоречии с общим философским развитием современной физики.

Против таких нападок представители атомистической теории, в числе которых прежде всего был Людвиг Больцман, имели слабую защиту уже потому, что средствами логики против пуристов вообще никогда нельзя ничего достигнуть по той причине, что пуристы со своей стороны представляют и защищают именно все то, что можно вывести из признанных аксиом их науки логическим путем. Они отвергают только проникновение новых посторонних аксиом, особенно если они еще не сложились в окончательной общеупотребительной форме. Но ни одна еще аксиома не родилась в виде готовой системы, как Паллада Афина из головы Зевса; аксиомы сначала живут лишь несовершенно, даже часто более или менее неясно в воображении своего творца и выходят на свет божий лишь после тяжелых мук рождения, принимая научно-приемлемую форму. И даже когда они достигают всеобщего признания, пурист еще далеко не обязан признавать себя побежденным. Ибо вопрос об окон-

чательном успехе новой физической аксиомы решается вовсе не в области логики, но лишь потому, что известные эмпирические закономерности не могут быть поняты без этой аксиомы. Тогда пуристам не остается ничего иного, как об'явить такие закономерности случайностью. К этому утверждению они во всяком случае могут прибегнуть, как к последней недоступной позиции, тогда как научное исследование мало заботится уже о такого рода противодействии и продолжает итти своим путем. Так часто было, и так вероятно еще часто будет.

В рассматриваемом случае подобные эмпирические закономерности установились постепенно с такой полнотой, что вопрос о существовании абсолютной величины атомного веса очень скоро был решен в положительном смысле. Я должен указать здесь только на развитие кинетической теории газов и жидкостей, на законы излучения света и тепла, на открытие катодных лучей и радиоактивности, на измерение элементарной массы электричества, которые все ведут различными путями к той же величине атомного веса. Ныне ни один физик не сделает возражения против утверждения, что вес атома водорода, не считая неизбежных ошибок измерений, составляет 1,649 квадриллионную часть грамма,—число, значение которого независимо от атомных весов других химических элементов и которое в этом смысле может быть названо абсолютной величиной.

Милостивые государыни и государи! Прошу прощения, если я позволил себе напомнить вам много знакомого. Поистине это произошло не с целью поучать вас, но лишь затем, чтобы обратить ваше внимание на характерное явление в развитии научного исследования, которое все снова и снова наблюдается в различной обстановке. Ибо в каждой области науки работают с помощью аксиом, и в каждой области есть пуристы, которые склонны противиться всеми средствами всякому расширению признанных гипотез за пределы формальной логики.

Теперь, желая представить вам другие случаи, я подхожу, наконец, к обсуждению вопросов, которые не так ясны и определенны, как выше рассмотренные, и потому вызывают еще ныне оживленную борьбу.

Прежде всего я обращаюсь к понятию **энергии**. Принцип сохранения энергии развился из механического принципа живой силы, гласящего, что приращение живой силы движущегося тела, наступающее при каком-либо механическом процессе, равно уменьшению потенциала сил, действующих на тело. Изменение одного вида энергии, кинетической энергии, таким образом точно уравновешивается равным изменением другого вида энергии, потенциальной энергии. И здесь пуристы могут в известном смысле с полным правом выставить утверждение, что, так как в формулировке принципа энергии речь идет лишь о разностях энергии, то и понятие энергии относится не к состоянию, но к перемене состояния, и потому в выражении энергии остается неопределенной добавочная постоянная. Спрашивать о ее величине так же не имеет физического смысла, как при постройке дома для архитектора не имеет практического смысла вопрос о высоте отдельных этажей над уровнем моря; здесь дело идет только о разницах.

Против такой точки зрения нельзя было бы ничего возразить, если бы принцип сохранения энергии был единственной аксио-

мой физики. Но так как этого нет, то во всяком случае [illegible] просто отклонить вопрос; не лучше ли приписать понятию [illegible]гии, введением новой аксиомы, абсолютное значение постоя[illegible] поскольку ее величина считается вполне определенной [illegible]щим состоянием. Большое упрощение, которое получило бы [illegible]нятие энергии, равно как и приложение принципа энергии [illegible] таком взгляде, очевидно. Действительно, в настоящее время взгляд этот достиг полного признания. Мы можем всякому физическому образованию в данном состоянии приписать величину энергии в определенном смысле без всякой добавочной постоянной.

Сначала возьмем электромагнитную энергию в совершенной пустоте. Здесь аксиома, определяющая абсолютную величину энергии, состоит в том, что энергия нейтрального электромагнитного поля считается равной нулю. Это предположение не разумеется само собою и не может быть выведено из принципа энергии. Несколько лет тому назад Нернст установил гипотезу, что в так называемом нейтральном поле имеется стационарное излучение энергии огромной величины, так называемое излучение нулевой точки: излучение это, правда, незаметно при обычно наблюдаемых процессах, так как оно равномерно проникает все тела, но при особых условиях может обнаружиться подобно давлению воздуха, которое, представляя значительную силу, не играет роли в большинстве движений, наблюдаемых нами, так как оно везде действует равномерно по всем направлениям. Поэтому такая гипотеза излучения вполне оправдывается; ее значение может быть установлено только наблюдением ее последствий, из которых наиболее сомнительно, что она определила бы специальную покоющуюся систему отсчета (Bezugssystem), именно ту, в которой излучение нулевой точки равно по всем направлениям. Абсолютной энергией нейтрального поля естественно определяется и абсолютная энергия всякого другого электромагнитного поля.

Переходя затем к энергии вещества, мы можем и в ней найти определенную абсолютную величину. Но энергия покоющейся точки не равна нулю, как можно бы предполагать по аналогии с нейтральным электромагнитным полем, она равна произведению его массы на квадрат скорости света. Это—так называемая энергия покоющегося тела; она зависит от его химического состава и его температуры. Если тело приводится в движение силой, то эта величина, вообще достигающая огромных размеров, совсем не проявляется, потому что здесь дело идет только о разностях энергии. Я уже выше показал, что такие своеобразные воззрения могут быть получены не только из принципа энергии. Действительно они коренятся в специальной теории относительности. Следует назвать замечательным совпадением то, что именно теория относительности привела к определению абсолютной величины энергии физической системы. Видимая парадоксальность этого сопоставления об'ясняется просто тем, что в теории относительности дело идет о зависимости от избранной системы отсчета, а здесь о зависимости от физического состояния рассматриваемого образования.

Но пуристы могли бы спросить, действительно ли разумно утверждать, что энергия атома кислорода в 16 раз больше энергии атома водорода? И они были бы правы, если бы было просто

нелепо говорить о превращении кислорода в водород. Однако всегда рискованно об'являть что-либо нелепым, пока оно не противоречит ни одному закону логики, и потому лучше выждать, не придет ли время, когда вопрос о таком превращении получит разумное значение. Признаки этого в настоящее время уже налицо.

Как в случае электромагнитной и кинетической энергии, так и во всех областях физики, в механике, так и в электродинамике, рассмотрения разностей энергии, получаемых непосредственным измерением, привели к рассмотрению абсолютных величин энергии. Этим путем всегда достигался известный прогресс теории. Напр., в явлениях лучистой теплоты всегда принимаются в расчет лишь разности поглощенного и выделенного излучения. Ибо тело, поглощающее тепловые лучи, также выделяет их. Но по теории Прево разделяют эти две величины и придают каждой из них самостоятельное значение. В явлениях гальванизма измеряют только разности потенциалов, но говорят также об абсолютной величине потенциала, предполагая потенциал в бесконечном удалении от всех электрических зарядов равным нулю. При выделении монохроматического излучения в атоме получают измерением выделенной частоты всегда только разность атомной энергии до и после выделения, но, лишь разделяя оба члена этой разности и исследуя их отдельно, удалось Нильсу Бору в области видимых лучей, Арнольду Зоммерфельду для лучей Рентгена найти точки опоры для разрешения скрытых здесь вопросов. Таким образом понятие энергии системы в определенном состоянии везде приобрело абсолютное значение, независимое от других состояний.

Эта тенденция переходить от разности к отдельным терминам или, что то же самое, от дифференциала к интегралу, встречается как в случае энергии, так и в случае многих других физических величин. Так, в теории упругости об'емные силы сводятся к плоскостным, в электродинамике пондеромоторные электрические и магнитные силы сводятся на так называемые Максвелловы напряжения, в термодинамике величины давления и температуры—на термодинамические потенциалы. При этом всегда речь идет о восхождении или о процессе интеграции, и вопрос об абсолютной величине полученных таким образом величин высшего порядка совпадает с вопросом об определении постоянных интеграций—определении, которое постоянно требует особого исследования.

Я хотел бы здесь еще немного остановиться на одном из этих случаев, который заслуживает особого интереса потому, что он еще и в настоящее время не может считаться окончательно разрешенным. Речь идет об абсолютной величине энтропии. По первоначальному определению Рудольфа Клаузиуса для измерения энтропии тела необходимо выполнение какого-нибудь обратного процесса, из которого может быть выведена разность энтропии в начальном и конечном состоянии процесса. Следствием этого было то, что первоначально относили понятие энтропии не к состоянию, а к изменению состояния, точно так, как раньше поступали с атомным весом и энергией, а именно приписывали ему значения лишь для обратимых процессов. Однако вскоре появилось расширенное толкование, и стали рассматривать энтропию, как свойство мгновенного состояния, в котором оставалась неопределенной добавочная постоянная, так как всегда могли изме-

рить только разности энтропии. Даже если по способу Эйнштейна обосновать понятие энтропии на статистике колебаний физической системы около ее состояния термодинамического равновесия, всегда можно достигнуть только разностей энтропии, но никогда абсолютной величины ее.

Но разве нет способа найти абсолютное значение энтропии так же, как для энергии? Я далек от того, чтобы на основании аналогии ответить на этот вопрос утвердительно, и пуристы безусловно правы, когда они утверждают, что вообще не имеет смысла из величины разности заключать о величинах обоих терминов, отдельно уменьшаемого и вычитаемого. Даже в интересах составления ясных понятий безусловно необходимо в каждом случае точно установить, что можно извлечь из определения и чего нет. В этом отношении критика пуристов необходима. Они оказываются при этом добросовестными стражами порядка и чистоты в методике научной работы, которых мы ни при каких обстоятельствах не хотим нарушать, в настоящее время меньше, чем когда-либо. Но физика—не дедуктивная наука, и число ее аксиом не неизменно. Если появляется новая аксиома, то не следует закрывать ей доступ только потому, что она нам чужда, но нужно сперва испытать, из каких идей она вытекает и к каким выводам ведет.

В настоящем случае нетрудно дать идее, лежащей в основании допущения абсолютной величины энтропии, ясное и наглядное изложение. Если мы вместе с Больцманом будем смотреть на энтропию, как на меру термодинамической вероятности, то энтропия физической системы со многими степенями свободы, находящейся в термодинамическом равновесии, наделенной определенной энергией, обозначает не что иное, как число разнообразных состояний, которые такая система может принять при данных условиях. И если рассматриваемая энтропия обладает абсолютной величиной, то это значит, что число состояний, возможных при данных условиях, вполне определенное, конечное.

Во времена Клаузиуса, Гельмгольца и Больцмана такое утверждение, конечно, было бы тотчас отвергнуто, как вполне неприемлемое. Ибо, пока в дифференциальных уравнениях классической динамики видели единственное основание физики, ученые по необходимости должны были считать состояния непрерывно изменчивыми и потому число состояний, возможных при данных высших условиях, бесконечно большим. Однако со времени введения гипотезы квант дело стало иначе и, по моему мнению, в непродолжительном времени утверждение, что в определенном смысле можно говорить о дискретном числе возможных состояний и сообразно с этим об абсолютной величине энтропии,—преодолеет возражения, которые выставляются против него в настоящее время со стороны известных физиков.

В самом деле новая аксиома уже может указать результаты, могущие поспорить с выводами наилучше доказанных теорий. В области лучистой теплоты она привела к установлению закона распределения энергии в нормальном спектре, в области термодинамики она находит выражение в многократно испытанной и доказанной теории теплоты Нернста, которую она еще более дополняет, поскольку из нее выводится не только существование, но и численная величина так называемых химических постоянных. В проблемах о строении атомов она доставила идеям Нильса Бора исходный пункт для установления так называемых

стационарных путей электронов и, таким образом, предварительное условие для разрешения спектроскопических явлений. И если не обманывают нас все признаки, то с ее дальнейшим проведением подготовляется процесс, который можно понстине назвать арифметизированием физики, так как здесь ряд физических величин, которые до сих пор, не задумываясь, считали всегда непрерывными, оказываются под лупою более острого анализа дискретными и доступными перечету [1]). В том же направлении находится удивительный результат измерений, недавно выполненных в Утрехтском физическом институте по предложению его руководителя Л. С. Орнштейна, именно, что отношения интенсивностей составляющих спектральных групп выражаются простыми целыми числами, равно как недавно выработанный Максом Борном интересный опыт замены дифференциальных уравнений классической механики уравнениями разностей.

Милостивые государыни и государи! Сделанный нами обзор дал нам возможность заметить в некоторых случаях из истории физики согласную везде черту, которую можно формулировать так, что известные физические величины, которым по их первоначальному представлению можно было приписать только относительную величину, приобрели в течение непрерывного развития науки самостоятельное абсолютное значение. Можно ли вообще считать эту черту за прогресс физических исследований? Было бы опрометчиво без колебаний ответить на этот вопрос утвердительно. Я даже допускаю, что противник этого мнения счел бы себя в праве начать речь и прочесть доклад, противоположный моему, с обратным заглавием: от абсолютного к относительному. И он нисколько бы не затруднился добыть подходящий материал для защиты своей точки зрения. Быть может, он подобно мне начал бы с понятия атомного веса, выводя, напр., следующее: число, которое до сих пор считалось абсолютным атомным весом, на самом деле для большинства элементов вовсе не абсолютная величина. Ибо, так как элемент по правилу обладает несколькими изотопами с различным атомным весом, то измеренный атомный вес представляет более или менее случайную среднюю величину, вполне зависящую от того, в каком смешении различные изотопы представлены в исследуемом препарате. Даже имея в виду один только изотоп, было бы совсем ненаучно с точки зрения наших современных знаний рассматривать его, как нечто абсолютное. Более соответствует современным воззрениям, опирающимся на разрушение атомных ядер, выполненное впервые Э. Резерфордом, возвратиться к старой гипотезе Проута и считать все химические элементы построенными из одного, водорода. Но таким образом понятие атомного веса в основании своем лишается абсолютного характера и квалифицируется, как чисто относительное число.

После такого видимого успеха противник мой, вероятно, решился бы пустить в ход свой главный козырь: всеобщую теорию относительности Эйнштейна. Здесь уже было бы достаточно одного названия модного слова, чтобы представить устарелой и отсталой всякую попытку уразуметь в понятиях «пространство» и «время» нечто абсолютное.

---

[1]) Всякому диалектику ясно, что это «арифметизирование» физики не что иное, как ступень диалектического процесса. З. Ц.

Но следует остерегаться из слов и обозначений, быть может, не во всех отношениях удачно выбранных, выводить реальные следствия. Уже выше шла речь о том, что теория относительности действительно привела к нахождению абсолютной величины энергии, и было бы свидетельством довольно поверхностного образа мыслей остановиться на признании необходимой относительности пространства и времени и не спросить далее, куда же ведет эта относительность. Конечно, в истории наук часто случалось и по правилу обозначало основательный прогресс, когда известные понятия, имевшие долгое время абсолютное значение, оказывались лишь относительно верны. Но таким образом абсолютное не исключалось, но лишь отодвигалось дальше. Полное отрицание абсолютного, по моему мнению, обозначало бы то же, как если бы некто, в поисках причины наступившего события, сделав открытие, что обстоятельство, принимаемое им за искомую причину, не может считаться таковой, хотел из этого заключить, что событие вообще не имело причины. Нет, признавать все относительным можно так же мало, как все определять или все доказать. Ибо, как при всяком образовании понятий, надо исходить по крайней мере из одного понятия, не нуждающегося в особом определении и как всякое доказательство должно пользоваться верхней посылкой, очевидной без доказательства, так и все относительное в последнем основании связано с чем-либо самостоятельным абсолютным. Иначе понятие, доказательство или относительное висит в воздухе подобно сюртуку, для которого нет гвоздя, чтобы его повесить. Абсолютное представляет необходимый, прочный исходный пункт; его надо только искать в надлежащем месте.

После этих соображений действительно нетрудно найти надлежащий ответ на утверждения изображенного противодоклада.

Сведение атомных весов всех элементов на атомный вес водорода, если оно действительно осуществится, будет представлять одно из основных достижений, созревших в научном исследовании материи. Его значение состоит в том, что в свете этого познания вся материя представляет единое начало. Тогда обе составные части водородного атома: положительно заряженное ядро, так называемый протон, и отрицательный электрон вместе с элементарным количеством действия образуют камни, из которых строится здание физического мира, и этим величинам, пока еще нельзя свести друг на друга или на другие величины, надо приписать абсолютный характер. Итак, здесь мы опять имеем абсолютное, только на высшей ступени и в упрощенной форме. Чтобы еще продолжить нить сравнения, мы спросим теперь о фундаменте, на котором возвышается мощное здание физического мира. Познание, добытое Альбертом Эйнштейном, о том, что наши понятия пространства и времени, которые Ньютон, а также Кант положили в основание своего хода мыслей, как абсолютно данные формы нашей интуиции, обладают в известном смысле лишь относительным значением, ввиду произвола, лежащего в выборе исходной системы и способа измерений,—познание это захватывает, может быть, глубже всего корни нашего физического мышления. Но, если лишить пространство и время абсолютного характера, то он еще не будет устранен из мира, но лишь отодвинут назад, а именно в число измерений четырехмерного многообразия, которое обусловлено тем, что пространство и время сли

ваются посредством скорости света в единую непрерывность. Эта система измерений представляет нечто освобожденное от всякого произвола, самостоятельное и потому абсолютное.

Таким образом, и в теории относительности, многократно вызывавшей недоразумения, абсолютное не устранено, а напротив еще резче выражено то, насколько физика со всех сторон опирается на абсолютное, лежащее во внешнем мире. Ибо, если бы абсолютное, как принимают некоторые теоретики познания, можно было найти лишь в собственном переживании, то по существу должно было бы быть столько видов физики, сколько физиков, и мы без всякого понимания стояли бы перед фактом, что по крайней мере доныне оказалось возможным построить и вывести физическую науку, содержание которой одинаково для всех исследующих умов, при всем разнообразии их отдельных переживаний. То, что не мы создаем внешний мир по основаниям целесообразности, а, наоборот, он сам со стихийной силой навязывается нам,—это пункт, который в наше сильно проникнутое позитивистскими течениями время не должен оставаться невыраженным, как сам собою разумеющийся. Стремясь при каждом явлении природы от единичного, условного и случайного ко всеобщему, реальному и необходимому, мы ищем позади зависимого независимое, за относительным абсолютное, за преходящим непреходящее. Поскольку доступно моему взору, эта тенденция обнаруживается не только в физике, но и во всякой науке, даже не только в области знания, но и в области добра и красоты.

Но здесь я рискую уклониться от моей темы, ибо я не имел в виду выставлять утверждений и потом доказывать их, а, наоборот, я хотел сначала заставить говорить некоторые факты физики и к ним присоединить несколько связных размышлений.

Поэтому в заключение—еще один близкий, но коварный вопрос. Кто ручается нам, что понятие, которому мы ныне приписываем абсолютный характер, быть может, уже завтра не окажется в известном новом смысле относительным и не уступит высшему абсолютному понятию. Здесь возможен лишь один ответ: после всего пережитого и изведанного нами, никто в мире не может дать такого ручательства. Мы даже можем с полной уверенностью утверждать, что абсолютное никогда не будет достигнуто нами. Скорее абсолютное образует идеальную цель, которую мы постоянно имеем перед глазами, никогда не будучи в состоянии достигнуть ее,—мысль, может быть, и горестная, с которою, однако, мы должны считаться. С нами происходит здесь то же, что с туристом в незнакомых горах, который никогда не знает, не поднимается ли за вершиной, которую он видит перед собой и куда он стремится с трудом, еще более высокая вершина. Но как ему, так и нам может служить утешением, что мы все-таки идем вверх и вперед, и нам ничто не мешает неограниченно близко подойти к цели наших стремлений. Вести это приближение все далее и все ближе, выражать его есть собственно неизбежное стремление всякой науки и здесь мы можем сказать вместе с Лессингом: не обладание истиной, но счастливая борьба за нее составляет счастье исследователя, ибо всякое замедление утомляет и ослабляет на долгое время. Сильная, здоровая жизнь процветает только в работе и прогрессе. От относительного к абсолютному.

Приспособление к среде и эволюция

Ж. Леб.

(Предисловие Б. Завадовского).

В прилагаемой статье мы об'единили две главы из той же книги Леба: «Организм, как целое, с физико-химической точки зрения», которую читатель знает уже из № 12 журнала за [illegible] год. Поскольку нам известно, это единственное место, где Леб с полной отчетливостью формулирует свои воззрения на этот узловой вопрос биологии, и где он специально останавливается на вопросах о наследовании приобретенных признаков и проблеме целесообразности, так волнующих не только специалистов биологов, но и широкие круги общества.

Несомненно, что именно мнение Леба, являющегося наиболее прямолинейным и последовательным материалистом среди наших современников-биологов, представляет огромный интерес. Оно тем более интересно, что оно расходится с той точкой зрения, которая поддерживается известной частью русских авторов, стремящихся доказать, что только ламаркистская точка зрения может быть примерена с материалистическим мировоззрением.

Откладывая выявление моей личной точки зрения до специальной статьи по этому поводу, считаю своим долгом указать здесь, что в соображениях Леба исчерпывается значительная доля аргументов, освещающих чисто методологическую необоснованность того мнения, которое связывает материалистическое понимание эволюции с передачей приобретенных признаков. И в этом отношении, как всегда, анализ Леба выделяется поразительной ясностью и красивой простотой, которая так подкупает и так понятна всякому. Он убеждает, что современные спорные проблемы эволюционного учения должны разрешаться людьми, владеющими, как Леб, методами и методологией экспериментора-физиолога, но не биологами морфологического и систематического направления.

Вместе с тем, нам кажется, что для правильного решения поставленных здесь вопросов за последние годы, истекшие со времени опубликования этой книги Леба, накопились новые данные, которые позволяют высказываться по многим вопросам более определенно и решительно, хотя и не во всем так, как это думает Леб. Выяснение этих положений я надеюсь осуществить в ближайшем будущем.

Приспособление к среде и эволюция.

(Главы XII и XIII из книги Леба «Организм, как целое, с физико-химической точки зрения». Перевод В. А. Дорфмана под ред. Б. М. Завадовского).

1. Некоторые биологи допускают, что среда воздействует на организм, в сторону увеличения приспособленности последнего. Правильность подобного предположения не противоречила бы физико-химической концепции жизни, и оставалось бы только об'яснить действие того механизма, который вызывает появление адаптации. Известны, однако, поразительные случаи, предостерегающие нас от признания безусловной верности взгляда, который приписывает среде способность вызывать в организме адаптивные изменения. Так, например, в 1889 году автор показал, что положительный гелиотропизм встречается иногда у таких животных, для которых он не может иметь практического значения, как, например, у живущего в болоте ракообразного *Cuma rathkii*, а также и у гусениц ивового древоточца, живущих под корой деревьев. Такой факт в настоящее время нам понятен, так как известно, что появление гелиотропических реакций зависит от наличия у животных светочувствительных веществ; отсюда ясно также, что вопрос упражнения или неупражнения не имеет ничего общего с образованием в теле некоторых безвредных химических соединений. Еще более поразительный пример наблюдается в области гальванотропических явлений. Гальванотропические реакции свойственны многим организмам, однако, как показал автор много лет тому назад, гальванотропизм есть продукт чисто лабораторных условий, и ни одно животное никогда, вне лаборатории, не подвергается действию постоянного тока. Этот факт ставит втупик как защитников теории подбора, так и сторонников Ламарковских воззрений (которые не в состоянии об'яснить, каким образом указанный тропизм мог возникнуть под влиянием внешних условий), так и виталистов, которые должны будут допустить, что гены и супергены обнаруживают иногда странные капризы. Наиболее устойчивой является позиция физика, который считает, что реакция и структура животных есть результат воздействия физических и химических сил, и что последние целесообразны не больше, чем законы, управляющие движением солнечной системы. С такой точки зрения понятно возникновение крайне бесполезных для организма структур и тропизмов.

2. Широко известным примером видимого приспособления животного к среде служили слепые животные, живущие в пещерах. Известно, что в пещерах весьма часто находят слепых саламандр, слепых рыб и насекомых, тогда как на открытом воздухе подобные формы встречаются сравнительно редко. На этом основании высказывалось предположение, что темнота пещеры вызывает дегенерацию глаза. Более тщательное исследование приводит, однако, к другому об'яснению. Эйгенман (*Eigenmann*) показал, что среди видов саламандр, живущих постоянно в пещерах Северной Америки, два вида обладают, повидимому, вполне нормальным зрением. К последним относятся *Spelerpes maculi-*

cauda и *Spelerpes stejnegeri*. Два других пещерных вида, *Typhlotriton spelaeus* и *Typhlomolge rathbuni*, обладают совершенно дегенерированными глазами. Если непосредственной причиной слепоты является неупражнение, то мы вправе спросить, почему формы *Spelerpes* зрячи.

Другое затруднение возникает в связи с тем, что на открытом воздухе, в неглубоких водах (на побережьи Южной Калифорнии) встречается слепая рыба, *Typhloglobius*, селящаяся под камнями в углублениях, занятых креветками. Здесь снова возникает тот же вопрос: почему, несмотря на присутствие света, формы *Typhloglobius* слепы?

Наиболее важным является, очевидно, тот факт, который был обнаружен Эйгенманом у рыб из семейства *Amblyopsidae*. Шесть видов этой группы постоянно живут в пещерах и никогда не встречаются на открытом воздухе; строение глаз у них ненормальное; другой вид живет вне пещеры, и, наконец, последний вид встречается в подземных источниках. Единственная живущая вне пещеры *Chologaster cornutus* обладает упрощенной сетчатой оболочкой и сравнительно небольшим глазом, другими словами, строение глаз этого животного ненормально.

На основании этого мы вправе предположить, что и другие представители указанного семейства, которых мы находим в пещерах, могли бы также обладать ненормальным зрением, даже если бы они никогда раньше в пещере не жили. Вышеприведенные факты ставят под сомнение старое представление, по которому пещерные животные происходят от форм с нормальным зрением, подвергшихся вследствие неупражнения постепенной, наследственно закрепленной, дегенерации.

Результаты недавних исследований над зародышами рыб *Fundulus* открыли новые методы получения слепых форм, в дополнение к старому способу лишения света. Так, например, автор нашел, что при оплодотворении яйца *Fundulus* спермой совершенно другого вида, а именно *Menidia*, далеко не редко наблюдалось появление слепых зародышей; последние обладали дегенеративными глазами, характерными для слепых пещерных форм. Весьма часто отыскать какой-нибудь другой наружный след глаза, кроме скопления пигмента, оказывалось невозможным, при тщательном же гистологическом исследовании иногда можно было обнаружить рудименты хрусталика и других тканей глаза.

Другой метод искусственного получения слепых зародышей рыб заключается в воздействии на яйцо непосредственно и очень скоро после оплодотворения температурой в пределах от до 2°Ц. Многие зародыши при этом погибают, остающиеся в живых весьма напоминают гибридов, получаемых от скрещивания *Fundulus* и *Menidia*, т.-е. известное число их обнаруживает полнейшую дегенерацию глаз. Если же яйца содержали зародышей, то они при 0° могли оставаться в живых дольше месяца, давая вполне зрячих зародышей. Иногда можно было создать образование рудиментарных глаз, если яйца содержались в растворе, к которому прибавлялось ничтожное количество КС... Стоккарду (*Stockard*) удалось вызвать у *Fundulus* образование циклопического глаза, путем прибавления к морской воде, в которой развивались яйца, избыточного количества соли магния

или алкоголя. Этот результат был подтвержден и дополнен Мак Клендоном.

Повторные попытки автора добиться появления форм с недоразвитыми глазами, путем содержания зародышей в темноте, кончались полной неудачей. Несмотря на то, что сперма яйца сохранялась в темноте, все без исключения зародыши обнаруживали нормальное строение глаз.

Пэйн (*Payne*) вырастил в темноте последовательно шестьдесят девять поколений *Drosophila*; глаза и реакции этой мушки на свет оставались все же совершенно нормальны.

Недавно Уленгут дал весьма наглядное доказательство того, что развитие глаз не зависит от воздействия света и от того, функционируют глаза или нет. Он пересаживал глаза молодой саламандры в различные части тела, изолируя их от иннервирующих зрительных нервов. После трансплантации наступала дегенерация глаз, вслед за тем имела место полная их регенерация. Уленгут показал, что регенерация наступала в совершенной темноте и что трансплантированные глаза не обнаруживали никаких отклонений от нормы у таких саламандр, которые содержались в темноте в течение пятнадцати месяцев. Таким образом глаза, находившиеся вне связи с центральной нервной системой, лишенные света и возможности функционирования, регенерировали и сохранили свое нормальное строение. Дегенерация, наступавшая непосредственно после трансплантации, являлась, очевидно, результатом остановки циркуляции крови в глазу; после восстановления последней, по всей вероятности, и начинался процесс регенерации.

Что касается наших собственных опытов, то удалось показать, что во всех тех случаях, когда имеет место дегенерация глаза, циркуляция у зародышей оказывается при этом нарушенной. Гибриды, получаемые при скрещивании *Fundulus* и *Menidia*, часто содержат сокращающееся сердце, циркуляция же наблюдается редко (несмотря на присутствие крови); то же явление наблюдается и у зародышей, которые на ранней стадии своего развития подвергаются действию низкой температуры. Приведенные нами факты согласуются в том, что условия, вызывающие неправильное кровеобращение (а следовательно, и ненормальное или недостаточное питание эмбрионального глаза) могут препятствовать развитию глаза и таким образом приводить к образованию слепых рыб. Эйгенман утверждает, что в глаз слепой пещерной саламандры не вступает ни один кровеносный сосуд. Присутствие или отсутствие света обычно не имеет никакого отношения к условиям циркуляции или питания в глазу зародыша, а потому этот фактор, как правило, не приводит к образованию дегенеративных глаз.

Все это должно, повидимому, привести нас к допущению, что в случае недоразвития глаз у слепых рыб решающим фактором являются не отсутствие света, а условия, находящиеся в тесной связи с условиями циркуляции крови в эмбриональном глазу. Подобные условия могут быть обязаны своим происхождением какой-нибудь аномалии зародышей плазмы или одной из хромосом. Природа и причина этой аномалии не поддаются пока определению, однако такая аномалия, поскольку она имеет место в зародышевой плазме, должна быть наследственной. Этим

путем можно было бы об'яснить, почему в пещерах могут встречаться животные с прекрасно развитыми глазами, а под открытым небом—абсолютно слепые формы. Один пункт все же оставался бы необ'яснен, а именно, большая частота появления слепых видов в пещерах или в темноте и относительная редкость подобных форм в условиях нормального освещения.

Эйгенман показал, что все живущие в пещерах формы были приспособлены к жизни в темноте до того, как они попали в пещеру [1]). Все эти животные обнаруживают отрицательный гелиотропизм и положительный стереотропизм [2]), а в силу этих своих свойств животные бывают вынуждены вступить в пещеру, как только они очутятся у ее входа. Даже те формы амблиопсид, которые живут под открытым небом, обнаруживают тропизмы пещерного обитателя. Это устраняет всякое представление о том, что пещера якобы приспособляет животных к жизни в темноте.

В пещерах могут развиваться только те животные, которые для добывания пищи и для спаривания не нуждаются в зрительных механизмах и, обратно, животные, не снабженные зрительным механизмом, в состоянии выдержать борьбу с конкурирующими с ними под открытым небом зрячими животными только в исключительных случаях. Этим, возможно, и об'ясняется тот факт, что в пещерах слепые формы встречаются в большем количестве, чем на свету.

Другими словами, приспособление слепых животных к пещере только кажущееся; они были приспособлены к пещерной жизни до своего появления там. Многие животные поражены, очевидно, зародышевой аномалией, которая влечет за собой несовершенство и недоразвитие глаза, при чем принимающий участие здесь наследственный фактор может быть каким-нибудь образом связан с развитием кровеносных и лимфатических сосудов глаза. Подобные мутанты могут гораздо легче выживать в пещере, чем под открытым небом, где им пришлось бы выдержать борьбу со зрячими формами. Наследственная форма слепоты известна также и у человека; это—так называемая наследственная глаукома. Она не имеет ничего общего с воздействием света и, очевидно, обязана своим происхождением наследственной аномалии в циркуляции глаза.

Каммерер сообщил недавно, что, выдерживая в известных условиях освещения слепую европейскую форму пещерной саламандры *Proteus anguinus* (протея), он добился появления двух индивидов с глазами больших размеров. Согласно его заявлениям, глаза *Proteus* могут развиваться до известного предела, вслед за чем развитие их снова идет в обратном направлении. Он утверждает, что, подвергая молодых саламандр поочередно в течение 1—2 недель действию света и темноты, при чем в по-

---

[1]) Кено для таких случаев предложил термин предадаптация, что правильно определяет положение вещей. Cuénot, L. *La Génèse des Espèces animales* Париж 1911 (этот термин Кено: «предадаптация» получил в русской литературе также иной перевод: предварительное приспособление. *Прим. ред.*

[2]) Отрицательный гелиотропизм обусловливает движение животного от света в темноту, а стереотропизмом обусловливается стремление животных удерживаться подолгу в соприкосновении с другими предметами,—напр., заползание в щели, в углубления и т. д. (*Б. З.*).

следнем случае животные подвергались действию красного калильного пламени, он вызвал у двух самцов некоторое увеличение размеров глаза. В течение первого года не наблюдалось никаких изменений. На следующий год можно было заметить под кожей ничтожное увеличение размеров глаза. На третьем году глаза выступили немного вперед, и это изменение в течение четвертого года несколько усилилось.

В биологии животных до сих пор зарегистрирован только один случай воздействия света на образование органов. Автор нашел, что регенерация полипов у гидроида *Eudendrium* имеет место только на свету. Продолжительность действия света может быть относительно незначительной, как это утверждает Гольдфарб. Возможно, что *Ploteus* в этом отношении напоминает *Eudendrium*; следует, однако, заметить, что из различных форм, испытанных автором в течение целого ряда лет, один только *Eudendrium* позволил обнаружить подобное влияние света. Конечно, вполне возможно, что свет воздействует рефлекторно на развитие кровеносных сосудов глаза некоторых животных, например, *Ploteus*, способствуя, таким образом, некоторому увеличению размеров глаза.

Итак, мы приходим к тому выводу, что слепота животных вызвана не их пребыванием в пещере, но что животные с наследственной тенденцией к дегенерации глаз могут выжить скорее в пещере, чем под открытым небом, где им это удается только в исключительных случаях. Причиной дегенерации является нарушение циркуляции и питания глаза, что, как правило, не зависит от присутствия или отсутствия света.

Мы позволим себе уклониться несколько в сторону, чтобы рассмотреть один из поразительных случаев адаптации, а именно образования прозрачных светопреломляющих сред, особенно же хрусталика, впереди сетчатой оболочки. Благодаря этим средам лучи, посылаемые светящейся точкой, могут соединяться, давая таким образом изображение на сетчатке. Одна сторона указанного процесса, а именно—образование хрусталика, не вызывает никаких затруднений. Куда бы ни пересадить глазный бокал зародыша под эпителий, из бокала всегда образуется прозрачный хрусталик. Если верхний край радужной оболочки саламандры не поврежден, так что клетки в состоянии еще делиться, то масса новообразовавшихся клеток становится также прозрачной; таким путем и образуется хрусталик. Это явление указывает на существование в глазном бокале какого-то вещества, которое делает клетки эпителия прозрачными, а также ограничивает размеры образующегося хрусталика. Последний не всегда является совершенным оптическим инструментом—напротив, как правило, он всегда несколько недоразвит. Конечно, огромное число деталей, касающихся регенерации глаза, ждут еще своего разрешения.

3. Хорошо известно, что большинство морских животных погибает, если их перенести в пресную воду—и, наоборот, в соленых озерах или прудах, где концентрация соли настолько высока, что животные, внезапно перенесенные в такой раствор, вскоре погибают, мы находим ограниченную фауну и флору. Обычно считают, что морские животные приспособляются к пресной воде или к соленым озерам—особенно в тех случаях, когда изменения

наступают постепенно. Можно все же показать, что существование столь различных форм животных может быть об'яснено без допущения адаптивного действия среды.

Автор работал над морской формой *Fundulus*, яйца которой, нормально развивающейся в морской воде, могут, однако, развиваться и в дестиллированной, а вылупившиеся в дестиллированной воде молодые рыбки выживают и растут в этой среде. Большинство же взрослых форм погибает через несколько часов после того, как они перенесены внезапно в дестиллированную воду; они выживают, однако, в пресной воде, к которой прибавлены следы соли.

Они выживают также и в концентрированной морской воде, например, при концентрации вдвое выше нормальной. Вообразим, что залив океанского берега, в котором живут такие рыбы, внезапно изолируется от океана материком, вследствие чего концентрация морской воды повышается, допустим, в два раза; большинство рыбы при этом погибает, остаются только *Fundulus* и, возможно, немногие другие виды, которые обладают некоторой устойчивостью. Исследователь, испытывающий соленость воды и незнакомый с естественной устойчивостью *Fundulus*, по отношению к изменениям концентрации, склонен будет предположить, что перед ним пример постепенного приспособления животного к более высокой концентрации морской воды, тогда как, на самом деле, рыба заранее, еще до повышения концентрации, обладала устойчивостью по отношению к такой среде.

Указанная рыбка казалась весьма благодарным об'ектом, на котором можно было бы показать, насколько адаптация к среде, действительно, имеет место. Результат оказался поразительным. Постепенно изменяя концентрацию морской воды, можно усилить естественную устойчивость этой формы лишь в ничтожной степени—немногим больше, чем на десять процентов. Концентрация природной морской воды несколько превышает $m/2$ раствор $NaCl+KCl+CaCl_2$, в котором эти три соли содержатся в таком же отношении, что и в морской воде. Если взрослые *Fundulus* помещены в $10/8m$ раствор $NaCl+KCl+CaCl_2$ (при таком же отношении этих солей, что и в морской воде), то они погибают еще в тот же день; если перенести их прямо из морской воды в $9/8m$ раствор, то они могут здесь жить неопределенно долго. Было найдено, что при постепенном повышении концентрации морской воды (на $1/8m$ в день) животное на пятый день в состоянии было перенести $10/8m$ раствор $NaCl+KCl+CaCl_2$ в течение месяца (а возможно и неопределенно долго—опыт был через месяц прекращен). Если путем медленного испарения (при комнатной температуре) $10/8m$ раствор становился все более насыщенным, то все рыбки быстро погибали, когда концентрация достигала $12/8m$ или даже еще раньше. При более высоких концентрациях они выживали только один—два дня. Эти опыты показывают, что, будучи естественно устойчива к $9/8m$ раствору $NaCl+KCl+CaCl_2$, *Fundulus* может быть приспособлена к $10/8m$ или $11/8m$ раствору (но не больше), методом медленного повышения концентрации. Приспособившись однажды к $10/8m$ раствору, рыбки эти могут, без всякого для них вреда, быть внезапно перенесены в очень слабый раствор, напр., в $m/80$ NaCl, а при обратном перемещении в $10/8m$ раствор $NaCl+KCl+CaCl_2$, они

ведут себя вполне нормально. Пребывание в течение нескольких дней в слабом растворе понижает их устойчивость по отношению к $10/8m$ раствору $NaCl+KCl+CaCl_2$.

Какие изменения наступают в рыбке, когда устойчивость ее повышается, а также почему нормальная ее устойчивость столь велика? Ответ, основанный на экспериментах автора, сводится повидимому, к следующему. *Fundulus* остается сравнительно устойчива при внезапных изменениях концентрации морской воды от $m/80$ до $9/8m$ по той причине, что она обладает относительно непроницаемой кожей, проницаемость которой изменяется в ничтожной степени при внезапных изменениях концентрации в указанных пределах; при более высоких концентрациях, действию которых рыбка подвергается внезапно, кожа становится проницаемой, и животное погибает, вследствие того ли, что жабры ее теряют свою пригодность, или же нервы поражаются диффундирующей в организме солью.

Тот факт, что животное остается устойчивым при медленном повышении концентрации до $10/8m$, на самом деле не является адаптацией. Между ядовитой и неядовитой концентрацией нет резкой границы. Мы уже видели, что рыбка естественно устойчива в растворах $9/8m$. Она будет вести себя точно так же и в $10/8m$ или $11/8m$ растворах, если дать ей время компенсировать ядовитое действие $10/8m$ раствора восстанавливающей деятельностью своей крови или почек. Вне этого никакое повышение концентрации невозможно. Никакого приспособления в этом случае нет.

В прежних своих работах автор показал, что чистый раствор NaCl той концентрации, в которой *Fundulus* нормально живет, быстро ее убивает, тогда как при прибавлении небольшого количества $CaCl_2$ рыбка эта выживает в таком растворе неопределенно долго. Об'ясняется это тем, что чистый раствор NaCl способен диффундировать в ткани животного, тогда как следы $CaCl_2$ делают оболочку практически непроницаемой для NaCl. В связи с этим возник следующий вопрос: можно ли повысить сопротивляемость рыбки по отношении к чистому раствору NaCl достаточно высокой концентрации, а если можно, то каким путем? Согласно теории адаптивного действия среды следовало бы ожидать, что, при постепенном повышении концентрации чистого раствора NaCl, последний будет постепенно вызывать в животном соответствующие изменения, которые приведут, в конце-концов, к появлению большей устойчивости. Поэтому, следовало бы поместить рыбку сперва в раствор низкой концентрации NaCl и постепенно переносить ее в растворы возрастающей концентрации. Такой метод был испытан, но он оказался бесплодным для наших целей. Перенесенные из морской воды (после промывания) в $6/8m$ раствор NaCl, *Fundulus* погибают в течение четырех часов. Если держать их предварительно в более слабом растворе NaCl, то они умирают чуть ли не быстрее. В $6/8m$ растворе NaCl их можно, однако, сохранять дольше; в этом случае приходится прибегнуть к методу, который идет вразрез с представлением об адаптивном влиянии среды. Если сперва обработать яйца морской водой (или смесью $NaCl+KCl+$ $+CaCl_2$) более высокой концентрации так, чтобы они приспособились к $10/8m$ раствору морской воды или к $10/8m$ раствору $NaCl+$

+Nacl+Cacl$_2$, то они становятся более устойчивы и к ядовитому действию раствора Nacl. Перенесенные в 6/8m раствор Nacl непосредственно из морской воды, рыбки погибали в течение первых четырех часов, тогда как, взятые из той же партии, но предварительно приученные описанным выше способом к действию 10/8m раствора морской воды, они выживали в 6/8m растворе Nacl в течение двух—трех дней.

Вполне возможно, что устойчивость рыбок по отношению к последующей обработке Nacl об'яснялась высокой концентрацией кальция в 10/8m морской воды. Мы знаем, почему животные эти погибают в чистом растворе Nacl, а также почему прибавление Cacl$_2$ защищает их от губительного действия этого раствора. Странным, пожалуй, кажется то обстоятельство, что там, где условия опыта ясны, мы не находим ничего, что указывало бы на адаптивное влияние среды.

4. Работы Эрлиха над трипанозомами указывают, повидимому, на замечательную приспособляемость этих организмов к действию некоторых ядов. Поскольку автор правильно понял эти опыты, они заключались в заражении мыши некоторыми расами трипанозомы, после чего в подопытное животное вводилось соединение мышьяка, которое задерживало распространение паразитов, не убивая, однако, их всех. Спустя 4—5 дней, трипанозомы переносились с этой мыши на другую, а через двадцать четыре часа новая мышь получала более сильную дозу того же мышьяковистого соединения; такой процесс повторялся несколько раз. После третьего переноса или несколько позже трипанозомы обнаруживали способность противостоять значительно более высоким дозам яда, чем в начале опыта, и такая сопротивляемость удерживалась ими в течение многих лет. Эрлих, очевидно не сомневается в том, что ему удалось превратить выживших трипанозом в новую форму, которая навеки сохранит большую способность сопротивления по отношению к соединению мышьяка, чем это было свойственно исходным формам.

Автор не вполне уверен в том, что в описанных опытах было принято во внимание одно следствие, вытекающее из исследований Иогансена над важным значением чистых линий в работах по наследственности. Согласно этому автору, взятая на удачу раса трипанозом должна, по всей вероятности, содержать население, состоящее из форм с различной степенью сопротивляемости. При повторном введении в животное высокой, но не максимальной, концентрации мышьяковистого соединения, менее стойкая часть населения трипанозом погибает, и остаются только наиболее стойкие. Естественно, что эти формы сохраняют свою стойкость и при перенесении их в новых хозяев, принадлежащих к тому же виду животных. Согласно такому толкованию, устойчивые по отношению к мышьяку формы, возможно, существовали еще до начала опытов, и метод Эрлиха сводился, таким образом, только к элиминированию наименее устойчивых.

С другой стороны, было показано, что стойкая по отношению к мышьяку раса, будучи проведена через муху цеце, теряет свою сопротивляемость. Такой факт, возможно, исключает применимость теории чистых линий к вышеизложенной проблеме, однако в этом направлении, повидимому, необходимы еще дальнейшие исследования.

5. Дэллинджер (Dallinger) утверждает, что ему удалось приучить некоторых простейших к температуре в 70°, путем постепенного повышения в течение нескольких лет температуры окружающей этих животных среды. До тех пор, пока подобное утверждение не будет подтверждено, на этот счет возможны всякие сомнения. Шоттелиус (Schottelius) нашел, что колонии *Micrococcus prodigiosus*, перенесенные из 22° в температуру 38°, прекращали образование пигмента и триметиламина. После того, как эти кокки культивировались в течение десяти или пятнадцати поколений при 38°, они теряли способность образования пигмента даже при обратном перенесении в температуру 22°Ц. Дьедоннэ пользовался для подобных же опытов *Bacillus fluorescens*. При 22° эта форма производит флуоресцирующий пигмент и триметиламин, образование которых при 36° прекращается. Непрерывно культивируя указанную бациллу при 35°, Дьедоннэ нашел, что пятнадцатое поколение обнаружило способность вырабатывать пигмент и триметиламин при 35°. Дэвенпорт и Кестль нашли, что головастики лягушки, содержавшиеся 15°, переходили в состояние теплового окоченения при температуре в 40,3° *Ц*, тогда как формы, сохранявшиеся в течение двадцати восьми дней при температуре 25°, обнаруживали то же состояние при более высокой температуре в 43,5°. При обратном же перенесении последних в температуру 15°, действию которой они подвергались в течение семнадцати дней, головастики теряли свою стойкость к высокой температуре только частично; тепловое окоченение наступало у них при 41,6°. Указанные авторы предполагают, что подобное приспособление к высокой температуре об'ясняется потерей воды протоплазмой, вследствие чего последняя при повышении температуры становится более стойкой. Это предположение было проверено Крыжом, который показал, что температура коагуляции мышечной плазмы не меняется, если содержать холоднокровных животных при различных температурах.

Леб и Уэстенейс нашли, что *Fundulus*, внезапно перенесенная из температуры в 10°*Ц* в морскую воду, нагретую до 29°*Ц*, умирает в течение первых двух часов, если же ее перенести внезапно в морскую воду, нагретую до 35°*Ц*, то она погибает уже в течение нескольких минут. Если, однако, животное предварительно оставалось в течение сорока пяти часов при температуре 27°*Ц*, то в 35° морской воде оно выживало неопределенно долго. Подвергая рыбку каждый день в течение двух часов действию постепенно повышающейся температуры, удается приучить ее к температуре 39°. Замечательно, что, приобретая однажды стойкость к высокой температуре (35°), животные не теряли эту свою способность, даже если они помещались на четыре недели в среду, температура которой доходила до 10°—14°*Ц*. Контрольные рыбки, содержащиеся при той же температуре, погибали в течение 2—4 минут; приученные же формы, перенесенные непосредственно от 10° к 35°*Ц*, жили в течение многих часов или неопределенно долго. Они сохраняли приобретенную таким путем стойкость даже в тех случаях, когда в течение двух недель подвергались действию температуры в 0,4°*Ц*.

Чем об'яснить то обстоятельство, что животное оказывается гораздо более стойким к воздействию высокой температуры и

том случае, когда последняя повышается постепенно, чем если она подымается внезапно? Аналогичное явление можно встретить и в области физических наук: стеклянный сосуд быстро лопается при внезапном повышении температуры и остается целым при постепенном ее повышении. Стекло—плохой проводник, а потому при внезапном повышении температуры внутри сосуда, внутренний его слой расширяется, тогда как наружный, вследствие медленной проводимости тепла, расширяется в меньшей степени, в результате чего сосуд лопается. Можно допустить, что внезапное повышение температуры вызывает некоторые изменения в клетке (напр., повышение проницаемости или разрушение поверхностного слоя?). Если повышение температуры идет медленно, то кровь или лимфа или клеточный сок успевают восстановить урон, причиненный поднятием температуры; последнее представляет, повидимому, необратимый процесс, по крайней мере, в течение некоторого периода, как это доказывают, повидимому, опыты над *Fundulus*. При слишком быстром повышении температуры клетка или жидкости тела не успевают компенсировать произведенные температурой нарушения.

Следует также иметь в виду, что при повышении температуры в теле могут образоваться вещества, отсутствующие при более низкой температуре, и *vice versa*; этим, возможно, и об'ясняются результаты, полученные Шоттелиусом, Дьедонне и многими другими.

6. Теория адаптивного влияния среды часто связывалась с допущением о наследовании приобретенных признаков. Заявления старых авторов, якобы доказавших возможность наследственной передачи приобретенных признаков, как, напр., опыты Броун-Секара (*Broun-Séquard*) над эпилепсией у морских свинок, вызванной перерезкой седалищного нерва, оказывались необоснованными или получали иное, более рациональное об'яснение. Недавно, однако, появились работы Каммерера, который утверждает, что ему, будто, удалось наследственно закрепить изменения, экспериментально вызванные воздействием среды.

Выше было указано, что зрелые самцы лягушек и жаб содержат во время течки на пальцах или на передних лапах мозоли пигментированного вещества, состоящего из многочисленных крошечных роговых игл, окрашенных в черный цвет. Эти вторичные половые признаки служат самцу для удерживания самки в воде во время копуляции. Среди указанных видов один вовсе лишен этих половых признаков—это самец так называемой жабы-повитухи (*Alytes obstetricans*). Животные этих видов копулируют на суше, и вполне естественно связать отсутствие у самца указанного вторичного полового признака со свойственным ему способом копуляции. Каммерер заставлял таких жаб копулировать в воде (помещая этих животных в террариум с высокой температурой). Он утверждал, что, заставляя родителей откладывать яйца последовательно, в течение нескольких нерестов, в воду, он добился, в конце-концов, появления потомков, которые сами в нормальных температурных условиях откладывали яйца в воду; другими словами, привычки этих животных изменились. Мы не станем разбирать эту сторону его заявлений, так как способы размножения животных, находящихся в неволе, очень легко становятся аномальными. Каммерер идет, однако, дальше; он

утверждает, что мужское потомство, полученное от этих спариваний, в третьем поколении обнаруживает появление на пальцах вздутий и обычной шероховатости, а в четвертом поколения наблюдается даже гипертрофия мышц передней конечности и появление окрашенных в черный цвет мозолей. Другими словами, ему как-будто удалось вызвать наследственную передачу благоприобретенных морфологических признаков, которые до того у указанного вида никогда не встречались. В виду огромного значения этого случая Бэтсон пытался подвергнуть его более тщательному разбору, который мы здесь и приводим.

«Систематики, специально изучавшие *Batrachia*, повидимому, согласны в том, что *Alytes*, по природе своей, лишена указанных образований; если же можно вызвать появление индивидуумов, обладающих этими образованиями, то, думается мне, настало время для того, чтобы подвергнуть доказательства наследственной передачи приобретенных признаков более тщательному рассмотрению. Я писал д-ру Каммереру в июле 1910 г., с просьбой прислать мне на время один из полученных им экземпляров, а посетив в сентябре того же года Биологический институт, я повторил ту же просьбу, но пока она осталась без ответа. В случаях подобного рода многое, обычно, зависит от интерпретации, сделанной в момент самого наблюдения; здесь, однако, перед нами пример, который легко можно было бы проверить на фиксированном материале».

Совсем недавно тот же автор опубликовал работу, в которой он приводит другое наследственно закрепленное морфологическое изменение, вызванное переменой внешних условий. *Salamandra maculosa* характеризуется желтыми пятнами на темном фоне кожи. Каммерер утверждает, что если держать такие формы на желтом грунте, то желтая окраска становится более интенсивной не вследствие расширения хроматофор (такое явление вполне естественно), а вследствие действительного размножения и роста желтых пигментных клеток; в то же время рост окрашенной в черный цвет кожи задерживается. Обратное наблюдается, если содержать саламандр на черном грунте; по Каммереру, в этих случаях задерживается рост желтых клеток кожи, тогда как рост черных участков продолжается. Весьма любопытно, что, по мнению этого автора, вызванные им искусственно изменения передаются по наследству. Здесь перед нами снова пример наследственной передачи благоприобретенного морфологического признака.

Мегушар повторил опыты Каммерера, но, в противоположность ему, не наблюдал никакого влияния цвета грунта на окраску саламандр. Нам известны, конечно, случаи перемены окраски у животных, заключающиеся в приспособлении цвета к окружающей среде. В этих случаях мы имеем дело с воздействием на кожу изображений на сетчатке, которое было истолковано автором, как явление телефотографии, не получившие до сих пор никакого физического об'яснения. Такое явление, однако, не приводит вовсе к каким-нибудь наследственно закрепленным изменениям окраски.

Каммерер приводит много случаев наследственной передачи приобретенных изменений инстинкта; он утверждает, напр., что интерес к музыке со стороны родителей вызывает будто бы

появление потомков с музыкальным талантом. В подобного рода утверждениях многое зависит от суб'ективного подхода наблюдателя.

Автор сильно сомневается в том, чтобы в настоящее время был достоверно известен хотя бы один случай наследственной передачи благоприобретенного признака. Зарегистрированы случаи изменений, вызванных у потомков отравлением зародышевой плазмы алкоголем, введенным в организм родителей (как это имело место в хорошо известных опытах Стоккарда) или действием очень высокой температуры на бабочек; однако во всех этих случаях зародышевые клетки подверглись изменениям под влиянием алкогольного яда или химических соединений, образовавшихся при действии очень низких или очень высоких температур. Эти случаи совершенно отличаются от приводимых Каммерером, которому удавалось, якобы, вызвать появление самцов жабы-повитухи, содержащих на пальцах скопления рогового вещества и вздутия, характерные для других видов, заставляя их родителей откладывать яйца в воду; или выращивать, якобы, саламандр с более светлой желтой окраской, подвергая окрашенных в черный цвет производителей воздействию желтого грунта. Если все же существует явление наследования благоприобретенных признаков, которое, однако, никоим образом не могло бы пролить свет на так называемые явления адаптации, то оно, во всяком случае, должно заключаться в результатах, подобных тем, которые, согласно его заявлениям, получены Каммерером.

Не отрицая всего значения об'яснений, приведенных Эрлихом по поводу его опытов над стойкими по отношению к мышьяку расами трипанозом, а также и утверждений Каммерера относительно наследственной передачи благоприобретенных признаков, автор все же считает, что необходимо затратить еще много труда, прежде че[м] эти опыты сумеют быть приложены к интересующей нас проблеме.

7. Описанное положение вещей ставит нас в затруднение. Весь одушевленный мир является, повидимому, симфонией приспособления. Мы уже указали на существование глаза с его преломляющими средами, кривизна которых и локализация выбраны настолько удачно, что более или менее точное изображение внешних предметов падает как раз на сетчатку, несмотря на то, что хрусталик и сетчатка образуются независимо друг от друга; мы указывали также и подробно рассмотрели проявления инстинктов или автоматических регуляций, необходимых для сохранения вида—взаимное притяжение обоих полов и автоматический механизм, приводящий к встрече спермы и яиц; материнские инстинкты, охраняющие молодое поколение; наконец, все те приспособления к среде, которые дают возможность добывания пищи и подходящие условия для поддержания целости организма. В состоянии ли мы об'яснить все эти приспособительные функции, обходя при этом наследственную передачу благоприобретенных признаков? Упорство, с которым некоторые авторы держатся за эту идею, диктуется их убеждением в том, что подобное представление есть единственно возможная альтернатива идеи о существовании сверх'естественных, виталистических сил. Автор же держится того мнения, что мы ни в коем случае не должны ее

висеть от допущения наследственной передачи благоприобретенных признаков, и что для об'яснения подобных случаев совершенно достаточно подойти к ним с био-химической точки зрения.

Ранние исследователи об'ясняли рост конечностей у головастика лягушки или жабы, как случай приспособления к жизни на суше. Нам известно из работ Гудернатча, что рост конечностей может быть вызван в любое время и на самых ранних стадиях развития головастика, еще неспособного жить на суше, если животное кормить щитовидной железой. Как мы уже указывали в главе VII, весьма возможно, что в естественных условиях конечности головастика начинают расти тогда, когда в кровеносной системе животного скопляется достаточное количество гормона щитовидной железы или сходного с ним вещества.

Как случай адаптации, можно рассматривать также и тот факт, что яйцо само прикрепляется к стенке матки, вызывая в последней образование отпадающей оболочки. Мы уже упоминали о наблюдениях Лео Леба, согласно которым желтое тело яичника выделяет в кровь вещество, изменяющее стенку матки таким образом, что любое соприкасающееся с ней постороннее тело (напр., яйцо) вызывает образование упомянутой оболочки. Также и здесь то, что, вследствие нашего невежества, принималось за приспособление, оказалось результатом действия определенного химического вещества, циркулирующего в теле.

К тому же разряду явлений приспособления можно, повидимому, отнести и тот факт, что развитие яиц большинства животных невозможно в отсутствии сперматозоида; мы можем, однако, подражать активирующему яйцо действию сперматозоида, пользуясь для этого определенными химическими соединениями; последнее дает нам право утверждать, что активирующее действие сперматозоида может быть обусловлено содержанием в нем подобного химического соединения.

Замечательные проявления приспособления, наблюдаемые в инстинктах спаривания, обусловлены, повидимому, определенными веществами, выделяемыми половыми железами, как это было показано Штейнахом (см. главу VII). Здесь, как и повсюду, обычное представление о процессе обратно истинному: выживают те формы, которые обладают приспособительным аппаратом, но этот аппарат они не приобретали под воздействием среды.

Зеленые растения неизбежно должны выставлять свои стебли и листья на свет, так как для них нет другого пути для образования углеводов; в равной мере, необходимо, чтобы и корни росли внутрь почвы, доставляя, таким образом, растению необходимые для выработки белков и нуклеинов азотистые вещества и фосфаты. Подобное явление, на языке сторонников адаптации, обусловлено реакцией приспособления, являющейся ответом со стороны растения на воздействие света. На самом же деле, эта реакция приспособления зависит (см. гл. X) от присутствия светочувствительных веществ, встречающихся почти у всех зеленых растений.

Льюис показал, что если пересадить глазной бокал под кожу любой части тела молодой личинки, то кожа, придя в соприкосновение с бокалом, образует хрусталик; создается такое впечатление, как если бы образование хрусталика было обусловлено химическим веществом, выделяемым глазным бокалом.

Таких примеров можно привести бесконечно много. Все они согласно показывают, что видимые морфологические и инстинктивные приспособления вызываются просто-напросто образующимися в организме химическими веществами и что нет никаких радикальных причин для постулирования наследственной передачи благоприобретенных признаков. Не следует забывать, что существует не меньше случаев, когда циркулирующие в телах химические вещества приводят к безразличным, с точки зрения целесообразности, или даже к вредным результатам. Как на пример первой категории явлений укажем на существование гелиотропизма у живущих в темноте животных организмов; ко второй категории относятся случаи наследственной передачи уродства, как, например, цветной слепоты или глаукомы.

Тогда как формы с умеренно-выраженными дисгармониями строения все-таки могут выживать, резко дефективные формы не выживают вовсе, а потому мы обычно и забываем о возможности их существования. В результате в природе превалируют случаи видимого приспособления.

Следующее наблюдение может дать представление о том, насколько ничтожно число существующих или долговечных форм, по сравнению с количеством форм, неспособных к существованию. Мы уже упоминали выше о наблюдениях Менкгауза, автора и Ньюмэна, показавших возможность оплодотворения яиц любой морской костистой рыбы спермой почти любой другой, водящейся в море костистой рыбы. Число ныне существующих костистых рыб достигает, приблизительно, десяти тысяч. Если же произвести все возможные здесь скрещивания, то в результате получится свыше ста миллионов различных помесей. Из этого числа жизнеспособными окажется только ничтожная доля одного процента (см. гл. I); недостаточность кровеносной системы обычно служит здесь препятствием для достижения зрелости. Не будет поэтому преувеличением, если мы скажем, что число ныне существующих видов представляет только ничтожную долю того их числа, которое может образоваться (а, возможно, и образуется), но которое ускользает от нашего наблюдения и гибнет, вследствие своей нежизнеспособности или недостаточности воспроизводительной функции. Если принять во внимание указанные факты, то становится ясным, что явления целесообразного приспособления могут регулироваться просто законами случая с такой же точностью, какая наблюдается в случае законов, управляющих Менделевской наследственностью.

* * *

Дарвина сравнивали с Коперником и Галилеем, поскольку все эти три исследователя освободили человеческий ум от авторитета Аристотелевской философии, которая, совместно с могущественной церковью и с хищнической системой экономики, вызвала застой, нищету, отсутствие морали, характеризующие Средние века. Коперник и Галилей первые освободили ум от представления о вселенной, созданной для целей человека; Дарвин оказал человечеству подобную же услугу, показав, что все наблюдаемое нами разнообразие органических форм возникло не из целесообразных, а из случайных изменений. В этой борьбе за освобождение ума следует вспомнить с благодарностью имена Гёксли (Huxley) и Геккеля (Haeckel), так как без их помощи

идеи Дарвина не одержали бы своей блестящей победы над человечеством.

Дарвин предположил, что некоторые флуктуирующие вариации могут суммироваться в большие изменения, давая таким образом начало новым формам.

Де-Фриз первый указал на то, что флуктуирующие вариации наследственно не закрепляются, а потому они и не могут играть той роли, которую им приписывал Дарвин, тогда как прерывистые вариации, проявляющиеся в так наз. «скачках», или мутациях, передаются по наследству. Этот момент весьма важен для истории эволюционного учения. Основы дарвиновского учения остались незатронутыми (именно—замена идеи целесообразного творения представлением о случайной эволюции); изменилось только представление о возможном механизме эволюционного процесса. По де-Фризу, существуют группы видов или отдельные виды, которые находятся в состоянии мутации. К таким формам он причисляет энотеру, над которой он производил свои наблюдения. Морган и его сотрудники открыли свыше 130 мутаций у плодовой мушки *Drosophila*. С точки зрения современных ограниченных знаний, мы должны допустить, что тенденция к образованию мутантов у различных форм выражена неодинаково резко. Независимо от того, насколько эта сторона идей де-Фриза приемлема, или нет, не может быть никаких сомнений в том, что вообще имеют место такие вариации, которые заключаются в потере и, повидимому, хотя и более редко, в приобретении или в изменении какого-нибудь Менделевского фактора. Для того, чтобы проникнуть вглубь подобного изменения, мы должны представить себе вполне определенные химические вещества, содержащиеся в одном или нескольких хромомерах и подвергающиеся некоторым химическим изменениям.

Подобный взгляд на происхождение вариаций сумел положить конец неопределенным спекуляциям, трактовавшим об эволюции одной формы из другой. Во всех тех случаях, когда выставляются подобные утверждения, мы требуем теперь экспериментальных доказательств, в результате чего число спекуляций в этой области заметно сократилось.

Возможно, что дальнейший прогресс в области эволюции должен явиться со стороны экспериментальных попыток произвольного получения определенных мутаций. Некоторые такие попытки были опубликованы, но многие из них не выходят за пределы возможных ошибок. Наиболее замечательны в этом отношении опыты Тауэра (Tower), который утверждает, что, путем весьма сложного сочетания действия температуры и влажности, ему удалось, якобы, вызвать появление определенных мутаций у картофельного жучка. Условия этих экспериментов настолько дороги и сложны, что повторение их со стороны других исследователей до сих пор было невозможно.

Однако не вполне еще достоверно, насколько простое приобретение или потеря менделирующего признака может привести к образованию нового вида. Видовая специфичность обусловлена специфическими белками (см. гл. III), тогда как, по крайней мере, некоторые факторы Менделевской наследственности, повидимому, определяются гормонами или другими веществами, которые вовсе не должны принадлежать к белкам или быть специфичными для вида.

Не из верхних десяти тысяч, а из нижних миллионов.

Г. Шмидт.

Детальное изучение всех влияний, испытываемых человеком начиная от зачатия и во всей последующей жизни, имеет огромное значение. Выяснение их позволит человечеству сознательно направлять свою жизнь, побеждая уродства, болезни, преждевременное постарение, позволит решить проблему удлинения человеческой жизни.

С этой точки зрения огромный интерес представляет изучение законов наследственности и изменчивости у человека: изучение наследования различных физических особенностей, нервно-психических и иных заболеваний, вопросов невосприимчивости к заразным болезням, влияния возраста и физиологического состояния родителей на потомство. Особенно важным представляется изучение химизма матери во время беременности и установление связи с уродствами и уклонениями от нормы в развитии тех или иных органов. Все эти вопросы представляют огромный интерес.

Однако та область науки, которая эти вопросы исследует, избрала ложный путь—вместо развития всесторонних описательных, статистических и экспериментальных исследований, евгенисты претендуют на исправление социальных зол, спасение человечества от вырождения и т. п. Вместе с тем евгенисты сторонятся какого бы то ни было обсуждения вопросов научной социологии. Ученые биологи считают себя вправе говорить обо всех вопросах, касающихся человека, даже ничего в некоторых вопросах не понимая.

В евгенике нет места мистике. Это—наука. Евгенисты во всех передовых капиталистических странах развили широкую агитацию о, якобы, известных биологам секретах улучшения человеческой породы,—агитация сводится к обещанию рецептов, имеющих создать здоровое, сильное и счастливое человечество.

Эта реакционная профессорская деятельность имеет некоторое и, быть может, немаловажное значение в усыплении революционной энергии пролетариата, отвращая его внимание от прямой насущной задачи—борьбы за власть для свержения буржуазии и планомерной организации всего человечества на действительно, а не лживо, научных началах.

В России, по примеру Западной Европы и Америки, в 1921 г. возникло Евгеническое общество. Отдали ли себе отчет деяте-

Евгенического общества о сущности евгенического движения? К сожалению, нет.

Председатель Русского Евгенического общества, проф. Н. К. Кольцов в своей речи «Влияние культуры на отбор в человечестве» [1]), излагая вопрос о причинах современного вырождения, наблюдающегося в капиталистических странах, говорит об области, которая подлежит компетенции социолога, конечно, вооруженного всеми данными современного естествознания. Поэтому и выводы, которые делает автор, не обладающий элементарной марксистской грамотностью, являются абсолютно ложными. Эти выводы бессознательно для автора продиктованы идеологической связью с одряхлевшим и разлагающимся классом и отсюда глубоко пессимистичны. Пессимизмом и даже паникой проникнуты те места речи, где описывается катастрофическое вымирание человечества, которое наступит, когда все женщины будут такими же гражданами, как и мужчины.

Чтобы был понятен подход автора к анализу явлений, необходимо подчеркнуть, что он является представителем неодарвинизма. Неодарвинизм представляет своеобразное извращение дарвинизма Дарвина, имеющее корни в реакции, охватившей буржуазию передовых капиталистических стран, начиная с 80 годов XIX-го столетия. Согласно этому учению ни среда внешняя, ни обмен веществ в организме не оказывают влияния на зародышевую плазму, а так как одновременно с этим не ставится строго материалистически вопрос о том, что собой представляет самый процесс появления новых признаков, то процессы эволюции сводятся к таинственным явлениям, совершающимся в святая святых—зародышевой плазме. Логическим концом этого течения эволюционной теории является учение Лотси, согласно которому вся эволюция есть развертывание зачатков из начала существовавших у самых древних одноклеточных организмов. Профессор Кольцов на словах однажды отказывался от лотсианства, но на деле мы видим иное. К числу наследственных генотипичных признаков профессор относит гнилые зубы, узкий таз женщин, половую страстность, легкомыслие, интеллигентность, алкоголизм и пр. Принимая все это во внимание, становится понятным реакционный тон, которым проникнута вся речь.

Автор начинает с «проповеди» Мальтуса, вся деятельность которого была, оказывается, вовсе не проявлением черной реакции, охватившей правящие круги Англии в 90 годах XVIII века в эпоху французской революции, а имела совершенно иные, чисто идеальные побуждения: в начале своей статьи профессор пишет: «в течение большей части XIX века проповедь Мальтуса практически имела мало успеха и, вероятно, лишь очень немногие религиозно настроенные последователи его оказались способными подняться на надлежащую высоту нравственного сознательного воздержания». В дальнейшем приводятся довольно слабо обоснованные цифры коэффициента уничтожаемости у «первобытного народа охотников-номадов», при чем в заключение вставлена фраза, доказывающая справедливость нашего утверждения. «Мальтус, конечно, ничего не знал о благодетельном влиянии есте-

[1]) Напечатана в «Русском Евгеническом журнале», том II, выпуск I, стр. 3—19, 1924 г.

Не из верхних десяти тысяч, а из нижних миллионов.

Г. Шмидт.

Детальное изучение всех влияний, испытываемых человеком начиная от зачатия и во всей последующей жизни, имеет огромное значение. Выяснение их позволит человечеству сознательно направлять свою жизнь, побеждая уродства, болезни, преждевременное постарение, позволит решить проблему удлинения человеческой жизни.

С этой точки зрения огромный интерес представляет изучение законов наследственности и изменчивости у человека: изучение наследования различных физических особенностей, нервно-психических и иных заболеваний, вопросов невосприимчивости к заразным болезням, влияния возраста и физиологического состояния родителей на потомство. Особенно важным представляется изучение химизма матери во время беременности и установление связи с уродствами и уклонениями от нормы в развитии тех или иных органов. Все эти вопросы представляют огромный интерес.

Однако та область науки, которая эти вопросы исследует, вышла на ложный путь—вместо развития всесторонних описательных, статистических и экспериментальных исследований, евгенисты претендуют на исправление социальных зол, спасение человечества от вырождения и т. п. Вместе с тем евгенисты сторонятся какого бы то ни было обсуждения вопросов научной социологии. Ученые биологи считают себя вправе говорить обо всех вопросах, касающихся человека, даже ничего в некоторых вопросах не понимая.

В евгенике нет места мистике. Это—наука. Евгенисты во всех передовых капиталистических странах развили широкую агитацию о, якобы, известных биологам секретах улучшения человеческой породы,—агитация сводится к обещанию рецептов, имеющих создать здоровое, сильное и счастливое человечество.

Эга реакционная профессорская деятельность имеет некоторое и, быть может, немаловажное значение в усыплении революционной энергии пролетариата, отвращая его внимание от прямой насущной задачи—борьбы за власть для свержения буржуазии и планомерной организации всего человечества на действительно, а не лживо, научных началах.

В России, по примеру Западной Европы и Америки, в 1921 г. возникло Евгеническое общество. Отдали ли себе отчет деятели

Евгенического общества о сущности евгенического движения? К сожалению, нет.

Председатель Русского Евгенического общества, проф. Н. К. Кольцов в своей речи «Влияние культуры на отбор в человечестве» [1]), излагая вопрос о причинах современного вырождения, наблюдающегося в капиталистических странах, говорит об области, которая подлежит компетенции социолога, конечно, вооруженного всеми данными современного естествознания. Поэтому и выводы, которые делает автор, не обладающий элементарной марксистской грамотностью, являются абсолютно ложными. Эти выводы бессознательно для автора продиктованы идеологической связью с одряхлевшим и разлагающимся классом и отсюда глубоко пессимистичны. Пессимизмом и даже паникой проникнуты те места речи, где описывается катастрофическое вымирание человечества, которое наступит, когда все женщины будут такими же гражданами, как и мужчины.

Чтобы был понятен подход автора к анализу явлений, необходимо подчеркнуть, что он является представителем неодарвинизма. Неодарвинизм представляет своеобразное извращение дарвинизма Дарвина, имеющее корни в реакции, охватившей буржуазию передовых капиталистических стран, начиная с 80 годов XIX-го столетия. Согласно этому учению ни среда внешняя, ни обмен веществ в организме не оказывают влияния на зародышевую плазму, а так как одновременно с этим не ставится строго материалистически вопрос о том, что собой представляет самый процесс появления новых признаков, то процессы эволюции сводятся к таинственным явлениям, совершающимся в святая святых—зародышевой плазме. Логическим концом этого течения эволюционной теории является учение Лотси, согласно которому вся эволюция есть развертывание зачатков из начала существовавших у самых древних одноклеточных организмов. Профессор Кольцов на словах однажды отказывался от лотсианства, но на деле мы видим иное. К числу наследственных генотипичных признаков профессор относит гнилые зубы, узкий таз женщин, половую страстность, легкомыслие, интеллигентность, алкоголизм и пр. Принимая все это во внимание, становится понятным реакционный тон, которым проникнута вся речь.

Автор начинает с «проповеди» Мальтуса, вся деятельность которого была, оказывается, вовсе не проявлением черной реакции, охватившей правящие круги Англии в 90 годах XVIII века в эпоху французской революции, а имела совершенно иные, чисто идеальные побуждения: в начале своей статьи профессор пишет: «в течение большей части XIX века проповедь Мальтуса практически имела мало успеха и, вероятно, лишь очень немногие религиозно настроенные последователи его оказались способными подняться на надлежащую высоту нравственного сознательного воздержания». В дальнейшем приводятся довольно слабо обоснованные цифры коэффициента уничтожаемости у «первобытного народа охотников-номадов», при чем в заключение вставлена фраза, доказывающая справедливость нашего утверждения. «Мальтус, конечно, ничего не знал о благодетельном влиянии есте-

---

[1]) Напечатана в «Русском Евгеническом журнале», том II, выпуск I, стр. 3—19, 1924 г.

ственного отбора и приведенный выше коэффициент отбора 1:9 поразил бы ужасом его мягкое, сострадательное сердце. Ведь он представлял себе, что все люди рождаются совершенно одинаковыми, так как все созданы «по образу и подобию божию», а, стало быть, ни о каком отборе не приходится говорить». Хочется прослезиться,—такой трогательной вырисовывается перед нами личность Мальтуса.

Профессор считает, что «совершенное устранение борьбы и естественного подбора в человечестве—утопия». Но допустим, что все же это возможно, говорит он. «Допустим, однако, на минуту, что чистый мальтузианский идеал осуществился. Борьба за существование устранена, детская смертность сведена к нулю: старшее поколение умирает только от естественной старости и безболезненно заменяется молодым поколением. Благодаря успехам медицины и улучшению санитарно-гигиенических условий, инфекционные болезни и др. случайные заболевания устраняются. Каково же будет биологическая природа человека в эти идиллически счастливые времена и в каком направлении будет итти его эволюция?» Вы ждете, что же будет? «Двух ответов на этот вопрос быть не может: с того момента, как прекратится подбор, в человеческом обществе начнется быстрый и неуклонный процесс вырождения, так как с каждым поколением, с каждым годом будет увеличиваться число всяких уродов, глухонемых, слепых, идиотов, слабоумных, сумасшедших, не говоря уже о менее ярких формах жизненной неприспособленности». Воображение слушателя запугивается ураганом страшных слов.

Автор пытается «определить количественно размеры естественного отбора в культурной стране при современных условиях». Для этой цели он пользуется статистикой проф. Грубера для Гессена. Здесь, при ежегодной рождаемости в 19,8 детей на каждую 1.000 жителей, население остается неподвижным—без прироста и без убыли. Статистика показывает, что в среднем каждая женщина, вступающая в брак и имеющая детей, родит 3,75 детей. Следовательно,—«при современных культурных условиях из каждых двух рождающихся на свет только один становится полным производителем, а другой откидывается как бесплодный». Это положение, которое об'ясняется тем, что, при низости культурного уровня капиталистических стран, каждая женщина в среднем для Гессена родит двух детей, погибающих преждевременно, профессор считает за великое благо. При этом необходимо отметить, что расчет Грубера сделан огульно, не учитывая различной смертности по разным социальным группам, иначе процент гибели детей для трудового населения был бы значительно бо́льшим.

Величайшим лицемерием (охотно верим несознательным) проникнуты слова автора: «Высокая детская смертность, столь характерная для русской малокультурности, является предметом зависти для многих иностранных евгенистов, так как она поддерживает известный уровень врожденных физических свойств». Оказывается, крестьянские дети, умиравшие массами при царизме, гибли не от недостатка помощи, от ужасающего питания, а вследствие «малоценной конституции». Оказывается, ребенок, умерший от поноса, погиб не от случайной причины, предотвратимой соответствующим уходом, а вследствие «эксудативного диатеза».

Оказывается то, что в Германии (Галле) в интеллигентских семьях грудных детей умирает почти в 6 раз меньше (4,8%), чем в семьях чернорабочих (24,1%)—об'ясняется не различием ухода, света, воздуха и питания, а «наследственным предрасположением в различных хозяйственных классах». Этот вывод делает известный немецкий евгенист (партия национал-либералов) Ленц, и проф. Кольцов «вряд ли может с этим согласиться». Но если даже Ленц и неправ, то наш автор все-таки продолжает свою прежнюю линию, говоря, что низкой детской смертностью (а не плохим физическим воспитанием) об'ясняется слабость здоровья интеллигенции.

Относительно старших возрастов—эпидемия тифа была благодеянием для человечества, так как уничтожила конституционально слабых; мероприятия борьбы с туберкулезом вредны, так как ослабляют отбор стойких к туберкулезу конституций. Профессор только за сифилисом и триппером отказывается признать благодетельное значение, непременный аттрибут здорового человечества, так, как он сделал по отношению к тифу и туберкулезу. Впрочем, оказывается, и здесь иногда венерические болезни могут быть благодетелями человечества—происходит «отбор половой страстности и некоторого легкомыслия» при заражении половым путем и «малой интеллигентности» при заражении внеполовым путем». Алкоголизм тоже бывает другом человечества, когда встречается у детей, которым судьбой предназначено еще в яичнике матери и семеннике отца был алкоголиками—такие неприспособленные суб'екты вымирают, не оставляя потомства.

Профессор находится в величайшем негодовании по поводу заботы о дефективных, на которых государство тратит огромные средства, чтобы эти дефективные передали «свои наследственные дефекты следующему поколению». Автор не отказывается пуститься в длинную тираду о войне, написав по этому поводу кучу ничего не стоящих фраз. В заключение оказывается война все-таки не благодетель человечества. Особенно скорбит профессор о гибели командного состава, при чем мы узнаем ценные достижения евгенической науки: «Командный состав на войне страдает значительно больше, и как бы мы ни оценивали наследственные особенности командного состава в сравнении с общей массой посылаемых на фронт, мы должны сделать вывод, что наследственные особенности командного состава в ближайшем после войны поколении будут распространены значительно слабее».

Букет подобных высокоумных рассуждений заканчивается панической картиной гибели человечества: статистика для Франции и Германии показывает низкую цифру размножаемости более обеспеченных групп. Где корень зла? Просвещение женщин: американские студентки в 58% не вышли замуж, 39% вступивших в брак остались бездетными, в конечном счете на каждую из 2.827 студенток, подвергавшихся обследованию, приходится по 0,5 ребенка, а по другой статистике даже 0,37 ребенка.

Автор охотно идет навстречу коммунистической партии, так как последняя не видит катастрофического положения дел, не понимает, что нужно «переломить брачную психологию» (профессор не поясняет, что это за штука).

Автор благожелательно настроен к коммунистической партии, он готов подсчитать, сколько у каждого члена коммунистической

партии имеется детей, и думает, что вероятно не много. Опять он возвращается к излюбленному сравнению с лошадьми и коровами, патетически восклицая: «Что сказали бы мы о коннозаводчике или скотоводе, который из года в год кастрирует своих наиболее ценных производителей, не допуская их до размножения?».

Профессор напоминает о гибели древних культур, причиной которой (а не симптомом других причин) было нежелание тогдашних женщин рожать детей.

В конце статьи немного промелькнул оптимизм—процесс вырождения может быть остановлен. Профессор Кольцов думает, что это—его открытие: он дает совет «политическим партиям»—чтобы ценные элементы были сохранены и чтобы политические партии произвели расценку групп. Профессор не отказывается помочь советом—говоря простым языком,—кого оставлять на приплод, кого нет, или, говоря по ученому, «раз'яснять, по скольку те или иные высокооцениваемые государством свойства и способности тех или иных групп населения несомненно являются врожденными, наследственными и по скольку они являются результатом только воспитания и внешних условий», заявляя себя ревностным дуалистом в эволюционной теории.

Выше было указано, какое огромное значение представляет изучение наследственности и изменчивости различных особенностей человека—касаются ли они положительной стороны или патологии. На примере профессора Кольцова мы видим бессилие капиталистического человечества разрешить вопросы «улучшения человеческой породы». Абстрактное рассмотрение «отбора» в человечестве, без связи с материальными условиями, не дает сколько-нибудь реальных выводов. Даже, наооборот, гражданам пролетарского государства вбиваются ложные представления на оздоровление человечества от пережитков классового капиталистического строя. Такая деятельность Евгенического общества сводится к непроизводительной трате труда, времени и средств.

Русское Евгеническое общество много писало о генеалогии знаменитых людей, о стерилизации наследственно отягощенных, о размножаемости американских студентов и т. п., но оно не обратило внимания на действительно евгенический процесс, сущность которого прекрасно сформулирована т. Бухариным: «Чем шире это селекционное поле, тем лучше, при прочих равных условиях. И вот здесь наша революция совершила поистине величайший переворот. Она еще не догнала до довоенного уровня в нашем хозяйственном развитии, она еще не обеспечила довоенного Standart of life. Но она уже в гигантской степени расширила селекционное поле, она впервые вовлекла широчайшие пролетарские и крестьянские массы в культурный оборот, давая возможность подбора не из «верхних десяти тысяч», а из «нижних миллионов».

Нужно, наконец, покончить с сознательным или бессознательным игнорированием научной социологии и понять, что говорить о человеке, не принимая во внимание конкретных условий его развития, значит 99% работы делать впустую. Евгенист должен быть прежде всего глубоко образованным марксистом, вы-

сте с тем являясь биологом—владея всеми данными современной генетики, экспериментальной морфологии и пр.

Конечно, выставляя желательное, мы должны решить вопрос в конкретных условиях и поскольку таковые не позволяют пока говорить о научных работниках, которые, будучи первоклассными биологами, были бы и образованными марксистами, можно указать безусловно желательным выполнение следующих условий деятельности Евгенического общества: работники Евгенического общества всех стран Союза должны иметь определенный минимум марксистской грамотности—прежде всего должны иметь ясное и четкое представление о взаимоотношениях дарвинизма и марксизма.

Для предотвращения параллелизма в работе, необходимо установить теснейший, не только формальный, контакт в работе с институтом социальной гигиены. Это поможет прежде всего точной формулировке задач Евгенического общества.

Физика Гегеля[1]).

(Окончание).

З. Цейтлин.

5. Конечная механика.

Абсолютная механика Гегеля является ключом к пониманию механики конечной. Если в абсолютной механике мы имеем дело со свободным (абсолютным) движением, то в конечной механике царит конечное, принудительное или полусвободное движение. Иначе говоря, конечная механика есть механика отдельной, изолированной материальной частицы или некоторой совокупности этих частиц, отделенных абстракцией от бесконечной материи.

Гегель устанавливает прежде всего понятие материальной частицы. Указывают, что Гегель был противником атомизма. Это верно лишь в том смысле, что Гегель отрицал абсолютный метафизический атом. Согласно Гегелю, материя одновременно прерывна и непрерывна. «С точки зрения механики,—говорит он (§ 262),—материя однородна, но бесконечно дробится, потому что каждая материальная частица исключает совместное существование других материальных точек; или, как говорят, отталкивает их. С другой стороны, все материальные точки ничем не различаются и совмещаются в понятии единой и, следственно, непрерывной материи. Другими словами, все они притягивают друг друга».

Мы видим здесь, что Гегель употребляет понятия притяжения и отталкивания в специальном смысле, не совпадающем с общепринятым. Гегель, действительно, отличал тяготение от притяжения (см. примечание к § 262); последний термин имеет у Гегеля смысл непрерывности в противоположность отталкиванию, означающему раздельность.

Согласно методу диалектики, Гегель начинает с наиболее абстрактных понятий. В механике таким понятием является однородная, прерывно-непрерывная материя. Понятие этой материи совпадает с первой материей Декарта или с «идеальной жидкостью» современной вихревой теории. Эта «абстрактная» материя рассматривается сначала, как лишенная движения, т.-е. как материя косная. Выражаясь терминами Гегеля, в сфере конечной механики «материя еще не обнаруживает никакой внутренней деятельности и остается совершенно неопределенной» (§ 262, Прнб.).

«Так как материя еще не проявляет здесь никакой деятельности, то второй отдел механики [2]), исследующий взаимное отно-

---

[1]) Продолжение см. № 5—6.

[2]) Первый отдел механики рассматривает общие понятия пространства, времени и движения. *З. Ц.*

шение или движение материальных тел, будет составлять конечную механику. В конечной механике материя и ее движение существуют независимо одно от другого»[1]). Здесь материя получает движение только извне. Только в третьем отделе механики мы будем рассматривать собственную деятельность материи, обнаруживающуюся также в движении» (§ 262, Приб.).

Рассматриваемая с точки зрения инерции (косности) материя или покоится, или получает движение извне. Поэтому конечная механика Гегеля дает прежде всего анализ понятия косной материи, а затем толчка. Падение образует полусвободное движение или переход к абсолютной механике.

Анализу понятия косной материи посвящены §§ 263 и 264. Прежде всего Гегель устанавливает определение массы, как количества материи: «материя, рассматриваемая отвлеченно и непосредственно, различается только количественно и распадается на отдельные величины или массы». Совокупность масс образует тела. Всякое тело, существуя в пространстве и времени, может двигаться; но в то же время тело равнодушно к своему существованию в пространстве и времени (§ 263), а равно и к сочетанию этих последних, т.-е. к движению (§ 261); а потому тело относится к движению, как чему-то внешнему, и может сохранить противоположное состояние—состояние покоя. Такое тело есть тело косное».

Гегель подчеркивает отвлеченность понятия косности («в сущности понятие материального тела и его движения нераздельны». Примеч. к § 264), т.-е. устанавливает, что эти понятия являются лишь определенной ступенью диалектического анализа.

Гегелевское определение косности правильно, но определение массы, совпадающее с ньютоновским, недостаточно. Современная наука пришла к заключению, что масса зависит не только от количества материи, но и от ее качества, т.-е. движения. Установлена формула, показывающая зависимость массы от внешней скорости, но масса, без сомнения, зависит также от «внутреннего движения» тел. Поэтому, если иметь в виду не абстрактную первую материю, а конкретные тела, необходимо видоизменить понятие массы. Гегель в своем учении об удельном весе (см. дальше) сделал шаг в этом направлении. Гегелевский анализ толчка показывает, насколько метафизическая систематика способна нанести ущерб философской и научной истине. Гегель утверждает, что в явлении толчка внутренняя самодеятельность (движение) материи не играет никакой роли. Твердость, мягкость и упругость[2]) тел—это будто бы необходимые явления, доказывающие «раздельное существование тел» и вытекающие из метафизического понятия «тела». Физика же учит как раз обратному. Она утверждает именно, что твердость,

[1]) В абстракции, конечно. *З. Ц.*

[2]) Гегель употребляет понятие упругости или эластичности в обыденном смысле, т.-е. в смысле способности восстановления формы. В физике под упругостью понимают сопротивление изменению об'ема, сопротивление же изменению формы не имеет специального названия. Так, с точки зрения физической терминологии, вода — очень упругое тело, по обычной же терминологии вода не упруга в противоположность, например, резине.

мягкость, упругость, текучесть, хрупкость, вязкость и т. д. обусловлены внутренним движением тел. Еще Цуансо[1]) пытался об'яснить то, что называют упругостью атомов, их вращательным движением. В вихревой теории материи Гельмгольца-Томсона упругость есть следствие вихревого движения материи. Твердое, жидкое и газообразное состояние тел современная физика об'ясняет различным характером молекулярного движения этих тел.

Впрочем, Гегель в «Физике обособившихся тел» (§§ 290—808) дает своеобразную теорию упругости, которую можно истолковать кинетически, если последовательно развить основы Гегелевских воззрений, отбросив его метафизику. Эта теория будет нами рассмотрена в дальнейшем.

Падение или земная тяжесть, которую Гегель отличает от всеобщего тяготения, есть полусвободное движение. «Оно свободно, потому что вытекает из самого понятия тела и есть проявление его собственной тяжести; оно нераздельно от его природы. Но оно еще обусловлено извне: чтобы падать, тело должно быть отдалено от своего центра и, следовательно, падение еще случайно» (§ 267).

Гегелевское понятие «свободного движения» выпукло характеризуется следующим положением, относящимся к падению (примечание к § 267); падение, как известно, происходит равномерно-ускоренно; «чтобы об'яснить этот факт, механика превращает моменты математической формулы в физические силы; именно она допускает две силы: силу ускоряющую, которая в каждый промежуток времени дает телу равномерный импульс, и силу инерции, которая сохраняет ежеминутно увеличивающуюся скорость, приобретаемую падающим телом». Отвергая метафизику «сил», Гегель говорит: «наоборот можно сказать, что так называемая сила инерции точно так же ускоряет падение. В самом деле, говорят, что она сохраняет телу ту скорость, которую оно приобрело по истечении каждого момента времени, т.-е. что она, с своей стороны, также присоединяет каждую вновь приобретаемую скорость к первоначальной скорости, т.-е. в конце каждого мгновения времени она сохраняет телу большую скорость, чем в предыдущий момент».

Эта замечательная диалектика чрезвычайно наглядно уясняет основу Гегелевских воззрений. Действительно, здесь перед нами не что иное, как формулировка знаменитого положения Эйнштейна о тождестве инертной и тяжелой массы. Спрашивается, каким образом Гегель сумел почти буквально предвосхитить то, что считается гениальным достижением научной проницательности Эйнштейна? Это может показаться удивительным, но на самом деле чрезвычайно просто. Физика Эйнштейна — физика относительности, т.-е. исходит из материи и движения, отрицая метафизическую реальность сил, иначе говоря, физика эта адинамична. Что же удивительного в том, что адинамизм физики Гегеля приходит к выводам тождественным с выводами адинамизма Эйнштейна. Мы в своих статьях о Ньютоне показали, что физика Ньютона, будучи по существу адинамичной, также утверждала тождество инертной и тяжелой массы.

[1]) См. мемуар: Questions dynamiques sur la percussion des corps,—Journal de Mathématiques pures et appliquées de Lionville (2-e serie, t. II, 1875. и t. IV, 1859).

Это—необходимое заключение всякой адинамичной системы физики.

Гегеля часто упрекают в том, что он будто бы отрицал тождество силы действующей в падении с силой действующей в обращении планет вокруг солнца. Этот упрек показывает непонимание диалектического метода, требующего установления не только тождеств, но и различий.

Гегель подчеркивает это неоднократно. Говоря о тождестве электрических, магнитных и химических процессов (§ 313), Гегель замечает: «В прежнее время рассматривали магнетизм, электричество и химизм, как отдельные процессы, не имеющие между собою ничего общего и зависящие от различных самостоятельных сил. Философия устанавливает понятие об их тождестве, указывая однако же и на их отличительные особенности. В новейших физических теориях говорится только о тождестве этих явлений, так что ощущается потребность настаивать на их определенном разграничении».

Это замечание необходимо всегда иметь в виду, если хотят как следует понять особенности Гегелевской натурфилософии. Если бы рьяные критики постарались понять основную точку зрения Гегеля, то многие упреки отпали бы сами собой.

Гегель, например, нисколько не думает отрицать тождества силы падения и силы движущей планеты, как проявления всемирного тяготения, но его задача заключалась именно в том, чтобы установить различие там, где научная метафизика видит одно только тождество. Диалектика утверждает, что истина всегда конкретна и, не отвергая тождества, в явлениях природы не может не видеть различий. Падение камня тождественно с падением к центру—луны и планет, но оно также отличается от него. Гегель усматривает это различие в том, что в падении камня играет роль бросание, т.-е. внешний толчок, в то время, как такого «бросания» нет и не может быть в абсолютном (свободном) планетном движении. Смысл понятия свободного движения мы подробно выяснили выше. Если отбросить Гегелевские преувеличения, то необходимо признать, что устанавливаемое здесь различие действительно очень существенно, так как оно изгоняет антропоморфные представления из целого природы. Пресловутый «первый толчок», сообщенный творцом планетам, порожден именно привычкой переносить на целое природы представления обыденного опыта. Обычное мышление с трудом усваивает идею вечности материи и движения: для приведения в действие мировой машины это мышление требует «первого двигателя» или «мирового часовых-дел мастера». И Гегель принципиально прав, протестуя против такого антропоморфизма, хотя, увлекаемый своей идеей, часто докатывается до фантастических и абсурдных утверждений и мнимых различений. Так Гегель отвергает утверждения Ньютона, что свинцовый шарик оторвался бы от земли и улетел бы в пространство, если бы ему сообщить надлежащую скорость и устранить сопротивление воздуха и трение. Ибо по Гегелю бросание, трение и пр.—это «случайные», «конечные» движения, а «конечные движения нераздельны с тяжестью; они случайны, они переходят в направление этой последней, как основной силы материи, и усту-

дают ей первенство». Здесь перед нами обычный уклон Гегелевской метафизики. Наука с точностью устанавливает необходимую для отрыва от земли, например, скорость и если имеющиеся в настоящее время взрывчатые вещества недостаточны для получения этой скорости, то это только вопрос времени. В самое последнее время получены сведения из Америки о предполагаемой посылке ракеты [1]) на луну. «Бросание» ракеты будет внешним движением, преодолевающим силу тяжести, а вместе с ней Гегелевскую метафизику.

Не будем останавливаться на опровержении фантастических утверждений Гегеля вроде того, что «маятник останавливается не вследствие одного трения; если бы трение прекратилось, он остановился точно так же вследствие действия тяжести» и т. д. Опровергнуть эти утверждения нетрудно, гораздо труднее отделить в воззрениях Гегеля истинное от ложного. А последняя работа стоит, чтобы ее проделать, так как даже заблуждения великих умов гораздо поучительнее истины посредственных.

6. Заключительное замечание к механике Гегеля.

Механика образует первую часть философии природы Гегеля. Во второй части Гегель переходит собственно к физике, которой дается специальное определение. Чтобы понять связь Гегелевской механики и физики необходимо процитировать заключительное прибавление к § 271:

«Декарт хотел об'яснить все явления природы механизмом и говорил: «Дайте мне материю и движение, и я построю мир». Механическая точка зрения очень недостаточна для об'яснения всех явлений природы. Но это не мешает нам отдать справедливость гению Декарта. В теории движения тела являются, как точки; и тяжесть определяет только пространственные отношения этих точек между собою. С механической точки зрения материя только тяготеет к внешнему центру и еще не имеет никакого индивидуального сосредоточия». Принимая во внимание, что тяготение, по Гегелю,—это синоним всеобщего пространственного движения и переводя терминологию Гегеля на обычный язык, можно сказать: механика есть наука о внешнем пространственном движении материи; в которой не рассматриваются качества («индивидуальное сосредоточие») тел.

В физике же мы переходим в «такую область, где внешние определения или свойства тел суть только проявления их внутренней сущности. Такие проявления нераздельны с самим бытием тел, т.-е. суть их качества». Таким образом Гегель дополняет количественно-механическую точку зрения Декарта точкой зрения качества. Действительно, механика исходит из об'ективных предпосылок пространства, времени, движения и материи, рассматривая мир с об'ективной, т.-е. внешней, стороны. Пространство, время, движение и материя—это об'ективные реальности, независимые от суб'екта. Если суб'ект включается в систему мира, то обнаруживается качествен-

[1]) Принцип ракетного межпланетного сообщения разработан впервые русским мыслителем Циолковским. См. Перельман, Междупланетные путешествия.

ность мира, ибо то, что об'ективно (внешне) представляет собою пространственное перемещение материи, суб'ективно обнаруживается, как качество. Конечно, физика ставит своей задачей об'ективную характеристику мира и рассматривает, например, звук, тепло, свет и т. д. с внешней стороны, как определенные пространственные формы движения материи. Но так как познание едино, то абсолютное исключение суб'екта не только невозможно, но является крупной методологической ошибкой, ибо определение движения с количественной только стороны, как пространственного перемещения материи, не дает полной истины. Эта истина обнаруживается тогда, когда учитывается не только внешняя природа движения материи, но и внутренняя. Философия диалектического материализма, тождественная, с нашей точки зрения, в существенном с философией Спинозы, дает такой учет.

Необходимо, однако, ясно сознавать различие об'ективных и суб'ективных моментов. Смешение их ведет к пагубным недоразумения, вроде борьбы со стороны некоторых диалектиков-материалистов против об'единения различных областей физики во всеобщей механике. Такое об'единение нисколько не «растворяет» физику в механике, а выполняет только часть научной задачи: дать внешнюю, об'ективную характеристику явлений. Изучение внутренней природы движения материи, т.-е. качества движения, это—одна из задач биологии (в общем смысле слова), ибо, насколько можно судить, качество движения проявляется не во всех его формах, а лишь в тех, которые называются жизнью.

Приступая к характеристике «Физики» Гегеля в собственном смысле слова, мы не будем придерживаться его порядка изложения, обусловленного метафизическими соображениями. Эти соображения, любопытные сами по себе, выходят за пределы нашей темы. Мы будем, как и раньше, касаться их постольку лишь, поскольку они позволяют уяснить существо Гегелевских воззрений. Наш порядок изложения будет общепринятым порядком научной физики, именно от механики мы перейдем к рассмотрению твердых тел, жидкостей и газов, затем теплоты звука, света и, наконец, электричества и магнетизма в связи с философией химических процессов.

7. Гегелевское учение о твердом, жидком и газообразном состоянии тел.

Вступая в область Гегелевской физики в собственном смысле слова, испытываешь чрезвычайно неприятное чувство. Диву даешься тому, насколько этот великий ум, ослепленный светом собственных систематических идей, впадает в самые невероятные и фантастические заблуждения и упорствует в самых нелепых утверждениях. И все это перемешано с гениальными проблесками поучительной истины, сверкающей жемчужинами в куче метафизического навоза.

Возьмем, например, Гегелевское учение об удельном весе и сцеплении. Если бы Гегель последовательно положил в основу этого учения свои механические принципы, то получились бы замечательные научно-философские результаты. Но эта последовательность или слабо выражена, или ее совершенно нет, а вместо нее фигурируют метафизические скачки.

В учении об удельном весе (§ 273) Гегель устанавливает, что плотность тел не может зависеть, как это утверждал Ньютон и вслед за ним физики, от различного числа одинаковых материальных частиц (атомов) в данном об'еме, т.-е. от различия в размерах «пустот». Ибо по Гегелю «пустоты» не существует, и он неоднократно протестует против «вымышленных пор между частицами тел. Эта критика Ньютонова атомизма совершенно несостоятельна. Ньютон также отрицал абсолютную пустоту, наполняя пространство эфиром. Но Ньютон не выдумал атомизма априори, а исходил из неопровержимого факта одинаковости падения всех тел в «пустоте». Эта одинаковость, согласно Ньютону, может быть об'яснена только гипотезой однородного атомистического строения конкретной материи. Вот почему Ньютон принужден был разделить всю материю, наполнявшую пространство, на две части—на обычную материю однородно-атомного строения, которой он приписал инерцию и вечно движущееся начало—эфир. Различие плотностей об'яснялось различным расположением атомов косной материи в эфире.

Современная вихревая теория материи преодолела дуализм Ньютона, установив, что атомы это—в конечном счете вихревые образования в эфире, так что вихревая теория представляет собою диалектический синтез атомизма и непрерывности.

Что Гегель очень недалеко стоял от такой точки зрения, видно из его различения протяженных и напряженных величин в учении об удельном весе.

«Уже Кант,—говорит Гегель (§ 273),—об'яснял различие удельного веса не разнообразием числа материальных частиц, а разнообразностью, напряженностью их тяжести, так что тела различного веса должны в равных об'емах заключать равное число частиц, но в различной степени наполняющих пространство. Этим было положено основание так называемой динамической физике. Бесспорно, что понятие о различии напряженных величин имеет столько же права быть допущенным, как и понятие о различии протяженных величин, к которому сводится общепринятая теория плотности тел. Но первое представляет то преимущество, что имеет в виду различие внутренней природы тел, от которого зависит истинное разнообразие форм в природе; сравнивая степени таких различий между собою, мы разумеем их только, как величины. Но теория динамической физики несовершенна в том отношении, что предполагает полную противоположность между величинами протяженными и напряженными; между тем как в действительности это различие несостоятельно и находит свое разрешение в понятии о мере».

Мы привели этот длинный отрывок для того, чтобы наглядно иллюстрировать гениальную диалектику Гегеля и его способность впадать в заблуждения.

Что в самом деле получится, если последовательно развить изложенные взгляды Гегеля? Мы доказали выше, что физика Гегеля, по существу, адинамична и если Гегель говорит о динамической физике Канта, то в условном смысле, желая подчеркнуть ложность «гипотезы о неизменяемости частиц, которая принадлежит к таким же произвольным вымыслам, как и гипотеза о существовании пор». Отрицая метафизическое понятие силы, Гегель, без сомнения, понимал силовой термин «на-

пряжение» в смысле движения[1]). На это указывает его ссылка на понятие меры, уничтожающее «полную противоположность» протяженных и напряженных величин, — противоположность, действительно утверждаемую абсолютной динамической физикой.

Следовательно, мысль Гегеля, если согласовать ее с его основными принципами, такова: удельный вес зависит не только от числа частиц (протяжения) в данном об'еме, но и от некоторого состояния внутреннего движения, которое можно обозначить термином «напряжение». Эта идея хотя и противоречит опыту Галилея, прямо указывающему на одинаковость конкретных материальных частиц в отношении тяжести, все же чрезвычайно важна, так как об'ясняет массу конкретного тела не статически (инертная масса Ньютона), а кинетически.

И если бы Гегель учел строго доказанный закон падения тел в «пустоте», то он принял бы обычное учение о плотности тел, но в видоизмененной диалектико-материалистической форме, как это имеет место в вихревой теории материи. Иначе говоря, Гегель пришел бы к различению абсолютной («свободной») массы, т.-е. количества вещества «первой материи» и массы относительной («конечной»), зависящей также от состояния движения внешнего и внутреннего.

Гегелевская теория упругости представляет гениальный вывод его диалектики. Точная наука лишь в самое последнее время приходит к тому, что давно утверждал Гегель,—именно к понятию абсолютной проницаемости конечных материальных тел. Г. А. Лоренц во вступлении к знаменитой «Электродинамике движущихся тел» выставляет в качестве основного положения своей электронной теории абсолютную проницаемость: электроны рассматриваются, как «состояния», «узлы» в эфире, и эти «состояния», «узлы» могут складываться в одном и том же месте подобно волновым движениям в явлении интерференции.

Чтобы понять учение Гегеля, необходимо исходить из его различения протяженных и напряженных величин. «В эластических телах (§ 248) материальные части в одно и то же время самостоятельны, т.-е. занимают каждая свое место, и несамостоятельны; другими словами, в одно и то же время суть величины протяженные и величины напряженные». Если понятие напряжения истолковывать, как и раньше, в смысле движения, то положение Гегеля о том, что две материальные части при сжатии эластического тела совмещаются в одном и том же месте, можно понять так: в результате сжатия два об'ема материального тела превратились в один, т.-е. общая протяженность уменьшилась; так как Гегель утверждает, что в явлении сжатия осуществляется то же противоречие, которое Зенон открыл в движении (см. примеч. к § 298), т.-е. что в сжатии, как и в движении, материальное тело одновременно находится и не находится в своем месте, то ясно, что это «ненахождение» в случае сжатия означает сохранение величины напряжения, т.-е. внутреннего движения. Гегель, действительно, указывает (§ 248), что первым результатом сжатия является изменение удельного веса, и мы видели, что различие удельных

---

[1]) О понятии напряжения см. также § 8.

...ватов Гегель об'яснял различием величин напряжения. Сра...ние противоречия упругости с противоречием движения (Зено...) особенно наглядно показывает, что Гегель упругость понимал, ка... род движения. Таким образом идея Гегеля об эластичности м...жет быть формулирована так: каждая частица материи хара...ктеризуется как протяжением, так и движением (напряжением); если в явлении сжатия две частицы сливаются в одну, то э... значит, что протяженности частиц, оставаясь самостоятельными, складывают свои движения (напряжения) так, что в итоге пол...учалась одна частица с двойным количеством движения (напр...яжения). Эту идею легко понять, если воспользоваться яв...лением интерференции волн: каждая волна обладает протяже...нностью и движением; при сложении двух волн протяженност... остаются самостоятельными (одна вне другой), движения же скл...адываются в одной результирующей волне. Вот почему Геге... говорит, что «две материальные части, прежде занимавшие о...тдельные места, теперь совмещаются в одном и том же м...есте», т.-е. пользуется абстрактным понятием места, ... сравнивает свое учение с софизмами Зенона: пространство, к... мы видели, это, по Гегелю,—абстрактная форма бытия матери...; сказать, что в одном и том же месте существуют две материал...ьных части, значит не что иное, как об'единить в одной фор...ме (места) то, что раньше рассматривалось в двух; всякая мат...ериальная часть характеризуется протяжением и движением, ... так как двойное протяжение превращается в единственное, ... ясно, что мы имеем здесь дело со сложением движений.

В заключение Гегель упрекает физиков за то, что они о...б'ясняют сжимаемость неизменными атомами и порами: это у...чение,—говорит Гегель,—ведет к тому, что «материя признает... абсолютной, самостоятельной и вечной».

Упрекн Гегеля необходимо понимать, как отрицание де...мокритовских метафизических абсолютно-неизменных атомов и п...устоты. Та «уничтожаемость» материи, о которой говорит Геге... имеет весьма условный смысл, именно тот, о котором мы го...ворили: можно, ведь, утверждать, что когда две волны («коне...чные, материальные частицы») сливаются в одну, то эти вол... «уничтожаются», уничтожаются именно, как обособленные ин...дивидуальности. Мы, конечно, не отрицаем, что Гегелевская мет...афизика понимала «уничтожаемость» материи в более абсол...ютном смысле, но это выходит уже за пределы его физики.

Современная физика об'ясняет различие твердого, жидк... и газообразного состояний веществ не только различием с...цепления, но и различием молекулярных движений. Кинетическ... например, теория газов—крупнейшее научное завоевание. Геге... в своем изложении «различий внутренней природы тел» огран...ичивается лишь формальным моментом, а в учении о стихиях ... метеорологическом процессе (§ 281 и сл.) впадает в неверо...ятную фантастику. Разуму вопреки и наперекор стихиям Геге... почему-то понадобилось восстановить наивное эмпирическое у...чение древних о четырех стихиях—воздухе, огне, воде и зем...ле.

Сопоставляемое с современным Гегелю естествознанием учен... о стихиях и метеорологическом процессе производит удруча...ющее впечатление своими нелепостями. «Говорят,—пишет Гегель, что молния есть не что другое, как электрическая искра, раз...

жающая электрическую напряженность облаков. Но в небесах нет ни стекла, ни сургуча, ни смолы, ни подушек, ни вертящейся рукоятки (!!!). Такие толкования переносят ограниченные условия, в какие поставлены земные тела, на свободные проявления живой деятельности природы. Но этого допустить нельзя, и непредубежденный человек не поверит таким об'яснениям». Здесь к Гегелю может быть применено его собственное учение о мере. Гегель явно переступил всякую меру, впал в чрезмерность, а потому в метафизическое высокомерие. А тот, кто высокомерен, сталкивается с судьбой в форме Немезиды, и она возвращает его на правильный путь, эту противоположность чрезмерности. Немезида есть божество, отмеривающее каждому то, что он заслужил; существует правильная мера, мера полноты жизни, которую никто не может преступить безнаказанно[1]). Радостный и справедливый рев ослов по поводу Гегелевских чрезмерностей—достойное возмездие великому диалектику, учившему столь красноречиво о мере.

8. Учение о теплоте и звуке.

В Гегелевском учении о теплоте мы снова находим несколько здравых идей. Они, правда, изложены на языке его метафизики, но если эту метафизику перевернуть с головы на ноги и сделать соответствующий перевод на удобопонятную речь, то нетрудно убедиться, что идеи Гегеля о теплоте совпадают в общем с итогами научного исследования.

Гегель прежде всего отвергает пресловутую теорию теплорода, рассматривавшую теплоту, как особого рода материю («тепловая жидкость»).

«Опыты Румфорда,—говорит Гегель (§ 304),—над разгорячением тел вследствие трения, напр., при сверлении пушек, давно могли бы доказать несостоятельность теории самобытного существования теплоты: эти опыты обнаруживают способ ее происхождения и убедительно доказывают, что она есть только состояние тел». Гегель выдвигает собственную теорию теплоты, как особого состояния тел. Формулировка Гегеля такова (§ 303): «Согретые тела снова теряют определенность своей формы, расплываются: их отличительные различия уступают место торжествующей над ними однородности. Другими словами, первоначальная, непосредственная непрерывность тела сменяется такою, где уже явившиеся в нем различия отрицаются, т.-е. распускаются, чтобы дать место восстанавливающейся, т.-е. деятельной, однородности и непрерывности. Вот почему в пространственном отношении тела расширяются от теплоты; этим обнаруживается, что они теряют те специфические свойства, при которых они равнодушно наполняют пространство».

Чтобы понять это определение Гегеля, необходимо вспомнить, что «различие внутренней природы тел», т.-е. их «специфические свойства», Гегель усматривал в различии удельного веса и сцепления (§ 242). Поэтому Гегелевское определение теп-

[1]) Куно Фишер, Гегель, стр. 488.

весов Гегель об'яснял различием величин напряжения. Сравнение противоречия упругости с противоречием движения (Зенон) особенно наглядно показывает, что Гегель упругость понимал, как род движения. Таким образом идея Гегеля об эластичности может быть формулирована так: каждая частица материи характеризуется как протяжением, так и движением (напряжением); если в явлении сжатия две частицы сливаются в одну, то это значит, что протяженности частиц, оставаясь самостоятельными, складывают свои движения (напряжения) так, что в итоге получалась одна частица с двойным количеством движения (напряжения). Эту идею легко понять, если воспользоваться явлением интерференции волн: каждая волна обладает протяженностью и движением; при сложении двух волн протяженности остаются самостоятельными (одна вне другой), движения же складываются в одной результирующей волне. Вот почему Гегель говорит, что «две материальные части, прежде занимавшие отдельные места, теперь совмещаются в одном и том же месте», т.-е. пользуется абстрактным понятием места, и сравнивает свое учение с софизмами Зенона: пространство, как мы видели, это, по Гегелю,—абстрактная форма бытия материи; сказать, что в одном и том же месте существуют две материальных части, значит не что иное, как об'единить в одной форме (места) то, что раньше рассматривалось в двух; всякая материальная часть характеризуется протяжением и движением, а так как двойное протяжение превращается в единственное, то ясно, что мы имеем здесь дело со сложением движений.

В заключение Гегель упрекает физиков за то, что они об'ясняют сжимаемость неизменными атомами и порами: это учение,—говорит Гегель,—ведет к тому, что «материя признается абсолютной, самостоятельной и вечной».

Упреки Гегеля необходимо понимать, как отрицание демокритовских метафизических абсолютно-неизменных атомов и пустоты. Та «уничтожаемость» материи, о которой говорит Гегель, имеет весьма условный смысл, именно тот, о котором мы говорили: можно, ведь, утверждать, что когда две волны («конечные, материальные частицы») сливаются в одну, то эти волны «уничтожаются», уничтожаются именно, как обособленные индивидуальности. Мы, конечно, не отрицаем, что Гегелевская метафизика понимала «уничтожаемость» материи в более абсолютном смысле, но это выходит уже за пределы его физики.

Современная физика об'ясняет различие твердого, жидкого и газообразного состояний веществ не только различием сцепления, но и различием молекулярных движений. Кинетическая, например, теория газов—крупнейшее научное завоевание. Гегель в своем изложении «различий внутренней природы тел» ограничивается лишь формальным моментом, а в учении о стихиях и метеорологическом процессе (§ 281 и сл.) впадает в невероятную фантастику. Разуму вопреки и наперекор стихиям Гегелю почему-то понадобилось восстановить наивное эмпирическое учение древних о четырех стихиях—воздухе, огне, воде и земле.

Сопоставляемое с современным Гегелю естествознанием учение о стихиях и метеорологическом процессе производит удручающее впечатление своими нелепостями. «Говорят,—пишет Гегель,—что молния есть не что другое, как электрическая искра, разря-

жающая электрическую напряженность облаков. Но в небесах нет ни стекла, ни сургуча, ни смолы, ни подушек, ни вертящейся рукоятки (!!!). Такие толкования переносят ограниченные условия, в какие поставлены земные тела, на свободные проявления живой деятельности природы. Но этого допустить нельзя, и непредубежденный человек не поверит таким об'яснениям». Здесь к Гегелю может быть применено его собственное учение о мере. Гегель явно переступил всякую меру, впал в чрезмерность, а потому в метафизическое высокомерие. А тот, кто высокомерен, сталкивается с судьбой в форме Немезиды, и она возвращает его на правильный путь, эту противоположность чрезмерности. Немезида есть божество, отмеривающее каждому то, что он заслужил; существует правильная мера, мера полноты жизни, которую никто не может преступить безнаказанно[1]). Радостный и справедливый рев ослов по поводу Гегелевских чрезмерностей—достойное возмездие великому диалектику, учившему столь красноречиво о мере.

8. Учение о теплоте и звуке.

В Гегелевском учении о теплоте мы снова находим несколько здравых идей. Они, правда, изложены на языке его метафизики, но если эту метафизику перевернуть с головы на ноги и сделать соответствующий перевод на удобопонятную речь, то нетрудно убедиться, что идеи Гегеля о теплоте совпадают в общем с итогами научного исследования.

Гегель прежде всего отвергает пресловутую теорию теплорода, рассматривавшую теплоту, как особого рода материю («тепловая жидкость»).

«Опыты Румфорда,—говорит Гегель (§ 304),—над разгорячением тел вследствие трения, напр., при сверлении пушек, давно могли бы доказать несостоятельность теории самобытного существования теплоты: эти опыты обнаруживают способ ее происхождения и убедительно доказывают, что она есть только состояние тел». Гегель выдвигает собственную теорию теплоты, как особого состояния тел. Формулировка Гегеля такова (§ 303): «Согретые тела снова теряют определенность своей формы, расплываются: их отличительные различия уступают место торжествующей над ними однородности. Другими словами, первоначальная, непосредственная непрерывность тела сменяется такою, где уже явившиеся в нем различия отрицаются, т.-е. распускаются, чтобы дать место восстанавливающейся, т.-е. деятельной, однородности и непрерывности. Вот почему в пространственном отношении тела расширяются от теплоты; этим обнаруживается, что они теряют те специфические свойства, при которых они равнодушно наполняют пространство».

Чтобы понять это определение Гегеля, необходимо вспомнить, что «различие внутренней природы тел», т.-е. их «специфические свойства», Гегель усматривал в различии удельного веса и сцепления (§ 242). Поэтому Гегелевское определение теп-

[1]) Куно Фишер, Гегель, стр. 488.

лоты может быть формулировано так: «теплота есть изменение удельного веса и сцепления» (§ 305).

Разберем это определение с точки зрения Гегелевских основных принципов. Мы показали, что изменение удельного веса и сцепления, если последовательно развить основные динамические идеи Гегеля, можно в конечном счете свести к движению материи. Следовательно, Гегелевское определение теплоты равносильно научному определению: теплота есть особого рода состояние движения. Что Гегель мыслил себе теплоту, как особого рода движение (энергию по нашей терминологии), видно, во-первых, из его решительного отрицания учения о теплороде: «однако же никто не скажет, что теплота есть тело или вообще нечто телесное» (§ 304); во-вторых, из определения теплоты, «как величины напряженной» (примеч. § 304) а не протяженной. А напряженные величины, с точки зрения динамизма Гегеля, означают движение. Во избежание обвинений в преувеличениях подчеркнем здесь[1], что мы отнюдь не приписываем Гегелю толкование напряженных величин в смысле только пространственного движения. В «заключительном замечании о механике Гегеля» мы указали, что Гегель вводит в физику не только количественное рассмотрение, но даже, главным образом, качественное. Поэтому понятие напряженной величины не исчерпывается количественным (относительно) моментом пространственного движения, но захватывает и момент качественности. Теплота, таким образом, это—движение, характеризуемое не только количественно (как пространственное движение), но и качественно (как качество теплоты). Что Гегель мыслил себе теплоту как род движения, видно также из устанавливаемой им связи между теплотой и звуком.

Гегелевское учение о звуке совпадает с обычным: звук есть колебательное движение («сотрясение») материальных частиц. «Материальное тело, состоящее из дробных частей, впервые обнаруживает свое простое единство в плотности тела и в сцеплении. Но потом в материальном теле взяли перевес самостоятельно существующие материальные части (в эластичности). Эта самостоятельность снова отрицается в общем продукте сотрясающего тела—в звуке».

Если эту метафизическую китайскую грамоту перевести на простой язык, то мы получим следующее: всякое тело, несмотря на то, что состоит из раздельных («дробных») частиц, все же непрерывно, т.-е. образует некое единство; это единство (зависимость, связанность) характеризуется плотностью тела, т.-е. специфической особенностью его частиц, и сцеплением, связывающим эти частицы. Но это телесное единство не абсолютно: в явлении эластичности мы обнаруживаем, что как плотность, так и сцепление могут изменяться: при растяжении, например, частицы удаляются друг от друга, показывая этим, что плотность изменчива и что сцепление не абсолютно, так как не удерживает частицы на одном и том же расстоянии. Но явление эластичности показывает все же самостоятельность частиц, ибо они «по прекращении внешней механической силы, восстанавливают свое первоначальное взаимоотношение» (§ 297).

[1] Это замечание относится также и к § об удельном весе и сцеплении.

Таким образом, если плотность и сцепление—это тезис единства (зависимости), то эластичность—это антитезис самостоятельности частиц. Звук же, по Гегелю, это—отрицание отрицания, т.-е. синтез, что нетрудно понять, если сообразить, что в колебательном движении частицы тела одновременно сохраняют свою связность, но, удаляясь от среднего положения колеблющегося тела, обнаруживают «самостоятельность» (упругость). Синтез достигается именно «через посредство движения, т.-е. сотрясения материальных частей во времени, при чем отрицается как самостоятельность материальных частей, так и их еще не полное единство, которое вызывают друг друга и следуют друг за другом».

Теперь нетрудно понять смысл § 302, касающегося связи между теплотой и звуком:

«В звуке отрицание самостоятельности материальных частиц сменяется возвратом их независимого существования, а потому он оставляет тело неприкосновенным, но эти материальные части действительно теряют свою относительную независимость, т.-е. изменяются в удельном весе и сцеплении, когда дают начало явлению теплоты.

Примечание. Известно, что звучащие тела, а также тела ударяемые и трущиеся друг о друга, разгорячаются. В этом случае обнаруживается необходимый переход от звука к теплоте».

Таким образом, согласно Гегелю, в явлении тепла обнаруживается полное нарушение «самостоятельности» частиц, т.-е. тепловое движение в противоположность эластичному и звуковому таково, что частицы тела теряют возможность восстанавливать свои прежние взаимные отношения.

Замечательно то, что это Гегелевское определение теплоты, как «восстанавливающейся однородности» материальных частиц (§§ 303 и 304) очень близко подходит к устанавливаемому вторым законом термодинамики (закон энтропии) гипотезы рассеяния энергии. Самая общая формулировка закона энтропии такова: вероятный ход мировых процессов таков, что разнообразные формы энергии превращаются в равномерно распределенную тепловую энергию. В современной науке теплота рассматривается, как энергия беспорядочного, хаотического движения материальных частиц, и закон энтропии утверждает именно, что в известном смысле «теплота есть восстанавливающаяся однородность», отрицающая специфические различия (в энергетическом по крайней мере смысле) частей материи: буквальный смысл слова хаос—равномерно распределенная материя, и если свойства материи, действительно, зависят от ее движения, то хаотически распределенная энергия, т.-е. теплота, в которую стремятся перейти различные «организованные» (космические) формы энергии, означает именно переход к однородности, как это утверждает Гегель.

Мы предвидим здесь возражение, что от научного закона энтропии до Гегелевских формулировок дистанция огромного размера. Это, конечно, верно, но все же нельзя отрицать, что общее наблюдение явления теплового движения толкает человеческую

мысль в направлении признания тепла всеобщей формой энергии. Вот почему Дюгем усматривает зачатки закона энтропии даже в перипатетической физике Аристотеля и средневековья [1].

Гегель, например, говорит (§ 304):

«Так как теплота есть восстанавливающая однородность всех материальных частей тела, то она не остается замкнутой в этом теле, но передается или сообщается другим телам и проявляется под видом наружной теплоты. Она проникает во все тела, которые страдательно воспринимают ее и т. д.»

«Восстанавливающаяся однородность»—это, без сомнения, продукт Гегелевской метафизики ступеней в развитии понятия, но несомненно также, что определенная метафизика тепла в действительности обусловлена наблюдением всеобщего распространения и значения тела в природе.

9. Учение о свете.

В Гегелевском учении о свете мы находим уже не метафизическую чрезмерность, но нечто выходящее за пределы всякой меры,—то неизмеримое, которое Маркс обозначил, как «пьяную метафизическую империю». Как видно из Натурфилософии Гегеля, последний был хорошо знаком с опытом и теорией естествознания, ему, стало быть, были известны все факты, принудительно заставлявшие ученых принимать те или иные теории, например, теорию волновой природы света вместо теории истечения и т. д. Но метафизике Гегеля необходимо было, чтобы на-ряду с материальной массой существовало нечто противоположное, нематериальное, посредством которого материальная масса обнаруживала бы свое существование. Этим не-материальным началом Гегель сделал свет. «Свет (§ 276) есть отражение светящегося тела в других телах, потому он невесом. Но он отражается в материальных телах, находящихся одно вне другого, и потому его распространению не имеет границ. Хотя свет распространяется в пространстве, подобно материальным телам, однако же он неразложим и неделим на части, потому что отражение светящегося предмета есть нечто не-материальное».

Гегель в подтверждение своей идеи света ссылается даже на восточных поэтов, которые утверждали, что свет есть прообраз бестелесной мысли. Гегель возмущается «варварским представлением Ньютона о том, что свет состоит из отдельных простых лучей, частиц, пучков, ибо «всякому известно, что свет нельзя класть в мешки, разделять на лучи и собирать в пучки» (!!).

Для метафизика Гегеля свет столь прост, «что незачем стараться об'яснять и истолковывать его распространение, говоря, что он состоит из сфер, волн, колебаний и т. д., или в лучей, т.-е. из прутьев, пучков и т. д.». Вот почему, с точки зрения Гегеля, не имеет никакого смысла давать какие-либо

[1]) См. его «Эволюцию механики».

об'яснения таким явлениям, как поляризация, например. Все очень просто. Свет все же распространяется в пространстве и, следовательно, подчинен пространственным соотношениям, что обнаруживается в явлении поляризации определенным пространственным соотношением плоскостей поляризующих зеркал.

Удивительно, однако, то, что, несмотря на эти метафизические излишества, Гегель в частном случае сумел высказать здравые идеи о природе света, идеи, далеко опередившие его время.

Мы имеем в виду Гегелевскую теорию преломления и теорию цветов. Эта теория в общем и целом неверна, и Гегелевская защита воззрений Гете на этот предмет совершенно бесплодна. Но в одном пункте Гегель оказался несомненно прав. Пункт этот хорошо рисует силу диалектического метода в научном исследовании.

Речь идет о природе белого света и о том, каким образом различные среды преломляют и разлагают белый свет на цвета.

«По теории Ньютона,—говорит Гегель (§ 320),—как известно, белый, т.-е. неокрашенный, свет состоит из пяти или семи цветов, потому что в точности это предполагается неизвестным. Нельзя найти достаточно сильных выражений для такой варварской теории, которая утверждает, будто даже свет может быть явлением сложным и будто световой луч может быть результатом семи теневых лучей; это все равно, как если бы кто-нибудь стал утверждать, будто светлая вода может состоять из семи землистых веществ». Аргументация Гегеля никуда, конечно, не годна, но то существенное, что содержится в его утверждениях, оказалось верным в свете новейших теорий о природе белого света. Ведь что собственно хочет сказать Гегель, возражая против воззрений Ньютона? То именно, что нельзя абстрактное расчленение предмета принимать за реальное разделение. С точки зрения диалектического метода можно утверждать, что изображение белого луча, как простой суммы цветных (монохроматических), не что иное, как абстракция. Этого, конечно, нельзя утверждать априори, как это делает Гегель, на основании метафизических соображений, ибо нет ничего немыслимого в представлении о сумме монохроматических лучей. Но искусственность такого представления сразу бросается в глаза, особенно с точки зрения волновой теории: если свет есть волновое движение, то сумма нескольких волновых движений дает одну результирующую волну, и, следовательно, обычная теория разложения этой результирующей волны на составляющие не дает никакого об'яснения, а только констатирует эмпирический факт. Вот почему в последние десятилетия начала намечаться более диалектическая точка зрения на природу белого света и на механизм его разложения. Мы сопоставим некоторые выводы новейших теорий с воззрениями Гегеля [1]). Сущность этих воззрений в том, что разложение белого

[1]) Хороший обзор новейших воззрений на природу белого света дан Ф. Ф. Соколовым в сборнике «Новые идеи в физике» (№ 5), откуда мы заимствуем нижеприводимые сведения.

света об'ясняется «помрачающим действием сред... §§ 318, 319 и 320 Гегель подчеркивает значение плотности ... ще характера среды в явлении преломления и разложения ... та. Так как по учению Гегеля, совпадающему с теорией ... тов Гете, цвет об'ясняется наложением света и тени, то ... среды заключается именно в «производстве тени».

«Самая знаменитая помрачающая среда,—говорит Ге... (§ 320),—есть стеклянная призма, действие которой зависит ... наклонности ее плоскостей и т. д.». Если отбросить специфи... Гегелевскую «простоту» белого света и его теорию «помрачающ... буквальном смысле, то необходимо сказать, что новейшие те... совпадают в существенном с учением Гегеля. Согласно ... шим теориям белый свет действительно прост, т.-е. рассм... вается, как нечто единое, а разложение света на цвета ... ясняется действием среды: призма, например, возбуждаем... лым лучом, испускает монохроматические (цветные) колеба... это испускание обусловлено внутренним строением среды.

Согласно Ф. Ф. Соколову, впервые ученый Гуи (188... стал на новую точку зрения в вопросе о природе белого све... его разложении.

«Гуи отверг как схематические представления волновой ... рии, по которым в белом свете заключается комплекс ... ных колебаний, так и идеи Френеля относительно «групп» ... гулярных колебаний [1]). Следствием этих соображений яви... ся необходимость приписать разложение белого света в при... непосредственному действию последней. В этом пункте ... идеи как бы возвращают к давним взглядам, существова... до опытов Ньютона: призма производит всю прави... ность выходящих из нее монохроматических ко... баний» (стр. 27).

К идеям Гуи присоединился прежде всего знаменитый ... зик Рэлей (1889 г.), а затем Шустер (1899 г.).

Согласно Гуи, Рэлею и Шустеру, «белый свет следу... представить себе, как иррегулярный поток и... пульсов, имеющих некоторый определенный ви... Таким образом, с точки зрения этой теории, простота и ... ство белого света—в его иррегулярности, как потока свето... импульсов.

В дальнейшем идеи Гуи, Рэлея и Шустера развивали ... бино (1901 г.) и Планк («Теория теплового излучения»). Пос... ний устранил некоторые возражения, сделанные против ... воззрений и дал теорию, согласную со всеми опытными ... ными и об'единяющую выводы своих предшественников.

Оставляя в стороне подробности, касающиеся механизма д... ствия сред (в частности призмы) и др., заметим лишь, что ... новейших учений в конечном счете совпадают по существу ... диалектической точкой зрения Гегеля: белый свет в изве... смысле прост, а разложение света есть действие сред; класси... ское же разложение рассматривается, как математическа... стракция.

---

[1]) Согласно Френкелю, белый свет не является простым комплекс... «идеальных» периодических колебаний, соответствующих цветам, а ... сом, состоящим из «групп» правильных колебаний, прерываемых пертурб...

10. Гегелевское учение о магнетизме, электричестве и химизме.

Явления магнетизма, электричества и химизма должны были более всего интересовать Гегеля, так как в них наглядно овеществляется, так сказать, основная идея его логики: единство противоположностей. Но это именно обстоятельство вероятно обусловило то, что Гегель отвел сравнительно небольшое место электромагнитизму и химизму. Гегелю казались достаточными приводимые им несколько формальных соображений о столь логически ясных явлениях [1]). Гегелевские краткие соображения о магнитизме, электричестве и химизме не лишены, однако, интереса. Чтобы их понять, необходимо вернуться назад к Гегелевской классификации натурфилософии. Напомним, что Гегель начинает с общих механических понятий (пространства, времени и движения), переходит к конечной механике, в которой рассматриваются чисто внешние зависимые и полусвободные движения и затем к абсолютной механике, предмет которой—свободное движение космических тел. Но «с механической точки зрения материя только тяготеет к внешнему центру и еще не имеет никакого индивидуального сосредоточения» (§ 271). Иначе говоря, в тяготении—этом высшем механическом явлении—мы имеем дело со всеобщим, безразличным движением, лишенным индивидуальных моментов. «Только вся солнечная система, взятая как целое, имеет центр внутри самой себя. То, что достигается целою солнечной системой, должно быть достигнуто каждым единичным материальным телом» (§ 271).

Основная мысль Гегеля, следовательно, такова: так как тяготение есть всемирное движение, то перед его лицом все тела безразличны. И лишь «когда материя определяется изнутри самой себя, она обособляется в индивидуальные тела. Она освобождается от законов тяготения, обнаруживается со всеми своими свойствами во внешности. Прежде только тяготение определяло ее пространственные отношения; теперь она перестает стремиться к внешнему центру: свойственная форма изнутри ее самой определяет ее внешние отношения» (§ 272).

Предметом физики и является именно материя, которая определяется изнутри самой себя, т.-е. специфические свойства материи, противостоящие безразличию тяготения.

Физика поэтому рассматривает (§ 273):

1) Космические тела, именно непосредственные физические качества космических масс.

2) Обособленные тела, в которых форма или физические свойства присоединяются к тяжести и определяют ее.

3) Цельные индивидуально-определенные тела, т.-е. подчинение физических свойств единству индивидуальности.

Чтобы пояснить это Гегелевское деление, напомним, что в «Физике обособившихся тел» рассматриваются удельный вес,

[1]) Эта «логическая очевидность» обусловила, конечно, обычные Гегелевские нелепости, вроде отрицания того, что вода состоит из водорода и кислорода (§ 330). Мы на них останавливаться не будем.

сцепление, звук и теплота. В удельном весе мы имеем не просто тяжесть, но специфическую (индивидуальную) тяжесть тел; в сцеплении проявляются силы явно уже противостоящие тяжести; в звуке «делается только попытка к нарушению сцепления частей тела»; в теплоте «это сцепление действительно нарушается» (§ 292): тепловое движение противостоит уже не только движению тяготения, но и силам сцепления.

«Наконец, цельные индивидуальные тела находят в самих себе тот центр или то суб'ективное единство, которое извнутри самого тела определяет его непосредственные отношения. Такое полное индивидуальное тело свободно в совершаемых им процессах и в то же время еще находится в зависимости от внешних условий, так как его свобода еще не восторжествовала над этими последними, не подчинила их своей власти. Будучи свободно, тело еще подвержено здесь чуждым влияниям; только в химическом процессе тела сочетаются в истинную целость, [illegible] такую целость, высшая ступень развития которой есть живой организм» (§ 308). Поэтому «Физика цельных индивидуальных тел» рассматривает (§ 309):

1) процесс внутреннего устроения тел, [illegible] которого самостоятельно обнаруживается в явлениях магнетизма.

2) процесс внешнего обособления и различения тел относительно друг друга, которое, достигая [illegible] ной противоположности, обнаруживается в явлениях электричества.

3) процесс, где различающиеся между собой тела [illegible] как моменты, в один цельный продукт, в одно цельное индивидуальное тело, это—процесс химический.

Этот ход мыслей Гегеля с несомненностью доказывает, [illegible] он рассматривал все явления природы,—от явлений механических до химических,—как различные формы движения [illegible] Гегель отвергает поэтому те магнитные и электрические [illegible] сти, которыми в его время физики об'ясняли электромагнитные явления (§ 324). Гегель подчеркивает поэтому тождество магнетизма, электричества и химизма, хотя настаивает на необходимости их различения (§ 313).

Если взять самое существенное в классификации Гегеля [illegible] сопоставить его с тем, что утверждает современная наука, [illegible] можно убедиться в общей правильности Гегелевских воззрений. Действительно, современная наука усматривает в природе [illegible] основных области—область тяготения и область электромагнетизма. Разложение атома на электрон и протон свело все силы природы на силы электромагнитные и тяготения. Тяготение и электричество—основные полярности природы, тяготение, [illegible] начало всеобщее, электричество, как индивидуальное, [illegible] ляющее все физико-химические свойства тел. А. Эйнштейн говорит поэтому (см. «Эфир и принцип относительности», стр. [illegible] «Так как по нашим современным воззрениям и элементарные частицы материи по своей природе представляют не что [illegible] как сгущение электромагнитного поля, то, значит, наша современная картина мира знает две совершенно различные по [illegible] жанию реальности, хотя причинно и связанные между собой

именно эфир тяготения и электромагнитное поле, или пространство и материю (можно и так еще назвать эти реальности)».

Если исключить несущественное выделение химизма, то классификация, указанная Эйнштейном, в точности совпадает с классификацией Гегеля.

11. Заключительное замечание к характеристике Гегелевской физики.

Данная нами характеристика Гегелевской физики вызовет, мы знаем, немало возражений со стороны знатоков Гегелевской системы. Будут указывать на различные тонко-спорные места, не соответствующие Гегелевской системе, на то, что Гегель не так, мол, понимал те или иные термины и положения и г. д. На все это мы можем только ответить указанием В. И. Ленина, как следует читать Гегеля.

Нам хорошо известно, что при изложении натурфилософии перед умом Гегеля постоянно витала предпосылка его идеалистической системы, но мы сознательно перевертывали систему Гегеля наизнанку. Вот почему не следует возражать против материализации терминов и положений, которые, без сомнения, имели у Гегеля частично идеалистический характер. Только такая материализация способна извлечь из философии Гегеля все то ценное, что в ней заключается. А ценного немало. Мы лично многому научились из натурфилософии Гегеля и не можем здесь не выразить своей признательности этому великому уму. Его ошибки, ошибки гения, это—не просто отрицательное, но отрицательное электричества, которое, притягивая положительное, разрешается ослепительной искрой света истины.

„Загадки“ первобытного мышления и их разгадка.

Р. Выдра.

«Для биологизации общественных наук время пришло». Так заявляет А. Богданов в своей статье «Учение о рефлексах и загадки первобытного мышления» («Вестник Комм. Академии», № 10, стр. 25). Ну, что ж,—пришло, так пришло, ничего не поделаешь. Не обращать же вспять бег времен и возвращаться назад к историко-материалистической точке зрения. Это было бы самой настоящей реакционностью и во всяком случае обнаружило бы полное несоответствие наших «координационных механизмов социальной практики» на той ступени, на которой мы сейчас находимся. Не стоит поэтому зря тратить время. Биологизация—так биологизация.

Как известно, этим трудом А. Богданов занимается уже давно. Кирпич за кирпичом он возводит свое стройное здание. И нашел, наконец, такой «кирпич», который достоин увенчать «биологизированную» постройку: учение Леви-Брюля о первобытном мышлении, о законе партиципации. Стоит его «сцементировать» с рефлексологическим «кирпичом», как в область общественных наук «проникнут также методы более точных наук».

Историко-материалистический метод не точен: он исходит из производственной точки зрения. Между тем, надо бы исходить из трудовой. Хотя, собственно говоря, разницы никакой нет. «Точка зрения исторического материализма есть в основе своей производственная или, что то же (курсив наш. *Р. В.*), социально-трудовая (курсив автора). Труд же есть система действий определенного типа, т.-е. двигательных реакций или рефлексов» (к чему же тогда огород городить, если все это—одно и то же?).

Историко-материалистический метод неточен. Он с детской наивностью хватается за поверхностные различия в таких явлениях, в которых «рефлекторно-биологическая» точка зрения видит глубоко лежащую единую сущность, единое зерно. Первобытная магия, обрушивающаяся на изображение врага—разве это не то же самое, что «уничтожение Керзона in effigie», доставившее истинное удовлетворение многим «юным патриотам»? А разве не ускользнула от историко-материалистической точки зрения та глубокая единая сущность, которая лежит в основе «голосования галок и «голосования» деревенского схода? Разве обратит когда-нибудь внимание исторический материализм на тождество брачных формальностей у туземцев Австралии и у современных европейцев? А «рефлекторно-биологический» метод с этой трудной задачей справился: «...Если у туземцев Австралии мужчины и

женщины одного тотема совсем не могут вступать в брак, то у европейцев, когда жених и невеста носят одну фамилию, венчающий их жрец (!) или мэр ставит вопрос о степени их родства» (стр. 92).

Но будет! Довольно! «Загадки» первобытного мышления и «загадки» современного мышления, временно исполняющие обязанности мэров—тотемы—и действительные мэры,—галки и крестьяне,—к чему вся эта галиматья? Или, быть может, иначе нельзя обосновать «рефлекторно-биологический» метод?

Признаться, если бы дело шло об историческом материализме вообще и биологизации вообще, не имело бы смысла подымать спор: в настоящее время он не принес бы никакой пользы и явился бы лишь повторением давно сказанного. Но Богданов касается конкретных вопросов, пытается об'яснить их со своей точки зрения и при этом так извращает факты, вносит в них такую «первичную неопределенность значений», что создает серьезную опасность водворения в общественных науках самой первобытной, самой алогической точки зрения. Не будем поэтому говорить о точках зрения, а обратимся к восстановлению фактов в их действительном значении.

Как известно, Богданов ничего не начинает без того, чтобы не высказать свое уважение Марксу. Такое место мы находим и в начале разбираемой статьи: «Маркс не только указал метод, он на ярком и жизненно-важном примере показал, как его применять на деле. Теория менового (товарного?) фетишизма—первый шаг новой науки о принципах мышления» (67). Отдав должную дань уважения, Богданов переходит к «углублению» теории. «Точка зрения исторического материализма есть, в основе своей, производственная, или, что то же, с о ц и а л ь н о-т р у д о в а я. Труд же есть система действий определенного типа, т.-е. двигательных реакций, или рефлексов по нынешней терминологии, придающих этому термину самое широкое и общее значение».

Итак, начало сделано: производство вообще сведено к социальному труду, социальный труд—к труду вообще, труд вообще к системе действий определенного типа, а последнее—к реакциям или рефлексам. Это, очевидно, более материалистично, чем учение Маркса. Что, действительно, может быть более материалистично, чем рефлекс, который, можно сказать, на наших глазах превращает одно движение в другое так, что не остается никакого места для мистификации, тайны? А раз это так, зачем же еще прибегать к посторонним посредствующим моментам, как производительные силы? Материализм и без них прет в глаза, зачем их затуманивать?

Однако для чего Богданову понадобилось начинать с точки зрения исторического материализма? Ведь «пришло время биологизировать общественные науки». Или для того, чтобы показать, что «биологизированные общественные науки» и есть ист. мат., и что, следовательно, Богданов и от Маркса не отступил, и «биологический» капитал приобрел? Мы покажем, что он ни того, ни другого не добился и лишь оказался в положении человека, погнавшегося за двумя зайцами.

Во-первых, откуда Богданов взял, что «точка зрения историч. материализма есть в основе своей производственная»? Богданов чувствует, а, может быть, и знает, что дает неверное определение

точки зрения историч. материализма и потому ввертывает словечко: «в основе своей». Мол, если опустите все специфические моменты, выделите зерно, «основу», тогда получится некоторый общий осадок—производство вообще. С таким фокусом уже имел дело Маркс, и вот что он говорит об этаком осадке: «Производство вообще есть абстракция, но абстракция понятная, поскольку она действительно выдвигает общее, фиксирует его и тем самым избавляет нас от повторений. Кроме того, это общее и сходное, выделенное путем сравнения, само является многократно расчлененным и включает в себя различные определения. Одни относятся ко всем эпохам, другие общи лишь некоторым. **Определения, приложимые ко всякому производству вообще, как раз и должны быть отброшены** (курсив наш. *Р. В.*), чтобы за единством не были забыты существенные различия; это может случиться уже потому, что как суб'ект—человечество, так и об'ект—природа, являются теми же самыми»[1]).

Ясно, что настоящий, подлинный исторический материализм отбрасывает то производство вообще, которым хочет воспользоваться Богданов, чтобы показать себя верным сторонником историко-материалистической точки зрения. Последняя уловка нужна Богданову только для того, чтобы замаскировать свой поход против ист. мат., усыпить внимание, а потом уж внутри лагеря ист. мат. вести против него свой подкоп. Ибо по существу Богданов в дальнейшем вполне определенно заявляет, что точка зрения ист. мат. должна быть отброшена и заменена рефлекторной, как более общей и более точной. В самом же деле словечко «производство» (для Богданова оно только слово) нужно ему для другой цели—для перехода к «социальному труду», представляющему другую сторону производства. Само по себе взятое понятие «социального труда», в своем неразвитом виде, так же мало говорит, как и производство вообще. Этим обстоятельством Богданов пользуется для того, чтобы поставить между ними знак равенства: мол, $\frac{0}{x}$ можно вполне приравнять к $\frac{0}{y}$.

Но вот Богданов переходит к «раскрытию» неопределенного «Социальный труд»! По существу «социальный труд» ничем не отличается от труда вообще: определение «социальный» вносит лишь ограничение, но как в одном, так и в другом случае мы имеем дело с одной и той же сущностью. Если откинуть всякого рода ограничения—кому охота возиться с ограниченной мелочью!—то труд вообще выступит перед нами во всей своей беспредельной глубине и ширине, в самом чистом виде, не затуманенном никакими внешними определениями, как «социальный» и т. п. Этот незапятнанный «труд есть система действий определенного типа, т.-е. двигательных реакций, или рефлексов». Найдя эту «чистую» сущность, Богданов уже не боится повести ее обратно через опасные границы категорий «социального» «производства» и проч.: сколько бы они ни кромсали ее, они не уйдут от своей жертвы, так как благодаря ей они сами имеют смысл. Совсем по-гегелевски

[1]) К. Маркс, К критике полит. эконом., введение, стр. 11, изд. 1922 г.

Торжествующее заключение: «Производство (не страшно, не страшно, смотрите, что дальше будет!) представляет не что иное, как социально-организованную систему рефлексов». Торжествующее—потому, что обладает неопровержимостью известной математической истины: две величины, равные порознь третьей, равны между собой. Производство=труд; труд=рефлекс; производство= =рефлекс.

Все это совсем не смешно и нисколько не претендует на шутку. Вопрос, поднятый Богдановым, сводится к вопросу об отношении между производством в целом и живым трудом. С точки зрения Маркса ни одно человеческое поколение не начинает трудиться без того, чтобы не использовать доставшиеся ему в наследство производительные силы или овеществленный труд. «История есть не что иное, как последовательная смена отдельных поколений, из которых каждое эксплоатирует переданные ему всеми его предшественниками материалы, капиталы, производительные силы; поэтому он продолжает, с одной стороны, при совершенно изменившихся обстоятельствах деятельность своих предшественников, а с другой, действуя совершенно иным образом, видоизменяет старую обстановку...»[1]). Производство, следовательно, не сводится к одному только живому труду; оно представляет собою сочетание живого труда с полученным в наследство общественным трудом. И с этой точки зрения вполне понятно, почему между производством и трудом существует отношение, а не тождество. Также понятен и характер отношения: с ростом производства, ростом, основным на развитии производительных сил, может уменьшаться количество живого труда. Эта возможность превращается в действительность, когда общество переходит в результате революции к сознательному регулированию процесса производства.

Но что же получается у Богданова с его точкой зрения тождества производства и труда? Так как относительное уменьшение «трудовых рефлексов» или труда, выразившееся в переходе от неограниченного рабочего дня к 12-часовому, от 12-часового к 10-часовому, от 10-часового к 8-часовому представляет собою неоспоримый факт, то столь же неоспоримым должен быть факт соответствующего сокращения производства. Утверждать последнее не осмелится ни один здравомыслящий «рефлексолог». Как же тогда быть с тождеством производства и социально-организованной «системы рефлексов»?

Собственно говоря, вся эта «система рефлексов» привлечена Богдановым на совершенно другой предмет, о котором говорится в заглавии его статьи: загадки первобытного мышления. Поскольку Богданов пытается приложить учение о рефлексах к историческому периоду человеческого общества, можно было бы подобное «приложение» оставить без рассмотрения: слишком скучное и бесполезное занятие. Совершенно другое дело, когда Богданов пускается в столь неизведанную область, как загадки первобытного мышления. Здесь он не чувствует необходимости расшаркиваться перед Марксом,—край, можно сказать, непочатый, исследование его только начинается,—как не водрузить там заблаговременно «рефлексологического» знамени? Тем более, что

[1]) Архив М. и Э., кн. I, Маркс и Энгельс о Л. Фейербахе.

«производство» первобытных народов как будто не обладает столь злокозненным моментом, как полученные от предшествующих поколений производительные силы: охота, рыбная ловля, колдовство, магизм и пр.,—одни, можно сказать, рефлексы и более ничего. Если же еще принять во внимание, что исследование первобытных народов сравнительно недавно поставлено на научную почву и потому предоставляет довольно широкий простор для разнообразных теорий, станет совершенно понятным стремление использовать каждое вновь появляющееся учение в качестве материала для подтверждения своей общей точки зрения. Таким именно учением стала для Богданова теория Леви-Брюля о первобытном сознании. Коллективные представления и закон партиципации нашли, наконец, свое призвание: они должны обосновать общую теорию Богданова. Весь вопрос заключается лишь в том, что после такого «обоснования» остается от коллективных представлений и закона партиципации, с одной стороны, и «теории» Богданова—с другой.

Наиболее характерными моментами коллективных представлений являются: 1) независимость их от индивидуальной психики, 2) передаваемость от поколения к поколению и 3) навязываемость коллективных представлений каждому поколению. Таково фактическое положение вещей, которое не думает оспаривать Богданов. Он только говорит, что Леви-Брюль, давши правильную картину первобытного сознания, лишь описывает его, а не об'ясняет. По поводу этого замечания следует в скобках сказать, что оно совершенно неверно. Леви-Брюль всю свою задачу как раз видит в том, чтобы дать об'яснение всему первобытному сознанию, исходя из коллективных представлений и закона партиципации, устанавливая их в качестве причин, определяющих все первобытное сознание. Другое дело, насколько это об'яснение правильно. Но Богданов подобный вопрос оставляет в стороне, подменяя его совершенно другим. Во всяком случае Богданов нигде не пытается прямо опровергнуть ту фактическую картину, которую дает Леви-Брюль, а, наоборот, стремится как будто использовать ее в интересах своей общей точки зрения.

Итак, алогизм на службе у Богданова. Но какой жестокой эксплоатации он подвергает несчастное первобытное мышление! Во-первых, оно должно пройти через рефлексологическое чистилище, испытать на себе тяжелое влияние устанавливаемого Богдановым режима по схеме: действие—слово—мысль. Очистившись таким манером, оно, во-вторых, должно отказаться от всех своих функций за исключением одной, которая и должна служить верой и правдой Богданову,—функции обобщения. Ибо, как известно, все «...отношение алогизма и логизма сводится вообще к отношению обобщающей и дифференцирующей тенденции в мышлении на основе тех же тенденций в практике...» (84).

В-третьих, срок службы первобытного мышления растягивается до бесконечности с обязательством выполнять свою функцию и в современном мышлении, так как «...весь генезис логизма» сводится к дифференцированию рефлексов, как собственно-практических, так и символизирующих» (83).

Не приходится спорить, что схема—действие—слово—мысль—прекрасная схема, чисто-материалистическая схема, можно сказать, прямо опирающаяся на марксистское положение: в на-

чале бе дело. Конечно, никто не станет сомневаться в том, что в развитии органического мира **определенного рода действия** предшествовали их словесным обозначениям и мыслям о них. Можно даже с полной уверенностью утверждать, что люди научились, например, раньше бегать, а уж потом толково рассказывать об этом. Но при чем тут первобытное сознание, теория Леви-Брюля и обнаруженные Богдановым загадки? В какой связи находятся характерные черты представлений первобытного мышления—независимость, передаваемость и навязываемость—с достопримечательной трехчленной схемой? Ведь нельзя же во время рассуждения забывать или подменять предмет, о котором оно ведется. Ведь нельзя же, сохраняя научную добросовестность, ставить определенный вопрос о значении теории Леви-Брюля, в дальнейшем сконструировать собственное первобытное мышление и продолжать делать вид, будто все время имеешь дело с тем же в начале поставленным определенным вопросом. Между тем, так и именно так поступает Богданов. Пользуясь чистейшей абстракцией, создавая совершенно отвлеченного человека, помещая его в невероятные и вероятные естественные условия, Богданов копается в своем гомункулусе, находит в нем то, что сам вложил в него и с торжеством заявляет: «А вот, видите, новейшая теория Леви-Брюля находится в полном согласии со мной. Она толкует о тех же загадках первобытного мышления: словообразование, магизм, «**первичная неопределенность значений** звуковых и мимических символов», охотничьи и земледельческие обычаи и обряды и пр., и пр.». А, главное, упомянув обо всем этом, он продолжает разбирать поднятые вопросы со своей гомункуловской точки зрения, молчаливо допуская, что имеет дело с первобытным человеком Леви-Брюля!

Мы совершенно оставляем в стороне вопрос о схеме: действие—слово—мысль. К нему еще придется вернуться и подвергнуть особому рассмотрению и анализу. Но то, что нас интересует в настоящий момент, это—вопрос о реальном первобытном мышлении и тех реальных загадках, которые оно нам представляет. Дает ли оно в действительности основание утверждать, что оно может **непосредственно** быть сведено к рефлексам, хотя бы и «в самом широком значении, которое приписывается этому термину»? Не обнаруживает ли оно, наоборот, такие черты, которые говорят о длительном историческом опосредовании, о развитии форм, определяемых не непосредственным отношением человека к естественной среды и не механическим столкновением создавшихся **на почве этого отношения** рефлексов, а гораздо более глубокими причинами, коренящимися в общественном строе первобытных племен и присущих ему противоречиях? Достаточно ближе прикоснуться к первобытному мышлению для того, чтобы найти ответы на поставленные вопросы и тем самым выявить всю вздорность Богдановских построений.

В самом деле, какова основа первобытного мышления? Коллективные представления, обладающие независимостью от индивидуального сознания,—не в том смысле, что они ведут самостоятельное существование, а в том, что они являются результатом коллективного опыта и не могут быть выведены из индивидуального опыта,—передающиеся от поколения к поколению и передающиеся в порядке навязывания. От характера коллек-

тивных представлений зависит и закон их связи—закон соучастия или партиципации. В формулировке Леви-Брюля закон этот гласит: «Существует элемент, который всегда на-лицо во всех этих отношениях. Под различными формами и в различных степенях все включают в себе некоторую «сопричастность» между существами или предметами, которые соединены в коллективных представлениях. Вот почему, за неимением лучшего термина, я назову указанный принцип примитивного мышления «законом соучастия», партиципации,—принцип, который устанавливает связь и соприкосновения коллективных представлений» [1]). Совместим ли так сформулированный закон с законом партиципации, как его устанавливает Богданов, т.-е. можно ли закон партиципации свести к обобщению? Ведь мы уже здесь можем нащупать ряд посредствующих форм, через которые проходит первобытное мышление. Ведь уже сам закон партиципации немыслим без коллективных представлений. А последние, в свою очередь, уже включают в себе чисто коллективный момент, раз они не даны в индивидуальном опыте и от последнего независимы. Богданов тоже толкует о коллективном опыте, получающемся в результате «обсуждения и решения». Но для того, чтобы построить свой коллективный опыт, Богданов предварительно строит чисто индивидуальный опыт членов рода, приводит его в механическое столкновение друг с другом, выводит на основе закона сложения сил равнодействующую, и... коллективный опыт готов! Наиболее типичными для указанного процесса Богданов считает «голосование» галок и «голосование» деревенского схода! Такова богдановская социальная психология! Можно ли принимать все это всерьез? Можно ли затуманивать весь этот вздор привлечением к нему учения о рефлексах?

Коллективные представления и вытекающий из них закон партиципации самым недвусмысленным образом отвергают всякую попытку непосредственного выведения их из индивидуальных рефлексов. Основное качество коллективных представлений—независимость от индивидуальной психики и способ их приобретения в момент посвящения указывают не на механическое столкновение рефлексов, а на исторически выработавшуюся форму образования опыта первобытного рода путем воздействия старшего поколения на младшее. Механическое столкновение рефлексов не дает никакой гарантии в том, что верх возьмет именно жизненно необходимый опыт старшего поколения. Да никакого столкновения тут не происходит. Младшее поколение, впервые посвящаемое в секреты рода юноши, вполне охотно, безо всякого сопротивления подвергаются всем жестоким испытаниям, связанным с приобретением необходимых коллективных представлений, сообщаемых при посвящении. «Обсуждать» и «решать» здесь совершенно не приходится, тем более в том смысле, чисто механическом, который приписывает этим действиям Богданов. «Мы видим,—говорит он,—что в процессах обсуждения и решения слова, а также и другие знаки, замещают трудовые реакции, практические действия, что для коллектива представляет огромный выигрыш со стороны экономии сил, как нецелесообразных их

---

[1]) Levy-Bruhle, Les fonctions mentales dans les sociétés inferieures, p. 76.

затрат» (78). Результат всех указанных процессов, по мнению Богданова, сводится исключительно к тому, что при этом не растрачивается энергия, не имеют места трудовые реакции, практические действия и т. д. Собственно говоря, если трудовые реакции представляют собою настоящие практические действия, то почему хорошо, когда они не происходят? Ведь действия являются практическими не потому, что их так назвал Богданов, а потому, что они приводят к определенной практической цели. Почему же представляет собою «выигрыш» невыполнение их? Дело об'ясняется очень просто, если принять во внимание, что Богданов только играет словами: «трудовые реакции», «практические действия» и пр.; раз «трудовые реакции» представляют собою рефлекс, встречающийся у первобытного индивида, ясно, что они что-то выполняют, имеют какие-то практические последствия, а следовательно, сами по себе превращаются в «практические действия»; словом, все есть практика. Такое понимание практики первобытного племени находится в полном противоречии с ее действительным значением. Первобытные практические обычаи и навыки отнюдь не составляют естественной принадлежности каждого члена рода. Наоборот, они являются исключительным достоянием руководящей возрастной группы, которая и не думает подвергать их обсуждению всех, у кого только имеются «трудовые реакции». Та же независимость, которая присуща коллективным представлениям, распространяется и на практику первобытного общества. Вернее, наоборот, независимость практики обусловливают собою соответствующий характер коллективных представлений.

Но что означает эта независимость? Если брать конкретное и фактическое положение вещей в первобытном обществе и не строить себе отвлеченного первобытного человека вообще, то независимость коллективных представлений и практических обычаев означает, что внутри первобытного племени существуют определенные противоречия. Конечно, они—не экономического характера, выросли не на почве развития производительных сил, следовательно, не на той искусственной базе, которую представляют собою естественные условия, подвергшиеся преобразованию человеческого труда. Противоречия первобытного общества коренятся в том расслоении, которое вытекает из естественного деления: полового и возрастного. Последнее имеет особо важное значение. Оно определяет тот факт, что руководство всей деятельностью первобытного общества сосредоточено в руках старшего поколения, являющегося носителем коллективного общественного опыта. Поскольку он никогда непосредственно не дается на столь ранней ступени развития и поскольку он всегда неизбежно и необходимо находится в противоречии с непосредственным индивидуальным опытом, он должен быть огражден от последнего и противостоять ему с гораздо большей убедительностью и силой. Такой результат получается лишь путем длительного исторического развития. Оно заключается во все большем отдалении действительно практического опыта от непосредственно-индивидуального. Готовый вид первобытной практики, который мы теперь находим, обнаруживает перед нами с наибольшей наглядностью ту историческую форму, в которую вылился процесс обособления,

отчуждения коллективного опыта от непосредственного, [illegible] форму независимого существования, сохранения в пределах ст[illegible] шего поколения. Насколько действительно практический [illegible] удален, «отчужден» от непосредственного, показывает в [illegible] очередь та форма, в которой руководящая возрастная груп[illegible] сообщает младшей свои представления и навыки: насильств[illegible] ное подавление всего непосредственного опыта младшего поко[illegible] ния, то, что Леви-Брюль называет навязыванием, сопровожд[illegible] емым самыми сильными физическими страданиями. Подобн[illegible] «сообщение» и «передача», кроме того, носят следы такой орган[illegible] зации, которая во всяком случае исключает непосредственн[illegible] подход к вопросу о возникновении «координационных механизм[illegible] социальной практики». Дисциплинированность, выдержка, [illegible] ное подавление всяческих рефлексов—таковы черты посвящени[illegible] свидетельствующие о весьма длительном историческом развити[illegible]

Можно ли при наличии таких фактов говорить о непоср[illegible] ственных столкновениях слов, символов, знаков, представляющ[illegible] собою сопутствующие рефлексу физиологические явления? Мож[illegible] ли, имея в виду конкретное первобытное мышл[illegible] ние, строить теорию о полной и неполной реакции, об органи[illegible] ционной роли в борьбе за жизнь, «меньших затрат энергии [illegible] неполных реакциях» (68), о полях зрения, о звуковых реакц[illegible] и пр.? Ведь это все—область самого непосредственного сознан[illegible] т.-е. та область, которая меньше всего участвует во всей пер[illegible] бытной практике и сознании. Это на более высокой ступени р[illegible] вития человек может позволить себе роскошь непосредственно[illegible] созерцания и непосредственного взаимодействия с окружающ[illegible] обстановкой. В первобытном обществе непосредственность мож[illegible] иметь очень печальные последствия. Поэтому мы там нигде [illegible] встречаем непосредственного отношения суб'ект—об'ект. Поэто[illegible] всякая теория первобытного сознания, начинающаяся с анал[illegible] безусловных рефлексов, связанных со «встречей с опасным [illegible] рем» и т. п. рассказами для детей младшего возраста, столь [illegible] мало имеет отношения к своему предмету, сколько теория о вл[illegible] пии солнечных пятен на политические судьбы земного ш[illegible] имеет к действительной, конкретной политике.

Действительно научный анализ первобытного сознания д[illegible] жен начинаться с его основы—коллективных представлений, о[illegible] деляющих собою характер всей идеологии первобытного общест[illegible] Специальная область ее, законы мышления, т.-е. связи и от[illegible] шения представлений, не может быть даже схвачена, если пр[illegible] ставлять их себе непосредственно вытекающими и сооб[illegible] зующимися только с естественными связями и отношениям[illegible] естественным течением процессов природы. Мышление пер[illegible] бытных обществ в первую очередь определяется в гораздо бо[illegible] шей степени воздействием общественной организации. Попы[illegible] Богданова свести основной закон первобытного мышления, [illegible] кон партиципации, к обобщению вносит лишь путаницу [illegible] смешение самых простых понятий. «Отношение алогизма [illegible] логизма сводится вообще к отношению обобщающей и д[illegible] ференцирующей тенденции в мышлении на основе тех [illegible] тенденций в практике...» (84). О каком обобщении гово[illegible] Богданов? Если о том обобщении, которое встречается как [illegible] гическая операция в современном мышлении, то, спрашивае[illegible]

почему оно попало в основные законы алогизма? До сих пор все считали, что обобщение является результатом довольно высокого развития мышления. Да и сам Богданов знает, что «обобщающая тенденция» тут совершенно не при чем. В другом месте он говорит совсем иначе: «Отсюда прямо вытекает основа первобытного алогизма—первичная неопределенность звуковых и мимических символов» (80). И из этой неопределенности Богданов хочет вывести неопределенность, присущую закону партиципации—все может быть связано со всем: раз основа неопределенна, раз звуковые и мимические символы расплывчаты и не имеют строгих границ, то и вырастающий на них закон их связи так же неопределенен, касается решительно всего и всех, охватывает все и всех, словом, «обобщает» все.

С точки зрения добросовестного научного подхода мы имеем здесь совершенно недопустимое смешение. Ни в коем случае нельзя определять действия закона партиципации, как «обобщающую тенденцию», противопоставляя ее дифференцирующей тенденции логизма. Последнее обстоятельство еще более усугубляет дело. Дифференциация, которую выполняет логизм, т.-е. мышление формальное, не оставляет места для различных толкований. Определенность, присущая логической дифференциации, сообщает такую же определенность обобщению, раз они друг другу противоставляются. «Обобщающая тенденция» перестает быть обобщающей тенденцией вообще, а становится именно тем обобщением, которое присуще развитой формальной логике. И среди бесчисленных тождеств, устанавливаемых Богдановым, мы находим новое тождество: неопределенность первобытной основы мышления=неопределенности современной абстракции.

Имеет ли в действительности место это тождество? Можно ли говорить о более или менее общих чертах, присущих обоим его членам? Ближайшее знакомство с законами партиципации дает категорический отрицательный ответ на поставленные вопросы.

Что означает неопределенность алогизма, на которой Богданов строит свою «обобщающую тенденцию»? По его мнению, она означает весьма неэкономное расходование энергии, имеющее причиной беспорядочное реагирование на действие окружающей среды. Поскольку рефлекс еще только появился,—Богданов полагает, что он присутствует при самом рождении рефлекса,—постольку он, как неопытный, реагирует невпопад, попадает пальцем в небо, заставляет то бежать от зверя, когда этого не надо делать и наоборот (как известно, Богданов—премированный охотник), то отождествлять себя с попугаем, как это делают бакаири,—словом тычется подобно слепому щенку и не дает своему суб'екту никакого определенного представления об окружающих его предметах. Если допустить, что такова неопределенность, на которой основан закон партиципации, то все-таки при чем тут обобщение? Где то общее, которое остается в результате капризного поведения первобытного мышления, его непростительного отождествления или, вернее, неразличения двух или более совершенно различных предметов? В отождествлении бакаири себя с попугаем где остается место для общего осадка, когда на-лицо нет различения, при котором частное могло бы отделиться от об-

щего, исчезнуть и оставить только последнее, когда бакаири никак себя не могут отделить от попугая?

Нет, тут дело обстоит совершенно иначе, чем представляет себе Богданов. Не говоря уже о недопустимости отождествления двух вышеуказанных неопределенностей, необходимо установить, что господствующий в первобытном мышлении закон партиципации совсем не свидетельствует о какой бы то ни было неопределенности. Наоборот, он даже слишком определенен. Он страдает невероятной конкретностью. Он устанавливает связи и отношения между такими конкретными сторонами явления, которые сами по себе никакой связи иметь не могут с об'ективной точки зрения. Так, прибрежные туземцы Гвинейского залива могут усмотреть сопричастность сегодняшнего прибытия к берегам парохода к грозе, имевшей место несколько дней до того, и притом именно в таком порядке: сначала прибытие парохода, а потом его участие в грозе. Мы ни в коем случае не поймем подобной логики если попытаемся вывести ее непосредственно из тенденции обобщения, ибо мы имеем здесь дело не с обобщением, а с действием опосредованным, вытекающим из основы закона партиципации, коллект. представлений. От них именно зависят все те причудливые «сопричастности», которые устанавливает закон партиципации.

Останавливаясь на законах языка первобытных обществ, Богданов опять-таки не находит ничего больше, кроме обобщения, основного на неопределенности. Тут уж само фактическое положение вещей опровергает Богданова. Язык, создающий специальные слова для различного направления ветров, но не имеющий слова для обозначения ветра вообще (туземцы Антильских островов), имеющий особые формы глагола для: я буду бить (вообще), утром, днем, вечером, ночью, снова и т. д.—язык, для которого «общей тенденцией являются описать не только впечатление, полученное от предмета, но и форму, очертания, появление, движение, способ действия предмета в пространстве, одним словом, все, что может быть замечено и обрисовано»[1],—такой язык ни в какой мере не заслуживает упрека в неопределенности, ḃ закон его образования нисколько не свидетельствует об обобщении.

Что же остается от пресловутой схемы: действие—слово—мысль в ее применении к загадкам первобытного мышления? Ничего, абсолютно ничего, пустая абстракция, основанная на детских сказках о «диких» народах. Действительные загадки первобытного мышления, имеющие место у реальных первобытных народов, остались для Богданова terra incognita. Да иначе и быть не могло. Богданов заявляет: «Задача и смысл (!) социальной психологии в ее об'ективно-научной постановке—по всей линии провести обследование того, как изменяются функции координационных механизмов социальной практики в зависимости от ее исторического развития» (79). Что означает «об'ективно-научная постановка», мы уже знаем: вся «об'ективность» сводится к построению такого об'екта, который не был бы запятнан никакими конкретными чертами, способными исказить «чистую незаинтересованность», такого об'екта, который был бы об'ективен в полном

[1]) Леви-Брюль, Умственная деятельность первобытных обществ. 75.

смысле этого слова, т.-е. ограждан от всяких посягательств со стороны чьего-либо общественного вмешательства. Что означает «обследование», мы уже тоже знаем: взять порцию рефлексов, порцию Майн-Рида или Фенимора Купера, смешать и болтать, болтать... (не взбалтывать), пока получатся известные Богданову «координационные механизмы». Так возникает «социальная практика», «историческое развитие» ее, и так... «проникают в общественные науки методы более точных наук». К счастью, общественные науки имеют весьма остро отточенное оружие, которым они пресекают путь всякого рода попыткам навязать им методы, подобные Богдановским, и очистить поле для действительного научного исследования настоящей живой общественной практики и реальной общественной психологии.

Необходимая реабилитация.

(Об одном ответвлении Смитианской школы во Франции: Канар и Курно).

В. Н. Позняков.

Habeant sua fata libelli [1]). Но судьбу имеют не только книги, иной раз и по отношению к тому или иному мыслителю судьба бывает порою капризной, а иногда и несправедливой. На самом деле: посвятить изрядную долю своей жизни научной работе, которая должна, если и не произвести полный переворот в науке, то во всяком случае проложить в ней новые многообещающие пути; опубликовать результаты своей работы и совершенно не привлечь внимания своих современников, и только после смерти получить это позднее признание,—но какое признание?—признание, связанное с полным перетолкованием, можно даже сказать, с полным искажением своих взглядов,—разве это не капризы судьбы, которые выпали на долю «забытого» экономиста Антуана-Огюстена Курно.

Антуан-Огюстен Курно родился 29 августа 1801 года в Gray (Haute-Saône). Происходил он из старой крестьянской семьи; и уже в течение ряда поколений многие представители ее занимали духовные должности или занимались интеллигентным трудом. Так, его дедушка был нотариус; эту должность унаследовал после него дядя Курно, который оказал на молодого Курно сильное влияние. Уже рано в молодости Курно пристрастился к научным книгам: он изучал «Mondes» Фонтенеля и «Système du Monde» Лапласа. В дальнейшем его более всего привлекала математика; ее он изучал и в школе, и особенным его вниманием пользовались книги: Кондорсэ «Essay sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix» и Лапласа «Essay philosophique sur la probabilités». Можно сказать, что они определили его дальнейший жизненный путь, а вместе с тем и тот путь, по которому он пошел в своих экономических исследованиях.

Позже мы видим его на кафедре высшей математики и механики в Лионском университете (с 1833 года); в следующем году он становится ректором академии в Греноблe и одновременно занимает кафедру на философском факультете. Эта его деятельность продолжается до 1862 г.—года его отставки; умер он в Париже 31 марта 1877 г. Его основной труд «Исследования математических

[1]) «Книги имеют свою судьбу».

матических основ теории богатства» вышел в Париже в 1838 году; но, несмотря на ожидания автора, взгляды, развитые им там, не получили никакого признания, его труд остался совершенно не замеченным. Так, напр., Адольф Бланки в своей «Истории политической экономии» совершенно не упоминает о Курно; нет также и указания на его «Récherches» в подробном библиографическом указателе, приложенном к «Истории», хотя там и упоминается менее заметный экономист Канар, которого сам Курно называет одним из своих предшественников, и о котором речь будет итти ниже. Тщетно также было бы найти указание или ссылку на Курно у Маркса.

Приписывая такой неуспех книги применению в ней математики и математических формул, которые могли бы быть недоступны для читателей, Курно перерабатывает свой труд, опуская из него все математические формулы и выкладки, и выпускает его в 1863 году под заглавием «Основы теории богатства». Еще раз он развивает свои экономические взгляды в «Общем обзоре экономических учений», вышедшем в 1876 г., за год до его смерти.

Курно писал не только по экономике, он оставил после себя также ряд работ по математике и философии. Но и его философские труды одинаково остались не замеченными, хотя Liard, рассматривая его философские взгляды, говорит, что он мог бы быть признанным главою самостоятельной философской школы стоящей посредине между Кантом и Контом [1]).

И тем не менее, по словам Lévy-Bruhl'я, «Курно при жизни оставался непризнанным, почти неизвестным. Ни его оригинальные идеи о приложении математического метода к политической экономии, ни его глубокое проникновение в природу исторических наук, ни блестящие плоды его педагогического опыта— ни одна часть его трудов вначале не снискала признания» [2]). Нас здесь будет интересовать только Курно-экономист.

Что за причина того, что взгляды и теории этого «великого» экономиста, по признанию некоторых новейших представителей экономической мысли, в течение шести десятков лет оставались совершенно незамеченными, что они не только не оказали никакого влияния на последующее развитие экономической теории, но остались для экономистов даже совершенно неизвестными? I. Fisher об'ясняет это тем, что Курно появился слишком рано [3]). Waffenschmidt в своем введении к немецкому переводу «Récherches» говорит, что, с одной стороны, Курно появился слишком поздно: если бы его работа вышла раньше—в эпоху Лапласа, дело приняло бы другой оборот; с другой стороны, он появился и слишком рано, ибо не пробил еще час современной математической школы в политической экономии [4]).

---

[1]) См. I. Fisher, Cournot and mathematical economics,—«Quarterly Journal of Economics», jannuary, 1898.

[2]) См. Avertissement к новому (второму) изданию труда: A. Cournot, Traité de l'enchainement des idées fondamentales dans les sciences et dans l'histoire, Paris 1911.

[3]) См. ук. статью, стр. 133.

[4]) См. Einleitung «Cournot» к немецкому переводу «Untersuchungen über die mathematischen Grundlagen der Theorie des Reichtums», Jena 1924, стр. 8 и 13.

Каково бы ни было это об'яснение, остается, однако, тот факт, что труд, Курно и его теория в продолжении более чем полувека оставались почти совсем не замеченными: может быть, в дальнейшем мы сумеем об'яснить это странное явление. Перед Курно не было никакого выбора: несмотря на упорную борьбу, ему оставалось только примириться с этим равнодушием и единственным утешением для него могла быть лишь надежда на то, что со временем его работы, так или иначе, но это признание получат. «Пусть потомство судит,—меланхолически замечает он в своих воспоминаниях,—надлежит ли ему подтвердить ту снисходительную оценку, которую дает себе сам автор, или же предать его мечтания забвению» [1]).

Действительность, повидимому, оправдала эти надежды Курно; в 70-х годах его раскапывают, более того, его об'являют даже великим экономистом, провозглашая его одновременно основоположником и первым пионером так называемой математической школы в политической экономии. Этим он обязан был Вальрасу и Джевонсу. «В признании после смерти Курно не было недостатка. Walras и Jevons указывали с равной признательностью, что они имеют в нем учителя и предшественника его метода. Новейшая теория Англии, Америки, Италии признает, что она своим методом обязана ему; благодаря его оригинальности и влиянию, которое он оказал на умы позднейших представителей своего направления, его с полной уверенностью можно назвать отцом экономической теории математиков» [2]).

Точно так же и другой признанный представитель новейшей математической школы I. Fisher, в упомянутой уже выше специальной статье о Курно, говорит о нем: «Можно прямо сказать, что Курно был главным основателем этой школы» (математической школы) [3]). Но он этим не ограничивается: дальше он провозглашает его не только основателем так называемой математической школы, но и вообще одним из предшественников наивульгарнейшей и наиповерхностнейшей современной буржуазной политической экономии. Останавливаясь на одном из частных положений Курно, он говорит: «Поскольку (у него. *В. П.*) $\varphi'(x)$ есть мера возрастания издержек на единицу возрастающего количества продуктов, т.-е. «предельными издержками», Курно может быть зачислен в число предшественников Джевонса, Менгера и Вальраса». И, доводя путаницу понятий до абсурда, впрочем характерного для этой «новейшей» школы политической экономии, он продолжает: «Этими предшественниками были Бернулли, Андерсон, Рикардо, фон-Тюнен, Рэ, Курно, Дюпюи и Госсен» [4]). Подобно этому, напр., и Отмар Шпанн относит Курно, на-ряду с Госсеном, Джевонсом и Вальрасом, к представителям математической школы, ставя ее к тому же в родство с теорией предельной полезности. При этом он называет Курно «основателем» этой школы [5]). Но не будем множить примеров. Не удивительно, что легенда о Курно, как основателе новейшей

[1]) Приведено у Waffenschmidt'a во Введении.

[2]) Waffenschmidt, указ. Einleitung.

[3]) I. Fisher, Cournot and mathematical economics, стр. 120.

[4]) Ibidem, стр. 127.

[5]) Dr. Othmar Spann, Die Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre, 1922, стр. 165.

буржуазно-экономической школы современности, получила широкое распространение; поскольку вообще приходится встречаться с указаниями на Курно, обычно его трактуют именно в том смысле, что он первый приложил математический метод к политико-экономическим исследованиям—в этом отношении приоритет принадлежит не ему, что, впрочем, оговаривает и сам Курно; но его называют первым математиком в том отношении, что у него якобы находятся все те основные положения экономической теории, на которых позднейшие представители математического направления построили свое громадное, но, откровенно сказать, никому не нужное здание экономической теории [1]).

Неудивительно и то, что, напр., в распространенной «Истории экономических учений» Ш. Жида и Ш. Риста именно от Курно, на-ряду с Госсеном, ведется родословная математической школы. Но это—прямая эксплоатация незнакомства с трудами Курно и с истинным характером его теории; одно применение математики и математических формул еще ничего не может сказать нам относительно самого главного—основных принципов данной теории. Иначе с таким же правом можно и Маркса отнести к предшественникам Marshall'a, Fisher'a e tutti quanti, только потому, что и он в своих исследованиях имел обыкновение прибегать и к математике, и к формулам. Гораздо правильнее смотрел на вещи более ранний представитель математиков Леон Вальрас.

«Курно,—говорит он,—является первым, кто попытался смело и серьозно приложить математику к политической экономии... Вот уже несколько лет, как я со своей стороны работаю над созданием чистой политической экономии, как естественной и математической науки. Мне удалось этого достигнуть, хотя я *основывался на иных экономических принципах* и прибегал к иным математическим приемам, чем Курно... Таким образом наши исследования *совершенно различны*, и могу сказать, что я у него заимствовал *только метод*» [2]). Вальрас, таким образом, подчеркивает, что только метод—а под ним он разумеет лишь применение математики—мог он заимствовать у Курно; но их *основные экономические принципы* различны. Правда, это различие в основных принципах он видит только в том, что Курно исходил от случая полной монополии и затем переходил к случаю свободной конкуренции, а Вальрас шел обратным путем—от свободной конкуренции к монополии,—в действительности различие здесь более глубокое, настолько глубокое, что навряд ли можно вообще отнести Курно к той же школе, представителем которой является Л. Вальрас, а тем более новейшие математики. Чтобы разрешить вопрос, нам нужно будет обратиться к самому Курно.

Для того, чтобы избежать ошибки в оценке Курно, нужно рассматривать его «Récherches» под правильным углом зрения,

[1]) Стоит только ознакомиться, как «истолковывает» Курно *Roche-Agussol* в своей статье: La Psychologie économique chez Cournot; см. Revue d'histoire économique et sociale (отдельный оттиск).

[2]) (Курсив мой). *Leon Walras*, Principe d'une théorie mathématique de l'échange,—«Memoire lu à l'Academie des sciences morales et politiques», Paris 1874, стр. 5—6; а также в «Théorie mathématique de la richesse sociale», Lausanne 1883, стр. 9.

прежде всего ознакомиться с тем, как сам Курно расценивал свой труд? Какие цели ставил он себе в своих экономических исследованиях? Вдобавок, не следует забывать, что Курно был прежде всего математиком; это, несомненно, должно было наложить определенный отпечаток. И политическая экономия заинтересовала его, главным образом, как особое поле для приложения той же математики. В его задачу, по его собственным словам, вовсе не входило создание какой-либо новой экономической системы, к которым, к слову сказать, он относился пренебрежительно. От этого он категорически отказывается; «весьма далекий от мысли писать в духе какой-нибудь системы, а также от того, чтобы встать под знамя какой-либо партии» [1])—так характеризует он самого себя. Точно так же он не желает давать «догматического и полного трактата по политической экономии». Его задача более узкая: в предисловии к «Récherches» он ее определяет таким образом. Политическая экономия,—говорит он,—сильно занимала умы почти в течение века (не забудем, что это написано в 1838 году) и никогда не была так распространена, как в настоящее время. Но в то же время всем наскучили всевозможные теории и системы, и теперь требуют, как говорится, положительного в этой области, т.-е. данных таможенной и др. статистик, а также официально публикуемых сведений. Таким образом, основываясь на опыте, стремятся разрешить важные вопросы, встающие перед страной и затрагивающие интересы всех классов.

Курно приветствует такое стремление, но в то же время, однако, указывает, что это вовсе не устраняет необходимости теории. Не нужно только смешивать такую теорию, построенную в конце концов на данных опыта, с теми системами, которые были неизбежны в младенческом возрасте всякой науки, и в области политической экономии в частности.

Тут же он отмечает и тот путь, по которому он намеревается итти; на это,—говорит он,—указывает уже само название его труда. «Я имею намерение,—так определяет его Курно,—применить здесь формулы и символы математического анализа». Он заранее предвидит, что это повлечет за собой осуждение его попытки со стороны признанных теоретиков, ибо еще сильны предрассудки в этой области; с одной стороны, многим экономистам просто нехватает необходимых познаний по математике, а с другой—установилась известная традиция, которую установили такие экономисты, как Смит и Сэй, которые писали по вопросам политической экономии, сохраняя в своем стиле все преимущество чисто литературной формы изложения. Это предубеждение, кроме того, питается еще и тем обстоятельством, что под приложением математики к этой области, т.-е. к политической экономии, разумеют обычно операции над числами; но не всякий экономический феномен может быть измерен и выражен определенным числом. Попытки такого применения математики, т.-е. измерить неизмеримое, а тем более несоизмеримое, не могут не быть неудачными. Курно вполне с этим соглашается и даже сам указывает на примеры таких попыток, кончившихся, по его мнению, как это и следовало ожидать, неудачей; примером тому служит ра-

[1]) «Récherches etc.», Preface, стр. 11.

бота Канара. Но подобное применение или подобное понятие о таком применении математики (или арифметики) еще вовсе не говорит против применения математического метода вообще и в этой особой сфере науки—в политической экономии.

Впрочем, на математическом методе Курно мы еще остановимся в дальнейшем. Теперь же только отметим, что он: 1) хотел подвергнуть обработке с помощью математического метода только такие вопросы экономической теории, которые вообще по своей природе могут быть подвергнуты такой обработке, и 2) подвергнуть такому анализу только вопросы спорные и неясные, или же еще неразработанные.

Поэтому не приходится ожидать от его «Récherches» большего, чем намеревался дать сам Курно. Мы не должны искать у него какой-либо новой экономической теории, подобной, например, теории Смита; такой целью он и не задавался. «Я не касался вопросов,—говорит он,—где математический анализ не может иметь места, а также вопросов, которые кажутся мне вполне раз'ясненными» [1]). Дальше мы увидим, что к этим не вызывающим споров и вполне раз'ясненным вопросам принадлежат как раз самые основные вопросы экономической теории, например, теория ценности. Курно на них и не останавливается, он исходит из них, как из данных; обстоятельство, которое упускается из виду очень и очень многими экономистами. Но вместе с тем нужно сказать, что взгляды Курно как экономиста и его место в истории развития экономической теории характеризуется не столько тем обстоятельством, что он прибегал к математическому методу, сколько характером этих исходных основных положений.

Здесь, однако, на время мы покинем Курно. Мы уже упоминали о Канаре и указывали, что он был одним из предшественников Курно в области приложения математического метода; правда, это приложение, по мнению Курно, оказалось неудачным. Но, и отвлекаясь от математики, его следует все же считать предшественником Курно также и в другом отношении: и тот, и другой принадлежат к одному и тому же экономическому направлению, представляя различные ступени в его развитии. Забегая вперед, скажем, что их взгляды представляют весьма любопытное ответвление школы Смита, оборвавшееся вместе с трудом Курно. Поэтому знакомство с Канаром даст нам возможность лучше определить то место в истории политической экономии, которое по праву принадлежит Курно.

Николай Франсуа Канар (1750—1833 г.г.) так же, как и Курно, математик (с 1795 г. профессор математики в Ecole centrale du dep. d'Aillier, затем в College de Moulins), и так же, как и Курно, писавший не только в области математики,—он писал также по вопросам права и метеорологии; ему принадлежат также и две экономические работы. Главный его экономический труд [2]) носит полемический характер и направлен против физиократов; по существу он представляет ответ на поставленный Institut Na-

---

[1]) «Récherches», Preface, стр. 10—11.

[2]) «Principes d'Economie politique, ouvrage couronné par l'institut national dans sa séance du 15. Nivôse an IX (5 janvier 1801), et depouis revu, corrigé et augmenté par l'auteur. Par F. N. Canard, ancien professeur de mathématique à l'Ecole centrale de Moulins, A. Paris an X (1801).

tional вопрос: «Правильно ли, что в земледельческой стране всякий вид налогов падает на земельного собственника?».

Однако обратимся к его «Principes»—труду, увенчанному премией Института, о чем, между прочим, никак не мог примириться Сэй, и за которым Адольф Бланки не отрицает известных достоинств. Конечно, излишне говорить, что самостоятельной теории Канар не создал; он является учеником Смита, иногда вносящим в его теорию некоторые, порой любопытные модификации; ново, разве, его приложение математики, но и здесь он только облекает взгляды Смита в математическую оболочку. Можно еще прибавить, что Канар—француз, работу свою писал на родине физиократии, и взгляды физиократов оказали на него более сильное влияние—и положительное, и отрицательное.

Уже чисто формальный признак—его работа есть ответ на указанный выше вопрос—определил и ее построение. Канар начинает свое исследование с вопроса о ренте, и значительную часть книги посвящает теории налогов. Известно, что физиократы, признавая производительным только земледельческий труд, высказывались за единый и единственный поземельный налог,—требование, которое ярко характеризует их, как представителей интересов капитала. Канар, несмотря на свою теоретическую оппозицию к ним, был таким же представителем интересов развивающегося капитализма; но только острие его требований направлено уже в другую сторону—не по адресу землевладельцев, а в сторону низших классов. Исходя в общем из основных положений Смита, считая всякий труд производительным, он развивает свою «оптимистическую» теорию налогов, сущность которой сводится к следующему. Если в обществе установилось известное равновесие в распределении доходов, то каким бы способом ни черпало правительство средства в виде налогов, в какой бы форме оно их ни взимало, налоги в конце концов распределяются между различными группами населения соразмерно их способности нести этот налог. Пертурбацию в это распределение вносит всякий вновь вводимый налог; но при этом страдают, главным образом, и без того слабые. На этом основании он и высказывается за сохранение уже существующих налогов. Вообще же он предпочитает косвенные налоги, и притом не на предметы роскоши, а на предметы первой необходимости; идеальным налогом, с его точки зрения, был бы пресловутый налог на соль, существовавший во Франции l'ancien regime'a [1]). Однако теорию налогов мы оставим в стороне и перейдем к тому основному вопросу, который является стержнем всякой экономической теории—к теории ценности. Ее не мог, конечно, обойти и Канар.

«Вообще,—говорит он,—все то, что имеет ценность среди людей, обязано своей ценой различному труду, который был к этому приложен» [2]). И тут же поясняет: «Например, если я мысленно отвлеку всякий труд, последовательно приложенный при изготовлении моих часов, то останется только некоторое количество минерала, находящегося в земле, откуда его извлекли, и где он не имеет никакой ценности». Также и в других местах он решительно заявляет: «Только труд производ

[1]) См. Canard, Principes, стр. 201.

[2]) Principes, стр. 6.

все то, что имеет ценность среди людей» [1]). «Все что имеет ценность среди людей, имеет ее благодаря труду» [2]).

Перед нами, таким образом, основное положение теории трудовой ценности Смита; остается, разве, подчеркнуть, что из различных определений ценности Смита Канар выбирает наиболее правильное, которое к тому же и у самого Смита является основным [3]). Итак, в самом основном, можно сказать, решающем пункте экономической теории Канар выступает перед нами, как определенный сторонник трудовой теории ценности и продолжает традицию смитовской школы. Дальше мы увидим, как обстоит дело в этом отношении у Курно.

Смиту, как известно, не удалось, оставаясь на почве развитой им теории ценности, об'яснить реальные явления современной ему экономической действительности, а именно отношений начинающего развиваться крупного капиталистического производства; для этого он создал свою «естественную цену». Не удается это и Канару. Труд, приложенный к продукту, придает ему ценность; но какой труд? Понятие абстрактного труда ему, как и следует ожидать, осталось чуждо; но это понятие вообще лежит в основе всякой трудовой теории ценности, как его явная или скрытая предпосылка; поэтому и Канару пришлось внести некий суррогат этого понятия. «Следует различать в человеке труд, необходимый для его сохранения и труд излишний» [4]). Первый—это труд, затрачиваемый на покрытие естественных потребностей, без чего немыслимо существование; наоборот, «труд излишний»—это труд, затрачиваемый сверх необходимого; дикари ограничиваются только необходимым трудом, все же остальное время предпочитают проводить в праздности. Но можно этот «излишний труд» употребить или на культуру земли, или на обучение мастерству или искусству, можно также на продукты, произведенные этим «излишним трудом», в свою очередь купить труд для приложения его или к обработке земли, или для производства других продуктов,—этот труд становится «излишним трудом требования» [5]). Этот «излишний труд требования» и становится источником рент, а также и собственности. В сущности этот «излишний труд требования» представляет из себя некоторый псевдоним для категории прибавочной ценности. Неразвитая еще французская капиталистическая действительность детерминировала у него ту путаницу, которую мы находим даже в этом вопросе. Так, напр., он провозглашает этот «излишний труд требования» единственным источником благ или товаров [6]), это вполне естественно, если принять во внимание, что в неразвитом товарном обществе товарами, как общее правило, становятся только излишки, и труд, необходимый для поддержания

[1]) Principes, стр. 171.

[2]) «Rien n'a de valeur parmi les hommes que par le travail»,—Principes, стр. 231.

[3]) Об этом см. мою статью: «Теория ценности и прибыли в учении А. Смита», в сборнике «Проблемы теоретической экономии», «Московск. Рабочий» (печатается).

[4]) Canard, Principes, стр. 4.

[5]) Travail superflu éxigible. Собственно говоря, таким излишним трудом, который может быть потребован, или может быть получен. Мы будем переводить его выражением: «излишний труд требования».

[6]) См. Principes, стр. 21.

существования, вообще не принимает товарной формы. А с другой стороны, под необходимым трудом он понимает труд (точнее, труд, заключенный в продуктах), который затрачивается не только для поддержания своего существования, для своего сохранения, но и «для эксплоатации своего продукта» [1]); под этим он понимает труд, затрачиваемый на восстановление постоянного капитала. «Излишний труд требования» может быть затрачен на улучшение культуры земли, и в той мере, в какой он вложен в землю, она получает ценность и приносит земельную ренту, а, с другой стороны, он может быть затрачен на обучение мастерству или искусству—получается обученный труд, который начинает приносить промышленную ренту. Отсюда деление труда на «труд естественный» и труд обученный, совпадающее, хотя и не совсем, с первым.

При появлении обученного труда возникает следующее затруднение: какой же труд—естественный или обученный — является теперь мерилом ценности? И тут Канар также следует за Смитом: он просто об'являет свою теорию ценности неприложимой в том состоянии общества, где имеется на-лицо также обученный труд, т.-е. в цивилизованном обществе [2]); приведем, однако, одно чрезвычайно любопытное место.

«По какому принципу определяется ценность всякой вещи? Так как все, что имеет цену, есть результат труда, то прежде всего ясно, что ценность какого-либо предмета должна определяться трудом, которого он стоил. Во-вторых, также ясно, что если бы все люди были ограничены только потребностями, абсолютно необходимыми для их существования, если бы всякий труд был естественным трудом, который различался бы только по времени (его затраты. *В. П.*), *то только продолжительность труда была бы тем, что измеряет ценность; таким образом, день и час были бы теми номинальными единицами и частями единицы, которые определяли бы ценность всякой вещи.* Вероятно, что подобным подразделениям времени обязаны своим происхождением такие номинальные единицы, принятые у различных народов, как франк, фунт стерлингов, флорин и т. д. *Но различные виды обученного труда представляют такое большое разнообразие в ценности труда, что время не может служить для них мерилом ценности»* [3]). Следовательно, мерилом ценности может быть только естественный труд; но на-ряду с этим у него таким мерилом ценности выступает уже не труд, а ценность труда (т.-е. заработная плата). Это проступает уже и в приведенной цитате, об этом же говорит он и в своей теории цены.

Прежде чем перейти к ней, остановимся на минуту на его теории денег, ибо у него мы находим зародыши некоторых марксовых определений. Деньги есть орудие обращения; но они имеют свою собственную ценность, с которой они и входят в процесс обращения. Соглашение людей употреблять деньги не может придать им какой-либо ценности: «Металлические деньги есть

[1]) Ibidem.

[2]) Напомним, что и для Канара всякое цивилизованное общество есть общество капиталистическое; историзм чужд и ему.

[3]) (Курсив мой). Canard, Principes, стр. 26—27.

товар, надлежащая проба которого об'явлена посредством изображения (чекана), которое они носят. Таким образом не следует рассматривать деньги, как знак, представляющий все вещи; одно ею содержит в себе столько труда или столько же внутренней ценности, как и то количество продуктов, на которое оно обменивается. Металлы только потому и приняты были в качестве средства обмена, что они имели употребление и ценность, независимую от обмена; и только потому, что они имели эту ценность они и служили товаром-посредником для обмена других товаров; таким образом ценность денег не имеет ничего условного» [1]). Но в таком случае сам собой поднимается вопрос о количестве денег, потребном для обращения. Мы видим, что товары переходят из рук продавца в руки потребителя, а деньги совершают обратное движение [2]), отсюда, при отсутствии кредита и при расчете только на наличные, «требуется, чтобы в обращении находилась масса денег, равная массе обращающихся товаров» [3]). Но циркуляция товаров может происходить с различной скоростью, в этом случае потребное количество денег уменьшается во столько же раз, во сколько увеличивается скорость этой циркуляции. «Таким образом, при прочих равных условиях, чем быстрее обращение, тем менее требуется денег [4]).

Правда, дальше мы встречаемся уже с несколько иными положениями. «Ценность денег,—говорит он,—находится в обратном отношении к тому количеству, которое соответствует в обращении данной массе товаров» [5]); и тут же он ставит ее также в зависимость от развития кредита и количества бумажных (собственно, кредитных) денег. Вообще, у него проскальзывают черты количественной теории: и в данном вопросе он не отступает от традиции Смита. Кроме того, в дальнейшем он непосредственно также отождествляет богатство с общим количеством циркулирующих денег (металлических и кредитных) [6]). Но эти уклонения у Канара остаются на самом деле только уклонениями: на первый план у него выдвигается его основная, правильная теория денег, которую он развивает довольно последовательно.

Переходя к его теории цены, прежде всего приведем его определение цены: «цена есть не что иное, как отношение ценности одной вещи к другой; но так как сравнивают все с ценностью золота или серебра, то цена есть отношение ценности всякой вещи к ценности определенного количества того или иного из этих металлов» [7]).

Подчеркнутое, по крайней мере, с внешней стороны, звучит совсем по Марксу [8]).

Но тут следует логический скачек; не будучи в состоянии с помощью принятой им теории ценности разобраться в явлениях цены и тесно с нею связанных вопросов распределения, Канар отбрасывает ее и одним ударом всплывает на поверхност-

---

[1]) Canard, Principes, стр. 24.
[2]) Principes, стр. 62.
[3]) Ibidem, стр. 63.
[4]) Ibidem, стр. 65.
[5]) Ibidem, стр. 71—72.
[6]) См. ibidem, стр. 123.
[7]) Canard, Principes, стр. 26.
[8]) K. Marx: «Der Werthausdruck einer Waare in Gold ist ihre Geldform oder ihr Preis».

ную видимость явлений обмена. Впрочем, дальше мы увидим, как он все же пытается связать свою теорию цены с теорией ценности.

«Для того, чтобы показать общую причину, которая определяет цену всякой вещи, нужно анализировать правила обычного поведения людей в их сделках» [1]). Что же это за принципы? Всякий стремится к возможно большему наслаждению, т.-е. старается присвоить себе возможно большее количество «излишнего труда требования» или богатства. Всякий продавец стремится получить за свой товар возможно более высокую цену; напротив, покупатель стремится дать за товар возможно меньше. Возникает, таким образом, коллизия: Канар предполагает, что всякий продавец **должен** продать свой товар, а покупатель **должен** его купить; но это возможно только в том случае, если продавец будет понижать назначенную им первоначально цену, а покупатель ее повышать до тех пор, пока они не совпадут; тогда возможна сделка.

На каждом рынке можно, в результате, констатировать разницу между первоначально назначенными ценами со стороны продавцов и первоначальными ценами, предлагаемыми покупателями. Из-за этой разницы и происходит борьба, в которой каждая из сторон стремится получить возможно большую ее часть. К анализу этого процесса Канар и применяет математический метод.

Эту разницу Канар обозначает буквой L; буквой x он обозначает ту ее часть, которую продавец стремится прибавить к наиболее низшей цене, каковой будет цена, предлагаемая покупателями. Тогда $L-x$ будет представлять ту часть, на которую покупатель будет стремиться убавить наиболее высокую цену, т.-е. цену, спрашиваемую продавцами. Отсюда Канар выводит свою основную формулу:

$$b\ n\ x = B\ N\ (L-x)$$

Здесь буквой B он обозначает потребность покупателей, N — конкуренцию между ними; буквой b — потребность продавцов, n — конкуренцию между ними; «ясно, — говорит он, — что часть этой разницы — x будет возрастать в отношении к их потребности и конкуренции между ними; таким образом x будет находиться в сложном отношении к B и к N, будет возрастать как BN; точно так же другая часть $L-x$ будет возрастать как bn» [2]). Таким образом получается пропорция:

$$x : BN = (L-x) : bn$$

Откуда и получается приведенное выше уравнение, которое Канар называет l'équation des déterminations; «это уравнение выражает равенство моментов двух противодействующих сил» [3]).

В самом деле, только в условиях этого равенства может произойти сделка обмена, ибо только в этом случае цена, спрашиваемая продавцом, и цена, предлагаемая покупателем, совпадут между собой.

---

[1]) Canard, Principes, стр. 27.
[2]) Ibiden, стр. 29.
[3]) Ibidem, стр. 30.

Мы видим, что Канар оперирует с потребностями и конкуренцией, как с определенными величинами. Но возможно ли это? «Мы сознательно нашим умом не можем дать оценки той разницы, которая имеется, например, между звуком и краской, или между двумя различными красками: а потому не можем и описать в чем эта разница заключается... Мы приближаемся к математическому воззрению на предмет, когда мы ограничиваемся исследованием однородных явлений... мы эти явления отличаем по их напряженности (интенсивности)... Целый ряд явлений природы носил издавна количественный характер, а потому подчинялся математическому трактованию»,—так говорит математик [1]).

Удовлетворяют ли эти явления экономического порядка, о которых говорит Канар,—его B и N—этому условию, являются ли они однородными? Можно ли их назвать в каком-либо отношении соизмеримыми? Ясно, что нет. Этого не понимают, между прочим, новейшие представители буржуазной экономии, но это великолепно понимал, напр., еще Госсен, действительный предшественник австрийской школы предельной полезности. Он прямо указывает на то, что они (по крайней мере Geniessen, т.-е. besoins) не могут быть выражены количественно, ибо нет мерила, которым их можно было бы измерить [2]). Но соизмеримыми они становятся, и могут быть поэтому выражены количественно, только благодаря тому обстоятельству, что провидение внушило людям мысль употреблять деньги. И потребности и конкуренция, поскольку они получают такое ценностное выражение, тем самым получают общую меру. Отсюда ясна методологическая абсурдность подобных построений для вывода закона ценности; наоборот, они уже предполагают ценность, как нечто данное. У Канара, впрочем, это построение не носит такого абсурдного характера; ибо на-ряду с ценой он предполагает ценность; более того, принципиально ценность для него есть нечто первичное, а цена вторичное, зависимое от ценности. Но вскрыть эту зависимость Канар не сумел, хотя он, подобно Смиту, чисто словесно пытался заполнить этот разрыв. Во всяком случае, он не кладет приведенного нами выше равенства в основу теории ценности, он не выводит из него ценностных величин. Он хочет дать именно теорию цены, а не ценности. Эта постановка вопроса выгодно отличает его от позднейших представителей вульгарной экономии, что не мешает, впрочем, новейшим буржуазным экономистам провозглашать и его ранним пионером математического направления и одним из основателей математической школы [3]).

Из своего основного равенства Канар определяет x, который по существу является прибылью, или даже средней прибылью:

$$x = \frac{BN}{BN + bn} \cdot L$$

[1]) Г. Буркхардт, Начала дифференциального и интегрального исчислений, 1909, стр. 1.

[2]) См. H. H. Gossen, Entwickelung der Gesetze des menschlichen Verkehrs, Berlin 1889, стр. 8—9.

[3]) См., напр., Edgard Allix, Un précurseur de l'école mathématique: Nicolas Francois Canard.—«Revue d'histoire économique et sociale» (отдельный оттиск).

Математически проще всего от этого равенства перейти к случаю полной монополии. На самом деле, предположим, что $bn=0$, т.-е. что отсутствует конкуренция между продавцами, и их потребность (очевидно, потребность продать товар) «сколь возможно мала», при этих условиях $x=L$, т.-е. всю разницу получают продавцы. Обратно, если предположим $BN=0$, т.-е. отсутствие конкуренции между покупателями и весьма малый размер их потребностей, то $x=0$; другими словами, продавец не реализует ничего из этой разницы; она целиком достается покупателям. Но встает вопрос: если эта разница играет столь существенную роль, то чем определяется ее величина, каковы, по крайней мере, низшая и высшая границы цены?

Мы знаем уже, что покупатель стремится купить по наиболее дешевой цене; однако существует грань, ниже которой она не может спуститься: «Эта наиболее низкая цена есть необходимая заработная плата труда, который был приложен к тому предмету, который покупают; так сказать, такая заработная плата, которая доставляет тому, кто ее получает, только возможность поддерживать свое существование без каких-либо необходимых наслаждений» [1]). Если эта цена не будет уплачена, продавцы откажутся от производства этого товара, или их число уменьшится вследствие нищеты и т. д., а это приводит, в свою очередь, к увеличению цены. Следовательно, «необходимая заработная плата труда, содержащегося в каком-либо предмете, есть естественный предел для уменьшения цены этого предмета» [2]).

Естественная же заработная плата есть наиболее низкая плата, какую только получают за труд, и этим трудом является «естественный труд». Эта «естественная заработная плата» есть в то же время «необходимая заработная плата».

Однако эта необходимая заработная плата должна быть достаточной не только для поддержания существования самого работника, она должна также обеспечивать существование его семьи. При всем том ее величина не является какой-то точно определенной величиной: в ней самой существует множество градаций. «Я не буду пытаться,—говорит Канар,—определить то, что составляет точную ценность необходимой заработной платы... Естественная заработная плата представляет собой как бы широкую полосу, один край которой граничит с нищетой, а другой простирается до первых наслаждений не необходимого потребления» [3]).

Мы знаем уже, что в заработную плату обученного труда, помимо необходимой заработной платы, входит также и промышленная рента, имеющая своим источником труд, затраченный на обучение. Но этот элемент входит в заработную плату почти всякого работника, хотя и в небольшой степени; ибо всякий труд, хотя бы и в незначительной своей части, есть обученный труд,—естественного труда в чистом виде найти нельзя.

А кроме того, в необходимую заработную плату,—как утверждал Канар,—входит также и то, что мы теперь назвали бы перенесенной ценностью потребленной части постоянного капи

1) Canard, Principes, стр. 31.
2) Ibidem, стр. 32.
3) Ibidem, стр. 43.

тала. Казалось бы, что эта безнадежная путаница должна побудить просто отбросить в сторону все рассуждения Канара; ибо на какое значение может претендовать экономист, столь грубо смешивающий такие совершенно различные экономические категории.

И между тем, этот случай очень ярко вскрывает определяющее влияние экономической действительности на теоретические построения экономистов. Постоянный капитал и заработная плата—вещи весьма различные... в капиталистическом обществе. Но в обществе, где господствует домашняя форма капиталистического производства или кустарная промышленность, там производитель по внешности или юридически есть самостоятельный товаропроизводитель, по существу же превращающийся из такового в наемного рабочего; он получает salaire или вознаграждение, которое все более и более превращается в заработную плату в собственном смысле этого слова. В то же время он, по большей части, также и собственник орудий труда; он, сверх того, обычно прошел некоторую выучку, и в той или иной степени является обученным работником. И когда Канар—это делал также и Смит—говорит о заработной плате, как мериле ценности, то это не носит у него того вульгарного привкуса, как это имеет место у новейших экономистов, ибо эта заработная плата была больше похожа на ценность труда,—юридически, правда, она и была таковой,—экономически же все более превращаясь в типичную заработную плату. Все только что приведенные положения Канара о заработной плате как нельзя лучше и отображают эту действительность.

Но что образует верхнюю границу разницы? Канар отмечает, что наиболее высокая цена имеет место в случаях полной монополии; но здесь нужно различать два случая; первый случай, когда данный предмет не является предметом первой необходимости. В этом случае предел, до которого поднимутся цены, определяется так: чем выше вообще цена, тем уже становится круг покупателей; если продавцы выигрывают на повышении цены, то они проигрывают на сокращении круга покупателей, и та точка, где эта выгода компенсируется невыгодой, образует тот предел, выше которого цена подняться не может.

Иначе определяется предел в случае предметов первой необходимости. Можно думать, что здесь продавец, являясь полным монополистом, может поднимать цену по произволу до бесконечности. Но это не так: в этом случае рост цены будет ограничен естественной заработной платой покупателя; «количество хлеба, которое потребляет рабочий естественного труда для того, чтобы жить, не может иметь цену, которая превышала бы его заработок» [1]). В противном случае или эта заработная плата должна будет подняться, или этот естественный рабочий просто взбунтуется, чтобы не умереть с голоду [2]). Таким образом даже в случаях полной монополии всегда имеется высшая граница цены.

Возвращаясь к случаю монополии, мы можем теперь сказать, что там мы и имели как раз эти предельные цены. Если имелась

---

[1]) Canard, Principes, стр. 35.

[2]) Ibidem.

полия на стороне продавцов, цена достигала верхней гр
ы; в качестве монополистов выступали покупатели, цена оп
ась до своего низшего предела. Но монополия — случ
ючительный, обычным же явлением будет некоторое сре
нее положение, состояние борьбы между продавцами и поку
телями из-за размера цены. Но в этом, чаще всего встречающем
случае размер цены определится их взаимной силой, разни
(L) распадется на прибыль продавца и прибыль покупателя н
основании уже известной формулы Канара. Правда, сплошь
рядом товар, прежде чем достигнуть последнего потребителя
на пути от производителя к этому потребителю пробегает чер
руки ряда посредников. Все они выступают попеременно то к
продавцы, то как покупатели. Но Канар устанавливает, что о
щая разница (L) в таком случае только распределяется между
всеми этими продавцами и покупателями, соразмерно их сила.
Ничего нового в этом случае мы не найдем. Поэтому эти ра
суждения, занимающие у него много места, мы оставляем в ст
роне, как теоретически мало интересные.

Если принять, что силы продавцов и покупателей равн
(силой мы называем здесь произведение потребностей на кон
куренцию; оговариваемся, что мы тут приводим взгляд Канара),
в таком случае, по Канару, эта разница разделится поровну между
продавцами и покупателями; x будет равен $1/2\ L$.

Итак, — говорит Канар, — «цена какого-либо предмета равна
естественной заработной плате труда, заключенного в этом пред
мете, плюс та часть разницы $\frac{BN}{BN+bn}L$, которая составляет при
быль продавца. Называя, таким образом, цену P, естественную
заработную плату S, мы будем иметь $P=S+\frac{BN}{BN+bn}L$, как урав
нение цены между одной ветвью продавцов и одной же ветвью
покупателей» [1]. Собственно говоря, здесь правильнее было бы
под «естественной заработной платой» понимать вообще зарабо
ток работника, или то, что он получает за свой труд. Он также
говорит: «В уравнении, приведенном выше, S выражает ценность
естественного труда, величина же $\frac{BN}{BN+bn}L$ выражает ценность
продукта тех источников рент, которые были к нему прило
жены» [2].

В сущности, перед нами здесь цена производства, другими
словами, смитовская «естественная цена», однако в новом и при
том улучшенном издании. Что такое представляет S? Мы знаем
уже, что ценность предмета определяется (или измеряется) ко
личеством естественного труда, приложенного к ним, или же
его естественной заработной платой. Можно поэтому, пожалуй,
сказать, что S и будет ценностью этого предмета; величина же
$\frac{BN}{BN+bn}L$, представляющая прибыль, получаемую на рынке, и
имеет своим источником рыночные сделки обмена. Нельзя же

[1] Canard, Principes, стр. 35—36.
[2] Ibidem, стр. 37.

признать, что у Канара есть некоторые черты, которые могли бы позволить приписать ему взгляд на прибыль, как на profit upon alienation. Однако это было бы неверно. Более того, его теория цены выгодно отличается даже от смитовской естественной цены. Как известно, по Смиту, естественная цена не только разлагается на заработную плату, прибыль и ренту, но и слагается из них. Величина ее определяется обычной заработной платой, средней прибылью и рентой. Канар далек от этого вульгарного представления. Правда, по его словам, «всякая лавочка торговца не только может быть рассматриваема, как центр четверного разветвления (всей системы товарного, а также и денежного обращения. *В. П.*), но равным образом, и как источник всякой ренты» [1]).

Но отсюда еще не следует, что эти ренты (т.-е. прибыль) имеют своим источником торговлю; он, несомненно, хочет сказать, что всякая прибыль реализуется в торговле, ибо он рассматривает магазины только «как центры обращения (труда, т.-е. продуктов труда. *В. П.*); туда направляются все продукты труда; так сказать, туда поступают все товары, к которым различные отрасли промышленности прилагали последовательно известное количество труда, которые создают их ценность» [2]).

«Всякий предмет, который продается, заключает в себе некоторое количество естественного труда, затем некоторую долю трех источников рент, которые были к нему приложены» [3]).

Но эти источники ренты есть тоже труд, но только «излишний труд требования». Продукт этого «излишнего труда требования» только распределяется в виде рент посредством торговли, но не создается в ней.

Таков ход мыслей Канара—именно, ход мыслей, ибо все это изложено чрезвычайно путано. Можно, впрочем, установить причину этой путаницы: его занимает проблема прибавочного труда или прибавочной ценности, но он не различает еще ее от средней прибыли. Об'являя «излишний труд требования» источником прибыли, он в то же время сводит богатство к накопленному «излишнему труду требования», отсюда в его анализ вклинивается еще вопрос о рентах, которые должен приносить уже накопленный «излишний труд требования». Величина этих рент, завися от высоты цен товаров, определяется, повидимому, теми же моментами, что и сама цена—потребностями и конкуренцией. Однако, заметив это противоречие, он, подобно Смиту, пытается устранить его следующим рассуждением: хотя потребность и конкуренция, одним словом, различные случайные причины, заставляют цену колебаться, но это «не препятствует тому, что их первоначальная ценность есть ценность труда, которого они стоили. Ничто не может поколебать той истины, что всякая собственность есть не что иное, как накопленный труд, который был затрачен на то, чтобы ее создать» [4]).

Все это до того усложняет его анализ, что ему приходится буквально продираться сквозь чащу встречающихся ему противо-

---

[1]) Canard, Principes, стр. 112.
[2]) Ibidem, стр. 109—110.
[3]) Ibidem, стр. 37.
[4]) Ibidem, стр. 9.

речий. Интересно и ценно то, что, пытаясь пробиться чер
он берет совершенно правильное направление.

Думаем, что читатель не будет сетовать на на
изложение взглядов Канара, ибо нужно определенно
что Канар, как экономист, представляет все же интерес
гуру. Во всяком случае, обида Сая на то, что ему пр
Канара, лишена всякого основания; труд Канара в де
ности представляет нечто более ценное и в теоретическ
шении, без сомнения, более крупное и интересное явлен
все рассуждения «блестящего» Сая. Впрочем, в дальне
еще придется остановиться на общей оценке теории Кан

Приведенное достаточно характеризует теоретическое
нара, поэтому мы опускаем изложение других сторон его
мической теории и переходим к Курно. Что Канар долж
оказать на него известное влияние — это представляется
мненным. Недаром сам Курно отмечает, что труд Канара
влек его особое внимание.

Уже само название труда Курно указывает на цель,
он поставил себе,—отыскать математические основания
богатства. Естественно, что ему нужно прежде всего
лить этот об'ект своих изысканий; первую главу он и
вопросу о богатстве вообще.

«Человек беден или богат, смотря по степени, в
он может обеспечить себе пользование предметами необ
сти, удобства и удовольствия»,—так определяет «богат
А. Смит [1]). Но Курно с этим не согласен; это будет, по его
вам, пожалуй, богатством в обычном общеупотребительн
сле слова, очень неточном при этом и двусмысленном,
щемся поэтому источником разделения экономистов на
той борьбы, которую ведут между собою люди практики
ретиками. Ибо здесь мы неизбежно встречаемся с понят
лезности, которую каждый оценивает на свой манер, ибо
твердой меры для измерения полезности вещей [2]). А это
за собой вообще невозможность определить богатство,
которую количественную величину, делает также невоз
количественное сравнение различных степеней богатства
обще устраняет всякую возможность теоретического анализ
ний, связанных так или иначе с вопросами богатства. На
же вопросе, как известно, специально останавливался
кардо. Богатство,—говорит он,—зависит от изобилия тех
метов необходимости, удобства и удовольствия», о котор
ворил А. Смит, но их ценность зависит только от труд
или легкости производства. Рикардо, следовательно,
чивает понятия богатства и ценности: первое, это—
масса потребительных ценностей, вторая—воплощенный в
труд. Это определение стало, можно сказать, общим
теоретической экономии. Они (т.-е. богатство, как масса
бительных ценностей и воплощенная в них ценность) могут
находиться в обратном отношении. Бывают случаи, когда
щество, несмотря на возросшее богатство, несмотря на
чение количества предметов удобства, имело бы в своем

---

[1]) A. Smith, Wealth of Nations, Book I, Chapt. V.
[2]) Cournot, Récherches, стр. 5—6.

ражении меньшую сумму стоимости (т.-е. ценности. *В. П.*)»[1]. Курно был знаком с трудом Рикардо; и он целиком воспринимает это разграничение; можно даже сказать, что ему, как математику, всюду ищущему отношений между величинами, которые по этому самому должны быть соизмеримыми, такое разграничение казалось само собой разумеющимся.

«Иногда бывало, — говорит Курно[2], — что издатель, имея у себя на складе книгу, вообще полезную и необходимую для знатоков, но изданную первоначально в слишком большом количестве экземпляров, принимая во внимание круг читателей, для которых она предназначалась, иногда жертвовал двумя третями экземпляров и уничтожал их, будучи уверен, что он извлечет бо́льшую выгоду из оставшихся экземпляров, чем от полного издания. Без сомнения, такое издание будет скорее распродано в количестве 1.000 экз. по 60 франков, чем в количестве 3.000 экз. по 20 франков. Руководствуясь этим же расчетом, как говорят, Голландская компания уничтожила на Зондских островах часть ценных пряностей, на которые она имела монополию. Вот пример действительного уничтожения предметов, которые называют богатством, во-первых, потому, что в них нуждаются, а, во-вторых, потому, что их нельзя получить даром. Этот акт алчности и эгоизма явно противоречит интересам общества; и, тем не менее, ясно, что это произведенное из низких побуждений действительное уничтожение богатства есть в то же время акт настоящего создания богатства в коммерческом смысле слова. Баланс издателя действительно укажет в своем активе бо́льшую сумму ценностей. После того, как издание полностью или частично будет продано, и в том случае, если бы каждый составлял свой баланс согласно торговым обычаям, то, сложив все эти частные балансы и получив общий баланс циркулирующего богатства, действительно нашли бы увеличение в общей сумме этого богатства»[3].

Бывает и наоборот, когда издание книги представляет «промышленную операцию, материальное производство, полезное и для издательства, которое ее предпринимает, полезное и для всех тех, кто доставляет для этого все необходимое и чьими услугами оно пользуется, полезное даже для публики, поскольку изданная книга содержит хорошие поучения, и которое является настоящим уничтожением богатства в абстрактном или коммерческом смысле слова»[4].

Курно, таким образом, богатство, как сумму ценностей, называет здесь а б с т р а к т н ы м б о г а т с т в о м или б о г а т с т в о м в к о м м е р ч е с к о м с м ы с л е с л о в а; другими словами, вполне соглашаясь с Рикардо, он пользуется своей собственной терминологией, мы сейчас увидим, что в некотором отношении он делает дальнейший шаг вперед по сравнению с Рикардо. Бо-

---

1) Р и к а р д о, Начала политической экономии. СПБ. 1908, стр. 182.

2) Ввиду того, что Курно является, с одной стороны, забытым экономистом, а с другой, поскольку о нем все же вспоминают, его третируют, как мертвую собаку, искажая до неузнаваемости его теоретические взгляды, мы считаем необходимым в интересах восстановления истины не останавливаться перед длинными выписками из его работ, тем более, что их нет на русском языке.

3) C o u r n o t, Récherches, стр. 6—7.

4) Ibidem, стр. 7—8.

гатством, и притом богатством в абстрактном или комм смысле слова, он называет то, что Рикардо просто назы ностью, что же касается богатства в рикардовском смысл то он отказывается прилагать к нему это понятие бога ибо богатство, по Курно, является исторической кате рией.

«Понятие богатства, таким образом определяемого, явля без сомнения только абстракцией, ибо, строго говоря, сред вещей, которые мы оцениваем, или которым мы припи меновую ценность, нет ни одной, которую мы могли бы по шему желанию, и тотчас же, как это нам угодно, обмен всякую иную вещь такой же цены или ценности» [1]). Стало богатство в абстрактном смысле или меновая ценность (эти по тия Курно отождествляет) необходимо предполагает обмен. бы непонятно,—продолжает Курно,—если бы люди жили рое время один возле другого и не прибегали бы к обмену н услуг» [2]). Обмен, таким образом, вытекает из природы века; по существу это прежнее смитовское воззрение, и Рикардо. Но Курно этим не удовлетворяется: одного обмена еще недостаточно для возникновения меновой для этого требуется нечто бо́льшее, а именно для того, предметы могли получить меновую ценность, они должны об'ектами торговли. А это, в свою очередь, предполагает чие торговых сношений и соответствующего общественного ства» [3]).

Если мы возьмем,—говорит Курно,—представителя ского народа, владеющего обширными пастбищами, в нии которыми ему никто не смеет мешать, то он будет ником, но его нельзя назвать богатым в таком обществе, эти пастбища не могут быть обменены на какую-либо Он может иметь скот и молоко в изобилии; он может многочисленных слуг и рабов; он может оказывать велик ное гостеприимство своим неимущим клиентам; но если имеет возможности ни накоплять, ни обменивать свои прод на предметы роскоши, то можно сказать, что он «обладает ществом, властью, всеми удовольствиями, свойственными ложению, но он не обладает богатством» [4]).

Вообще же, «такое понятие богатства, которое нам развитом состоянии нашей цивилизации, каковым оно быть для того, чтобы могла появиться теория, образуется медленно в результате прогресса торговых отношений и воздействия, которое производит со временем это развити говли на гражданские установления» [5]).

Классическая школа была вообще чужда историзма;

---

[1]) Cournot, Récherches, стр. 3.

[2]) Ibidem, стр. 2

[3]) «Mais de cet acte naturel (обмена вещами и услугами. *В. П.*) ainsi dire instinctif, il y a loin à l'idée abstracte d'une valeur d'échange suppose que les objets aux-queles on attribue une telle valeur sont dans commerce; c'est-à-dire qu'on peut toujours trouver à les échanger objets de valeur égale... et si nous voulons nous entendre en théorie, il d'identifier absolument le sens du mot de richesses avec celui que ces autres mots valeur échangeable»—Cournot, Récherches, стр

[4]) Cournot, Récherches, стр. 2.

[5]) Ibidem, стр. 2.

ствующее товарное или капиталистическое общество для нее было единственным возможным порядком, вытекающим из самой природы вещей. Отсюда и ценность для нее была логической категорией, присущей любому человеческому обществу всех времен, ибо она не мыслила себе общества без товарного обмена. Курно, как видим, принимает взгляды на богатство в их наиболее развитой форме, какую они получили у Рикардо, но в то же время, отделываясь от свойственного классикам натурализма, делает и дальнейший шаг вперед, усматривая историческую обусловленность такой категории, как богатство в абстрактном смысле, или меновой ценности. Присмотримся теперь поближе к этой valeur échangeable.

Вопросу о ценности Курно посвящает вторую главу; в ней он намеревается, как это видно уже из заголовка, исследовать абсолютные и относительные изменения ценности. Между прочим, И. Фишер в названной уже выше статье расчленяет труд Курно на три части. Первая часть, охватывающая предисловие и три первые главы,—в том числе, следовательно, и главу об абсолютной и относительной ценности,—не привлекла внимания Фишера. Относительно содержания этой части он, скорее всего из простой вежливости, лишь мимоходом отмечает, что здесь Курно, несмотря на то, что в ней отсутствует один из новейших элементов (Фишер, очевидно, хочет сказать: один из элементов, внесенных новейшей буржуазной экономией)—понятие полезности, дал более глубокие и ценные рассуждения, чем большая часть современных исследований по этому же вопросу [1]). Основная часть его труда начинается, по его словам, только с IV главы. Мы скорее скажем, что дать более ценное для экономической теории Курно смог, не несмотря на то, а именно благодаря тому, что он не впал в вульгаризацию полезников.

Каулла совершенно игнорирует эту чрезвычайно важную часть труда Курно, и особенно важную для определения его позиции в вопросе о ценности, хотя он, судя по заглавию книги, хотел дать обзор исторического развития новейших теорий ценности [2]).

В нашей русской литературе В. Дмитриев, давший специальный очерк о великом «забытом» экономисте [3]), точно так же совершенно забывает о теории ценности Курно. Можно подумать, что имеешь дело подлинно с каким-то заговором молчания!

Однако стоит только ознакомиться с содержанием этой бойкотируемой представителями современной буржуазной экономии части «Recherches» Курно, чтобы притти к выводу, что пред нами определенный представитель трудовой теории ценности, можно даже сказать точнее—несомненный рикардианец.

Он не только следует в основных вопросах за Рикардо, хотя сильно также и влияние на него Смита, но—что для нас более интересно—он точно так же не справляется с теми же проблемами, с которыми не мог справиться и Рикардо. В некоторых же отношениях он отстает не только от Рикардо, но, пожалуй, даже

---

[1]) I. Fisher, Cournot and mathematical economics, стр. 123.

[2]) Dr. K. Kaulla, Die geschichtliche Entwikelung des modernen Werttheorien, Tübingen, 1906, стр. 197—198.

[3]) В. К. Дмитриев. Экономические очерки, очерк II: «Теория конкуренции Ог. Курно», Москва 1904 г.

и от Смита; это имеет место, например, в вопросе о происхождении прибыли. В оправдание его все-таки приходится указать на обстоятельство, что он не был экономистом по специальнос он был, прежде всего, математиком, и область экономики в влекла его постольку, поскольку он видел в ней лишь осо поле приложения математики. Но он безусловно был знаком хорошо знаком, с классиками-экономистами, более того, в ко торых отношениях он, в качестве математика, мог подня и несколько выше их.

Это и имеет место в вопросе об абсолютной и относител ценности.

В том, что труд является мерой ценности, согласны и С и Рикардо. Но является ли труд самим содержанием или са субстанцией ценности? Другими словами, можно ли найти у См и у Рикардо понятие абсолютной ценности? По отношению к См мы, надеюсь, показали [1]), что такая идея абсолютной ценност него все же имелась; хотя, по большей части, Смит говори отношении ценностей двух или более вещей. Что касается кардо, то приходится встречаться с распространенным мнен что идея о труде, как самом содержании ценности, была чу Рикардо. Мы с этим не согласны; по нашему мнению, абсолю ценность имеется и у Рикардо. Правда, центр тяжести св анализа Рикардо перенес на относительные величины ценно Но ведь говорить об отношении одной величины к другой, це сти одного товара к ценности другого можно только в том слу если эти величины существуют и независимо от этого отн ния, если, таким образом, возможно говорить и о ценност отношении только одного товара. Другое дело, может ли (эта ценность непосредственно выражена вне отношения ее к ности другого товара. Курно, как математик, ясно и отчет ставит этот вопрос. Он определенно различает абсолютную и о сительную ценность или, точнее, говорит об «абсолютных или о сительных изменениях ценности». Но в то же время ему, неэкономисту, выяснить этот вопрос до полной ясности не лось. Однако, как математику, ему опять-таки особенно ясна (неудовлетворительность постановки этого вопроса у предшест щих ему экономистов. Когда дело идет об основных положе науки, и если хотят их точно определить, то почти всегда пр дится встречаться,—говорит Курно,—с затруднениями, кот сводятся иногда к самому происхождению понятий, чаще к недостаткам словоупотребления. И Курно указывает в кач примера на такой «точно так же темный пункт в работах номистов, как определение ценности, различение ценносте носительных и ценностей абсолютных» [2]).

«Мы можем определить положение какой-либо точки то путем установления ее отношений к другим точкам; таки разом мы можем определить ценность какого-либо прод только путем отношения к ценностям других продуктов; в э смысле нет ничего, кроме относительных ценностей» [3]).

---

[1]) См. нашу уже упоминавшуюся статью: «Проблемы ценности и пр в учении А. Смита».

[2]) Cournot, Récherches, стр. 15.

[3]) Ibidem, стр. 17—18.

Эти слова, повидимому, должны заставить нас без всякой оговорки отнести Курно к числу сторонников только относительной ценности. Более того, дальше он утверждает еще решительнее. «Существуют только,—говорит он,—относительные ценности; искать других—это значит впадать в противоречие с самим понятием меновой ценности, которое необходимо включает в себя понятие отношения между двумя величинами» [1]).

Для абсолютной ценности места не остается. Но Курно был бы плохим математиком, если бы он сделал такой вывод; ибо это явилось бы абсурдом. В самом деле, что такое относительная ценность: это—отношение ценностей двух, по крайней мере, предметов, это есть уравнение двух величин. Но одно это уже указывает на то, что эти величины существуют и сами по себе. Поясним это примером; в качестве такового Курно приводит движение системы точек в пространстве. Но мы возьмем иной пример—возьмем для большей наглядности тяжесть и спросим, можно ли непосредственно выразить тяжесть любого предмета, не относя ее к тяжести других предметов? Как вообще выражается тяжесть? Выражение тяжести есть вес, а он получается путем сравнения данной тяжести с тяжестью другого предмета, которую мы принимаем за единицу и величина которой часто условна. Хороша была бы наука, если бы она, исходя из невозможности прямо и непосредственно выразить тяжесть предмета, пришла бы к тому заключению, что вообще никакой тяжести самой по себе нет, что нелепо было бы говорить о силе тяготения, как причине и самом содержании тяжести. Этот пример с силой тяжести приводил в виде иллюстрации и Маркс; но он совершенно в духе и Курно. В самом деле, непосредственно вслед за последними, приведенными нами цитатами, Курно продолжает: «Но когда эти относительные ценности изменяются, то мы ясно понимаем, что причина этих колебаний ценности может находиться в изменениях или на одной стороне, или на другой стороне, или же сразу на обеих сторонах этого отношения» [2]). И это вполне логично с его стороны. Если мы можем иметь дело только с относительными ценностями, тем не менее «изменение, происходящее в этом отношении (т.-е. в отношении ценностей двух товаров, или в относительной ценности. *В. П.*) есть относительный результат, который может и должен быть об'яснен абсолютными изменениями в членах этого отношения. Нет абсолютной ценности, но есть абсолютные повышения и понижения в ценностях» [3]).

Вопрос ясен; иначе его вообще нельзя и ставить. Легко заметить, что это по существу и Марксова постановка вопроса [4]).

---

[1]) «Il n'existe que des valeurs relatives; en chercher d'autres, s'est tomber en contradiction avec la notion même de la valeur échangeable qui implique nécessairement celle d'un rapport entre deux termes»,—Cournot. Récherches, стр. 20.

[2]) Cournot, Récherches, стр. 16.

[3]) Mais aussi la changement survenu dans ce rapport est un effet relatif, bui peut et doit s'expliquer pas des changements absolus dans les termes du rapport. S'il y a pas de valeurs absolus, mais bien des mouvements de hausse et de baisse absolues dans les vaelurs (курсив мой),—Cournot, Récherches, стр. 22.

[4]) Слонимский в своей никчемной статье прямо и обвиняет Маркса в научном жульничестве: «учение Маркса об экономических эквивалентах (т.-е. очевидно об относительной форме ценности. *В. П.*) взято, напр., как

Резюмируем вкратце весь ход мыслей Курно. Меновая [illegible]ность, которой он занимается, по самому существу своему [illegible] относительная ценность. Колебания в величине относительной ценности, однако, обусловлены абсолютными колебаниями в [illegible] нсстях товаров, или абсолютными колебаниями в чем-то, что [illegible] условливает величину ценности. Но узнать что-либо об этой [illegible]чино ценности и о ее колебаниях мы можем только путем [illegible]дения над относительными колебаниями ценностей. В этом [illegible] Курно и говорит, что нет ничего кроме относительных [illegible]стей. Если же взять абсолютные колебания ценности одного [illegible] кого-либо предмета, то ясно, что они не только имеют [illegible] но, более того, они являются той причиной, которая [illegible] изменения относительных ценностей; но назвать это нечто, [illegible]жащееся в товарах, ценностью Курно отказывается, ибо [illegible]ность есть отношение, и вне этого отношения мы никак не [illegible] ее обнаружить. Внести полную определенность в этот [illegible] Курно не удалось, ибо для этого необходимо было взглянуть [illegible] товарное общество, как на исторически преходящую форм[illegible] имеющую не только начало, но и конец; а до этого Курно [illegible] дошел, несмотря на то, что ему в известной степени [illegible] удалось стать на точку зрения историзма: он видит начало [illegible]ного общества, но он не предвидит его конца. Однако на [illegible] том, что же является содержанием ценности, или, вернее, [illegible]ной ценности, Курно все же дал посильный ответ, мы [illegible]комимся с ним ниже.

Но вслед за этими правильными рассуждениями, Курно [illegible]чивает на окольный путь: он вспоминает Смита и его [illegible] неизменного мерила ценности. Он буквально повторяет его [illegible]ния о том, что хлеб является лучшим мерилом, так как он [illegible]тывает меньшие колебания в ценности, если брать продолжит[illegible]ные периоды, но зато он подвержен чрезвычайно сильным [illegible]ным колебаниям. В отношении металлических денег мы [illegible] обратный случай: слабые колебания из года в год и более [illegible]чительные колебания в ценности, чем у хлеба, если брать [illegible] промежутки времени. Если бы было такое идеальное мерило, [illegible] когда не колеблющееся в своей ценности, то тогда, относя [illegible]ности всех остальных предметов к ценности этого мерила, [illegible] могли бы получить непосредственно абсолютные колебания [illegible]ности. Тут у Курно начинается путаница; ибо тут и абсолютн[illegible] ценность является по существу относительной, но только [illegible]женной в стабилизированной ценности. Так, если мы имеем [illegible]

ности a и b и их отношение $\frac{a}{b}$, то в том случае, если b постоян[illegible]

и его ценность не испытывает изменений в своей абсолютной [illegible]личине, это отношение непосредственно и выразит нам абсолютн[illegible] изменения ценности a. Впрочем, Курно признает, что такого [illegible]изменного мерила вообще не имеется. Но когда и a, и b [illegible]

будто у Курно, имя которого также умалчивается, конечно, в книге [illegible]тале», содержащей в себе, однако, весьма значительную массу старого [illegible] части совершенно ненужного литературного хлама». Л. Слонимский, [illegible]бытые экономисты Тюнен и Курно (к характеристике новейшей [illegible] экономии)», ст. в журн. «Вестник Европы», XIII год, том V (сентябрь [illegible]) стр. 24.

лются, мы этого получить не можем; перед нами будут относительные изменения ценности. Таким образом здесь выражения «абсолютный» и «относительный» приобретают несколько иной смысл. Однако тут может встать следующий вопрос: чем же обусловлены эти абсолютные изменения ценности, или, в другой формулировке, что представляет из себя субстанция ценности? Вопрос—основной для отнесения вообще всякого экономиста к тому или иному направлению.

Подходя с этой точки зрения к «Récherches», мы должны будем признать, что здесь нас постигает известное разочарование. Утверждая, как мы только что видели, что в глубине изменений относительных ценностей лежат изменения абсолютной ценности, Курно центр тяжести переносит, однако, на эти относительные изменения, и притом с определенной точки зрения. Конечно,—говорит он,—если мы имеем такие-то изменения ряда относительных ценностей, то, внимательно исследуя их, мы можем с большей или меньшей степенью вероятности построить гипотезу относительно абсолютных изменений ценности. Так, например, если относительные ценности всех товаров, за исключением одной, остались неизменными, но относительные ценности всех товаров по отношению к этому единственному товару в это же время изменились, то мы почти с уверенностью можем сказать, что перед нами изменения в абсолютной ценности именно этого товара. Однако построение подобных гипотез относительно истинных движений ценности представляет, по его словам, мало интереса. Гораздо важнее, по его мнению, установить законы этих относительных изменений: «что поистине важно—это знать законы, по которым совершаются колебания ценностей, или, другими словами, теорию богатства» [1]).

Но по вопросу о том, что же составляет субстанцию ценности, мы почти ничего, или во всяком случае очень мало, можем найти в «Récherches». Курно указывает там, что в его задачу входит только анализ при помощи математического метода некоторых неясных вопросов экономической теории. Общепризнанные, не вызывающие споров истины им совершенно оставляются в стороне; а так как, с другой стороны, из предшествующих ему экономистов он упоминает Смита, Сэя и Рикардо, и за последним признает крупное научное значение, то можно предположить, что в числе этих твердо установленных истин находится и положение о труде, как источнике ценности. И, действительно, знакомясь с его трудом, приходишь к убеждению, что это положение в качестве исходного пункта должно лежать в основе всей его математической теории богатства. Оно является тем фундаментом, на котором она надстраивается, и о котором он не упоминает лишь потому, что оно лежит вне спора. Но мы имеем и прямое свидетельство.

---

[1]) Cournot, Récherches, стр. 52; и он продолжает: «Cette théorie seule permettra de démontrer à quelles variations absolues sont les deux variations relatives qui tombent dans le domaine de l'observation; de même (s'il est permis de comparer à la plus parfaite de toutes les sciences celle gui est encore le plus près de son berceau) que la théorie des bis du mouvement, commencée par Galilée, complétée par Newton, a seule permis de démontrer à quels mouvements réels et absolus, sont dus les mouvement relatifs et apparents du système planétaire».

Так он говорит: «Замечено уже давно, и с полным основан
что торговля в собственном смысле слова, т.-е. транспорт сы
и готовых продуктов от одного рынка на другой, увеличивая
ность транспортируемых предметов, создает ценность или бо
ство, точно так же, *как создает их труд рабочего, ко*
рый извлекает металлы из недр земли, и труд
месленника, который придает им форму, соотв
ствующую нашим потребностям» [1]). (курсив мой. *В.П*
Это место является, правда, единственным, где он гово
о труде, как источнике ценности. В своей же теории конкур
ции, или, как мы сказали бы, в своей теории цены, Курно опе
рует такими понятиями, как спрос и предложение, издерж
производства. При чем эту часть его теории только и приним
во внимание современные буржуазные экономисты, и, игно
руя первые, чрезвычайно важные, главы и только что процит
ванное место, ведут от Курно родословную вульгарной бурж
ной экономии.

Можно было бы, пожалуй, признать за ними некоторое пр
на это, ибо все же указанное место есть как бы вскользь брошен
замечание, не играющее притом никакой роли в дальнейших
построениях. Однако, к счастью, мы имеем вполне ясное, шко
определенное и совершенно недвусмысленное изложение его то
зрения в вопросе о ценности, данное самим же Курно.

В «Récherches» его занимают лишь относительные изменен
ценности, так сказать, *кинематика* ценности. Но в дру
своей работе «Traité de l'enchaînement des idées fondamentales
он ставит также вопрос и о сущности ценности.

Остановившись и там на относительной и абсолютной цен
сти—с этим вопросом мы уже знакомы по «Récherches»,—Ку
продолжает: «Переходя от рассмотрения изменений ценности
рассмотрению тех причин, которые их производят, проведем ср
нение между экономическим механизмом и обычной механикой
Здесь мы можем различить две стороны: во-первых, динам
явления, а, во-вторых, его статику. Курно приводит следующ
пример из области гидростатики. Предположим,—говорит он,—
мы имеем прибор, состоящий из нескольких трубок различн
об'ема, наполненных различными жидкостями, напр., водой, сп
том или ртутью, и вертикально опущенных в сосуд. Так как
жидкости обладают различною плотностью, то равновесие бу
достигнуто, когда они установятся на различных уровнях: выс
их будет находиться в обратном отношении к их плотности.
перь, если это равновесие каким бы то ни было образом наруша
то это окажет свое действие на уровень жидкостей во всех тр
ках, и после некоторого колебания вновь установится равновес
но уже при новых уровнях.

---

[1]) Cournot, Récherches, стр. 8; для характеристики путаницы, встр
ющейся у Курно, продолжим цитату дальше: «Ce qu'on aurait dû ajouter
et ce que nous aurons occasions de développer, c'est que le commerce peut
une cause de destruction de valeurs, même lors qu'il procure des bénéfices
négociants qui l'entreprennent; même lorsqu'il est aux yeux de tout le monde
bienfait pour les contrées qu'il met en communication de produits».

[2]) Первое издание в 1861 году (подчеркнем, что «Récherches» вы
в 1838 г.); второе издание с введением Lévy-Bruhl'я, Paris 1911.

[3]) Cournot, Traité, стр. 559.

Нечто подобное происходит и в экономическом механизме; предположим, что мы имеем систему установившихся цен. Если теперь «заработная плата рабочего станет недостаточной для существования его самого и его семьи, рабочее население будет уменьшаться, спрос на рабочие руки возрастет и заработная плата поднимется. Для профессий более высокого порядка нужно, чтобы вознаграждение за труд было достаточным для содержания семьи в таких условиях благосостояния, без которых обыкновенный человек не мог бы получить воспитания, необходимого для таких профессий. Если существуют различия, и при том не имеющие внутреннего смысла, в заработных платах в различных профессиях, то будут покидать профессию менее благоприятную и обратятся к той, которая предоставляет больше выгоды, и заработные платы выровняются. Подобное же выравнивание происходит и относительно прибылей предпринимателей и спекулянтов, относительно страховых премий, процентов на капиталы, приложенные к различным отраслям. Если население растет и возрастает его благосостояние, и дома сдаются на более выгодных условиях, то настроят домов больше, чем это необходимо для замещения приходящих в ветхость; в обратном случае, предоставят домам разрушаться от ветхости, и это обстоятельство поднимет цену на те дома, которые останутся, настолько, насколько это необходимо, чтобы был интерес воспрепятствовать их разрушению» [1]).

Здесь, как видим, очень сильно чувствуется влияние Смита; Курно, например, просто следует за ним в вопросе о заработной плате; очень сильно чувствуется здесь также влияние «естественной цены». Такова статика явлений ценности, хотя Курно здесь, собственно говоря, говорит о распределении, исходя из постоянных цен. Эти постоянные цены в условиях равновесия стоят для различных товаров на различном уровне; само собой напрашивается вопрос: чем же обусловливается это различие уровней? Однако последуем за Курно; он подходит еще к этому распределению также с точки зрения динамики, рассматривает его, выражаясь современным экономическим языком, как постоянный сопутствующий момент процесса общественного воспроизводства, взятого как непрерывный процесс. Точно так же и тут он приводит поясняющий пример из области механики. Представим себе машину,— говорит он,—поднимающую на некоторую возвышенность массу воды. Поднятая вода при своем падении производит живую силу, по величине равную силе, затраченной на ее поднятие. Эта живая сила падения может быть утилизирована для производственных целей, и в таком случае ее затрата была бы производительной, или же она может быть употреблена на устройство каскадов и фонтанов, удовлетворяющих роскоши, в этом случае ее затрата, с экономической точки зрения, непроизводительна.

Этим примером он, очевидно, хочет доказать, что и общественное производство состоит в постоянном потреблении, т.-е. постоянном уничтожении изготовленных продуктов, с одной стороны, а с другой стороны—в постоянном притоке новых масс продуктов. Этот приток и есть их производство. И необходимо, чтобы они уравновешивались.

---

[1]) Cournot, Traité, стр. 559—560.

«Точно так же, если наблюдать работу фабрики или м фактуры, можно видеть, что она беспрерывно потребляет с топливо и продукты всякого рода; но ценность всего потре ного материала должна снова проявиться, и она действите проявляется в ценности тех новых продуктов, которые про ленное предприятие доставляет торговле. Не будь этого, т предприятие очень скоро упало бы. Рабочие, занятые на предприятии, потребили известное количество пищи, одеж топлива для себя и своих семей; их ценность также должна явиться в ценности произведенного продукта. Таким обр часть ценности последнего необходимо представляет зарабо плату рабочих; рабочее население исчезло бы, если бы зарабо плата не обеспечивала бы им и их семьям достаточного п бления. Наконец, необходимо, чтобы предприниматель мог на ценности изготовленных продуктов еще сумму, необходимую для поддержания его зданий, машин и инструментов, т как и суммы, необходимые для оплаты капиталов, вложен в здания, в движимое оборудование, затраченных как на сна ние сырьем, так и на доставку готовых продуктов, выда авансом рабочим в виде заработной платы или же в виде от того кредита купцам, которые продают готовый фабрикат. И шек ценности, если он будет, представит прибыль предпри теля. Вместо промышленности, организованной в крупном штабе, как, напр., мануфактура, можно представить себе мера или ремесленника; результаты анализа, по существу, дут теми же самыми, и мы в конце концов всегда можем увид что ценность уничтоженного, потребленного или испорчен материала переходит на произведенный продукт, чаще все некоторым добавком в ценности, который представит собой ботные платы рабочих, прибыли предпринимателя, заработ платы и прибыли тех, которые предварительно создали все ору настоящего труда. Всякое потребление, которое ведет к вос новлению ценности, называют производительным потребле остальные виды потребления можно назвать непроизводитель потреблением. Среди них экономисты различают еще потребле служащее целям роскоши, так же, как живая сила, затрачен на устройство фонтанов и каскадов, и потребление, которое со ствует прямо или косвенно, общественной защите, покровит ству частным интересам, поддержанию порядка в обществе, госостоянию населения, поощрению всех тех наших спосо стей, исчезновение которых вообще можно рассматривать, некое зло» [1]).

Здесь, между прочим, мы встречаемся с учением Кур воспроизводстве. При чем, как легко может заметить читат он все время оперирует здесь с ценой производства; друг словами, он идет по пути, проложенному Рикардо, который то так же анализировал цену производства, полагая, однако, имеет дело с ценностью. Рикардо, к сожалению, не дал св учения о воспроизводстве; у Смита таковое было, и было создано в противовес Tableau économique Кенэ. Если Смит в в одном отношении и сделал шаг вперед по сравнению с фи кратами, то, о другой стороны, он совершил грубую ошибку,

[1]) Cournot, Traité, стр. 560—561.

которой был свободен Кенэ: он совершенно упустил из виду постоянный капитал, и весь доход нации разложил на заработную плату, прибыль и ренту.

Учение о воспроизводстве Курно, хотя и изложенное чрезвычайно кратко, выгодно отличается от смитовских построений; в основном он его принимает, но ясно и недвусмысленно он вводит в него упрощенную Смитом категорию постоянного капитала. Таким образом оно может быть рассматриваемо, как естественное дополнение и пополнение теории Рикардо.

Конечно, Курно говорит здесь об индивидуальном предприятии, но здесь сказалась только его атомистическая точка зрения на общество. Вспомним только его общий баланс общественного богатства, как сумму частных балансов. Несомненно, речь идет об общественном воспроизводстве, но только вместо того, чтобы говорить о сумме, Курно говорит об отдельном слагаемом. Но иногда он очень отчетливо различал интересы общества от интересов отдельных лиц.

Мы вплотную подошли теперь к ценности. Для того, чтобы динамика не останавливалась, чтобы товары непрерывно притекали в торговлю и оттуда переходили в потребление, нужно, применяя, современную терминологию, непрерывное продолжение процесса производства ценностей. Тем самым ставится вопрос об источнике ценности. Курно не оставляет его без ответа; он приводит следующий пример: «Некая колония основывается на побережьи ненаселенного континента, и перед ней находятся безграничные леса и степи. Лес и сено представляют из себя вещи, не имеющие никакой ценности даже на месте их производства, но нужен труд для того, чтобы доставить их на место потребления, и когда покупают лес или сено, т о в ц е н е и х о п л а ч и в а ю т т о л ь к о э т о т т р у д» [1]). Затем эта колония начинает процветать; леса и сена с близ лежащих участков не хватает, цена на них будет расти и в силу этого начнут эксплоатироваться все дальше и дальше отстоящие участки. Пример явно взят у Рикардо, но Курно хочет с его помощью об'яснить не только происхождение ренты, а вообще прибыль. Эта его теория прибыли даже не выдерживает сравнения со смитовской.

В приведенной цитате вместе с тем, ценность определенно сводится к труду. Приведем еще две цитаты.

«Очевидно, что труд есть элемент ценности вещей; но очевидно также, что необходим материал, к которому прилагается труд, и к которому присоединяется, как к своему чувственному субстрату, ценность, произведенная трудом; здесь зародыш двух крайних теорий: одной, которая желает всякую ценность (прямо или косвенно) вывести из труда; и другой, которая утверждает (или скорее утверждала, так как эта теория вышла из моды), что труд человека, хотя и производит ценность, но при этом столько же и затрачивается для поддержания работника, таким образом, если подвести баланс, чистое приращение ценности получается только, как говорили, и з з е м л и, или от общей материи всех материальных веществ» [1]). «Экономисты прошлого века, которых называли физиократами, уподобляли землю, которая без

[1]) C o u r n o t, Traité, стр. 562.

всякой обработки производит лес и траву, рабочему, [illegible] работает без чьей-либо помощи, своеобразно и безво[illegible] интересах собственника в течение всего времени про[illegible] землю же, которая, будучи подвержена обработке, пр[illegible] пшеницу, они уподобляли рабочему, работающему без[illegible] в сотрудничестве с другими оплачиваемыми рабочими. [illegible] представление о даровом труде природы, без участия [illegible] стием труда человека, совершенно бесполезно для об'яснения [illegible] номических явлений; пусть дело идет о каменоломне, о [illegible] и пусть дело шло бы о констатировании аналогичного [illegible] об анализе также ценности камня или ископаемых [illegible] потребления. Никому же не придет в голову привлечь для об[illegible] ния тот труд, который затрачивала природа, создавая [illegible] отложения в недрах вод или заполняя трещины в земной [illegible] расплавленным металлом» [1]).

Эти слова Курно не оставляют никакого сомнения [illegible] что мы имеем перед собой определенного представителя [illegible] трудовой ценности. Как вытекает из них, Курно различа[illegible] обще только два направления в теоретической политическ[illegible] номии: это—или чисто трудовая теория, сводящая всю [illegible] к труду, и представителями которой в другом месте он [illegible] Смита и Рикардо вместе с Сэем, или физиократы, при [illegible] определенно отмежевывается от основного физиократического [illegible] ложения и тем самым становится на сторону первого направл[illegible]

Правда, если мы присмотримся ближе к той роли, [illegible] он отводил труду, то его трудовая теория представится [illegible] всем чистой по своему характеру, и на-ряду с трудом у [illegible] как-будто, выступают иные образующие ценность факторы; [illegible] нужно отметить, что, по большей части, это происходит [illegible] шения относительной ценности с ценой; у него уже ста[illegible] ся заметны следы разложения рикардианства.

Мы пройдем мимо взглядов Курно относительно други[illegible] просов экономической теории; попутно мы их отмечали. [illegible] ного, однако, полагаем, достаточно, чтобы признать совер[illegible] несостоятельность той легенды, которая пытается сделать [illegible] но, по крайней мере, крестным отцом современной вульг[illegible] экономии. Но, принимая во внимание ту вынужденную [illegible] которую ему навязали—быть первым представителем мат[illegible] ческого направления, мы остановимся на его приложении [illegible] матики к на его теории цены.

В своей теории цены, или относительной ценности Кур[illegible] совершает ту же методологическую ошибку, что и Рикардо: [illegible] начинает исследование с самого сложного случая—с [illegible] ного курса, т.-е. явлений международного обмена. Он [illegible] здесь от неизменного мерила. Отметив, что ценность денег [illegible] блется не только во времени, но что в различных местах, [illegible] в различных странах, покупательная сила определенного [illegible] чества монетного металла неодинакова, он и дает формулы [illegible] перевода цен, принимая во внимание разницу в курсе. [illegible] его интересует не номинальный курс, а курс реальный, [illegible] он говорит, т.-е. отношение между платежной силой в различ[illegible] местах одного и того же количества чистого металла» [2]). [illegible] ким образом, по его словам, можно получить абсолютные [illegible]

[1]) Cournot, Traité, стр. 563.
[2]) Cournot, Récherches, стр. 29.

ности всех товаров [1]), ибо они будут выражены в деньгах, приведенных к некоей воображаемой или средней денежной единице, постоянной для всех мест и подобной «среднему солнцу» астрономов. Впрочем, его теорию вексельного курса мы можем совершенно оставить в стороне.

«Курно не является теоретиком суб'ективной ценности. Полезность оценки для него только вспомогательное понятие. Что он дает, это—механику цен и масс (сбываемых. *В. П.*) товаров» [2]. Это не совсем верно: на-ряду с механикой цен Курно дает и нечто большее. Показав, в чем оно заключается, мы перейдем теперь к этой механике.

Чтобы заложить фундамент теории меновых ценностей,—говорит Курно,—мы не будем восходить, как это делает бо́льшая часть писателей, до колыбели человечества; мы не будем касаться ни происхождения собственности, ни возникновения обмена и разделения труда. Все это не имеет никакого отношения к современной эпохе развитой цивилизации [3]). Единственное предположение, или, если хотите, гипотеза, из которой мы будем исходить, гласит: каждый стремится извлечь из продукта своего труда возможно большую ценность [4]).

Вместе с тем, мы вступаем в область рыночной конкуренции и относительная ценность превращается в цену. Правда, у Курно отсутствует точное разграничение этих понятий, сплошь и рядом он отождествляет ценность и цену; однако он дает здесь в сущности теорию цены, говорит именно о цене, и даже в своей терминологии нечувствительно переходит от valeur к prix.

Прежде всего, он отвергает распространенный предрассудок: «Цена вещей, говорят почти единодушно, находится в обратном отношении к предложению и в прямом к спросу» [5]). Он констатирует, что о строгой пропорциональности не может быть и речи. Если,—говорит он,—продавалось 100 единиц товара по 20 франков за штуку, то нет никаких оснований для того, чтобы в течение того же промежутка времени было продано 200 штук по цене в 10 фр. за штуку. «Иногда будет продано больше, чаще будет продано гораздо менее» [6]); сам спрос находится в прямой зависимости от величины цены. Если под спросом не понимать только голого желания приобрести вещь, в каковом случае всякий спрос можно считать безграничным, а учесть, что каждый покупатель при своем спросе исходит из предпосылки **предельной** цены, выше которой он дать не может или не желает, и что такие же границы со стороны цены имеются и для продавца, то в таком случае это весьма распространенное положение становится даже не ложным, а просто теряет всякий смысл [7]). И он ищет менее бесплодного принципа. «Обычно спрос на какой-либо товар тем больше, чем он менее дорог. Сбыт или спрос (ибо для нас эти оба слова—синонимы, и мы не видим, в каком отношении теория могла бы принять в соображение спрос, ко-

[1]) Напомним, что «абсолютная ценность» в этом случае будет, по существу, относительной ценностью.
[2]) Waffenschmidt, указ. Einleitung, стр. 9.
[3]) Cournot, Récherches, стр. 46.
[4]) Ibidem.
[5]) Ibidem, стр. 46—47.
[6]) Ibedem, стр. 47.
[7]) Ibidem, стр. 48.

одновременно не был бы и сбытом) сбыт или спрос, говор... ем возрастает, когда цена падает» [1].

...ледовательно, сам спрос является функцией цены. Если ...чим спрос на какой-либо товар D, то D будет функц... ...ены p этого товара—т.-е. $f(p)$. «Найти форму этой функци... то значит найти то, что мы называем законом спроса и... ...быта» [2]).

Здесь мы и обратимся к его математике. Что вообще ма... ...атика приложима и в области политической экономии, а в... ...ля Курно не может быть никаких сомнений. Что она с особ... ...спехом может быть приложена также к изучению меновой ц... ...юсти, тоже не может вызывать никаких сомнений, ибо мено... ...енность есть прежде всего величина, которая может быть из... ...рена. Но «все, что человек может измерить, сосчитать, систе... ...гизировать, становится в конце концов об'ектом меры, счета, ...стемы» [3]).

«Следовательно, и меновая ценность или богатство в абстр... ном смысле может стать предметом точного анализа, чего нел... сказать о вспомогательных понятиях полезности, редкости, ...собности удовлетворять потребности или доставлять наслаж... ния человеку».

Мы выше отмечали, в чем, по мнению Курно, лежит прич... неудач прежних приложений математики. Он говорит: «пр... ...ставляли, что употребление знаков и формул должно иметь це... только производство числовых вычислений» [4]). Но это невер... далеко не всегда можно ограничиться только одной арифмети... Так, например, уже Рикардо, «который затрагивал наиболее ...страктные вопросы и стремился к наивозможной точности, ... мог избежать алгебры, но только преподносил ее под видом ... тянутых до утомительности арифметических вычислений» [5]).

Наконец, в иных случаях данные, необходимые, например, ... анализа относительной ценности, вообще не могут быть и... рены и выражены количественно. Так, на закон спроса вли... такие факторы морального порядка, которые не могут быть н... ким образом измерены, а при этих условиях окажется недоста... ной и алгебра.

Курно прибегает поэтому к высшему анализу. «Всякий, ... комый с математическим анализом, знает, что он имеет св... предметом не только вычисление чисел, но он применяется и ... того, чтобы находить отношения между величинами, которы... могут быть выражены в виде чисел, и отношения между фу... циями, закон которых не может быть выражен алгебраическ... символами» [6]).

Но для применения высшего анализа необходима еще ... предпосылка: необходимо, чтобы $f(p)$ представляла из себя ...прерывную функцию, другими словами нужно, чтобы увелич... или уменьшение спроса происходило при переходе от о... величины цены к другой не внезапно и не скачками, а п... ...пенно; оно должно проходить при этом через все промежу... ...ные значения. Для каждого потребителя размер его потребл...

[1]) Cournot, Recherches.
[2]) Ibidem, стр. 50.
[3]) Ibidem, стр. 4.
[4]) Ibidem, стр. 7.
[5]) Ibidem, стр. 9.
[6]) Ibidem, стр. 8.

и, вместе с тем, его спрос на рынке меняются скачками, и далеко не пропорционально росту цен. Так, при увеличении цены дров с 10 франков до 15 возможно, что у отдельных семей потребление дров останется тем же самым, и только лишь при переходе цены через известную границу, потребление или спрос на дрова уменьшится скачкообразно. Однако, если мы возьмем достаточно обширный рынок, то мы можем предположить, что эти скачкообразные изменения спроса у отдельных потребителей будут иметь место при самых различных моментах изменяющейся цены, и, не впадая в большую ошибку, можно будет предположить, что общий спрос будет изменяться непрерывно.

Мы не станем излагать здесь теории цены Курно, или его «теории конкуренции», как называет ее Дмитриев. Во-первых, она обыкновенно излагается под именем теории Курно, а, во-вторых, она должна бы явиться предметом специальной работы. Скажем только, что Курно в общем построении следует здесь за Канаром. Он точно так же начинает с монополии—случая самого сложного с точки зрения экономии, но самого простого с математической точки зрения. От нее он далее переходит к среднему случаю: к конкуренции только между двумя производителями, а затем к полной или неограниченной конкуренции. При этих исследованиях он сперва отвлекается от издержек производства, затем включает их, прослеживая их влияние на цену, наконец, привлекает сюда влияние налогов. Здесь он имеет дело с ценой, а так как он отвлекается от ее случайных колебаний, то, по существу, дело идет у него о цене производства. Ошибка его в том, что он отождествляет ее с относительной ценностью.

Нам остается только подвести итоги; после всего сказанного мы можем быть весьма краткими.

Первый вывод, который мы должны сделать, заключается в том, что легенда о Курно, как основателе или первом представителе математического направления, должна быть, наконец, оставлена. Оба—и Канар, и Курно—выступили перед нами, как вполне определенные представители трудовой теории ценности. И если уже говорить о приоритете в математической школе, то таким первым представителем ее будет скорее всего Огюст Вальрас, который, хотя и не прибегал к математическим формулам, однако считал политическую экономию наукой математической. Но он не ограничивался только этим, да и не мог, конечно, ограничиваться, а клал в основу определенный принцип; а именно ценность он выводил из редкости [1]).

Сын его, экономист Леон Вальрас, прямо указывает, что основные принципы своей теории, представляющей первую развитую теорию математической школы, он заимствовал у своего отца и только дал им дальнейшее развитие.

[1]) La valeur, en deux mots, c'est l'utilité rare (278). «La rareté n'exprime donc pas autre chose que le rapport qui existe entre la somme des biens limités, et la somme des besoins qui, pour se satisfaire, en sollicitent la possession. Or ce rapport est un rapport mathématique: c'est un rapport de nombre ou de quantité (281). В заголовке гл. XVIII он прямо называет политическую экономию математической наукой: «L'économie politique est une science mathématique». August Walras, De la nature de la richesse, et de l'origine de la valeur, Paris 1831.

Показав несостоятельность этой легенды, создавшейся в круг имени Курно, нам нужно будет точнее определить то м сто, которое занимает Курно в истории политической эконом Сделать это поможет также знакомство с его предшественник Канаром. Ибо и Канар, и Курно явно принадлежат к одно и тому же направлению. Короче, оба представляют любопытн ответвление смитовской школы во Франции; при чем кажды из них знаменует особую стадию в развитии этого ответвлени оборвавшегося на Курно.

В общем оно представляет интересную параллель к англи ской классической школе. Мы знакомы уже со смитианцами в Франции, обычно таковым считают Сая, который отправлялся от взглядов Смита и в то же время в сильнейшей степени вуль гаризировал его. Можно, пожалуй, сказать, что смитианство в Франции в лице Сая отцвело, не успевши расцвесть. Но по мимо Сэя там, оказывается, были иные экономисты—смитианцы одним из них и является Канар, выступивший даже по отно шению к Сэю соперником. Мало того, в лице Курно мы имеем уже рикардианца. При чем, если Канару удалось в некоторы отношениях продвинуться дальше Смита, то Курно стоит в та ком же отношении к Рикардо.

На самом деле, обратимся к их теориям ценности. Кана уже не повторяет той путаницы, которая так характерна дл Смита, у которого можно насчитать, пожалуй, около десяти различных определений ценности или намеков на такие опре деления. Он заимствует у него наиболее правильное определе ние, которое, к слову сказать, и у Смита являлось основным,— ценность создает тот труд, который затрачен на производств вещи. Наконец, мы у него находим и более ясно выраженну категорию прибавочного труда, правда, под неуклюжим назва нием «излишнего труда требования»; этим трудом является у него тот труд, который затрачивается сверх необходимого тру да, т.-е. труда, необходимого для поддержания существовани работника, иначе для производства необходимых средств суще ствования.

Курно точно так же определенно стоит на точке зрени трудовой теории ценности. Но он, подобно Рикардо, центр тяже сти уделял относительной ценности, вернее, даже изменениям относительной ценности. Однако у него мы находим точное и по существу, правильное разграничение абсолютной и относи тельной ценности, местами напоминающее Маркса. Но что осо бенно ставит Курно выше Рикардо—это признание им истори ческого характера за категорией ценности.

Но оба далеко не свободны от вульгаризации; причина том та же, что и у классиков-англичан. Они встретились с цено производства; отождествили ее с ценностью, а при этих усло виях труд становится (в виде заработной платы) только одни из определяющих ценность (или цену производства) моментов на-ряду с ним выступают и другие издержки производства У Курно этот момент, характеризующий в то же время и начал разложения классической школы, выступает сильнее. Однако ни кому не придет в голову об'явить Рикардо истинным основопо ложником позднейшей вульгарной экономии (понятно, за исклю чением самих вульгарных экономистов). Точно так же и Курно несмотря на эту вульгарную сторону, проистекающую из невоз

можности для него об'яснить явления реальной экономической действительности теми процессами, которые совершаются в ее глубине и которые, в конечном счете, определяют эту действительность, — точно так же, повторяем, Курно не может быть всецело отнесен к вульгарным экономистам. Правда, от этой вульгарной стороны его взглядов ведут свою родословную современные математики, тем не менее его, пожалуй, нужно скорее отнести к классикам, по крайней мере, по отношению к постановке и решению им некоторых проблем экономической теории; но он, несомненно, является уже тем экономистом, у которого черты разложения классической школы проступают весьма сильно. В нем мы имеем, таким образом, одновременно и рикардианца, и начало разложения рикардианской школы.

Здесь мы, вместе с тем, находим об'яснение того факта, что Курно был «забыт» уже при жизни. Дело в том, что ко времени выхода его труда час классической экономии уже пробил. Буржуазная экономия уже потеряла всякий вкус к серьезным экономическим исследованиям; дальнейшее развитие классической буржуазной экономии непосредственно вело к Марксу. Буржуазная же политическая экономия отныне стала возможной только на пути вульгаризации классиков. И неудивительно, что именно уклоны Курно в сторону вульгаризации стали впоследствии «откровением» для новейшей буржуазной экономии; но эти же уклоны, не порвавшие еще у Курно связи с классической школой, не могли уже удовлетворить эту буржуазную экономию.

Особенностью этого ответвления было, кроме того, применение математики и математического метода. Но они пользовались ими для определенной цели—для построения теории цены. Попытки дать теорию цены представляют их второе отличие.

Одно применение математики не дает еще права об'единить их в одну группу со всеми теми экономистами, которые точно так же прибегали к ее помощи. Это применение ничего не может еще сказать нам о характере экономической системы. Для определения теоретического лица того или иного экономиста важны и решающи те основные экономические принципы, из которых он исходит. Если Канар и Курно исходили из труда, как источника ценности, Вальрас—из редкости, а Госсен—из потребности и в качестве конечной инстанции водворяли мудрость провидения, то одно применение всеми ими математических знаков и символов еще не может позволить нам заключать об общности их теоретико-экономических взглядов. Равным образом, как нельзя валить в одну кучу и современное естествознание, прибегающее на каждом шагу к математике, и средневековую демонологию, при помощи математики пытавшуюся учесть количество чертей.

В основе теории цены у Канара и Курно лежала определенная теория ценности; правда, они не всегда умели связать их, свести цену к ценности, но это—общий грех всей домарксовой экономии. Канар строил свою теорию цены на основе смитовской теории ценности. Курно клал в ее основу более развитую форму теории трудовой ценности: правда, некоторые стороны его теоретических построений и раз'едали в то же время эту воспринятую им теоретическую основу. Вместе с тем, на Курно и закончилась эта французская параллель классической школы.

Ответ на „поправки" П. Виноградской.

Ал. Бернштейн.

В № 10—11 «Под Знаменем Марксизма» за 1924 год помещена моя статья о Ф. Лассале, написанная к 60-летнему юбилею со дня его смерти. Через 4 месяца, в № 3 за 1925 год, появилась критика моей работы, озаглавленная так: «Несколько поправок к статье А. Бернштейна о Лассале». Несмотря на скромное название, критика П. Виноградской по своему тону претендует быть «убийственной». Я же здесь попытаюсь показать, что после этой убийственной критики остался совершенно невредим.

Обстрел начинается с моего утверждения, что при чрезвычайной популярности имени Лассаля, «тем ощутительнее найти полное отсутствие о нем марксистской литературы». Кроме предисловия Эд. Бернштейна к Собр. соч. Лассаля, да еще того, что писал о Лассале Меринг в своей «Истории германской социал-демократии»,—нечего назвать» [1]). По этому поводу Виноградская мечет гром и молнии. Она поучает меня, что есть еще «целые три» более поздних работы Эд. Бернштейна о Лассале. Однако она забывает добавить, что все три, в том числе и последняя, самая «толстая» [2]),—по свидетельству самого Эд. Бернштейна,—всего лишь переделки того самого, упомянутого мною, предисловия. При чем «переделки» эти такого характера, что в наших глазах далеко не улучшают первоначальной работы. В предисловии к новому (12-томному) изданию Лассаля Эд. Бернштейн откровенно рассказывает, что во время работы над первым трехтомным собранием сочинений Лассаля он примыкал к «социал-демократии, руководимой Бебелем и Либкнехтом» [3]). Поэтому в то время, сетует Эд. Бернштейн, ему «больше хотелось проследить ошибки Лассаля (Lassalles Fehlern nachzuspüren), чем понять его значение (als seine Bedeutung zu erkennen)». Впоследствии же, когда он ушел из лагеря революционной социал-демократии (если он там когда-нибудь всерьез был...) и стал по новому оценивать Лассаля,—он и почувствовал себя вынужденным исправлять и переделывать свою прежнюю работу. Таково происхождение «переделок». Судите же теперь, какими «новыми» и какими «марксистскими» книгами берется дополнять Виноградская мой скупой перечень. Однако, видимо почувствовав неудобство положения, она вслед затем упоминает работу Меринга о Марксе: «Карл Маркс

[1]) См. «Под Знам. Марксизма», № 10—11 за 1924 г., стр. 153.

[2]) «Ferdinand Lassalle. Eine Würdigung des Lehrers und Kämpfers», Berlin 1919. Извиняюсь за сравнение по «толщине», но Виноградская, судя по статье, придает сему обстоятельству немалое значение.

[3]) F. Lassalle. Gesammelte Reden und Schriften, Berlin 1919 г., B. I, S.

История его жизни», где он «останавливается на Лассале». Так-то так, но «останавливается» там Меринг не столько на взглядах самого Лассаля, сколько на его взаимоотношениях с Марксом [1]). К тому же Виноградская вынуждена признать, что «в этой работе Меринг развивает не совсем правильный взгляд на существо вопроса» (стр. 240). Итак, опять неудача. Но А. Бернштейн должен быть посрамлен во что бы то ни стало, а ученая эрудиция критика должна быть выявлена полностью. Поэтому Виноградская бросается к той «обильной литературе о Лассале, которая вышла из-под пера буржуазных демократов» (и здесь же пользуется случаем сообщить, что готовит специальную библиографию о Лассале). Заметивши, однако, как далеко она ушла от марксистской литературы, Виноградская, обозлившись, советует мне «прочитать переписку Маркса и Энгельса» (стр. 241)...

Еще бы! пусть и трудно считать переписку Маркса и Энгельса книгой о Лассале, но разве уж это не доподлинно марксистская книга?..

Все эти беспокойные метания «во что бы то ни стало» за марксистской литературой о Лассале весьма мало обладают способностью убеждать. Хотя я не собирался (да и теперь не собираюсь) писать «библиографию о Лассале», но все же имею смелость оставаться при своем мнении, что у нас нет или почти нет о нем революционно-марксистской литературы. Ибо даже те две работы, которые я упомянул в своей статье, можно назвать лишь со множеством предупреждений и оговорок, исключительно лишь потому, что—увы!—melius non datus. И именно поэтому нам особенно «пора разобраться» в наследии Лассаля.

Второй удар наносит мне П. Виноградская по поводу того, что в моей статье не использовано богатое наследие писем Лассаля, опубликованное в последние годы Густавом Майером [2]). Эти письма, действительно, представляют собой богатейший источник для изучения Лассаля. Кстати, несколькими строками ниже Виноградская сообщает нам второе радостное известие: не довольствуясь «библиографией о Лассале», она готовит о нем к печати специальную монографию. Вот, если в монографии о Лассале Виноградская не использует или недостаточно использует новоизданное наследство,—мы будем иметь основание «разнести» такую монографию. Но я-то писал не монографию, а всего только—юбилейную статью. Юбилейные же статьи отличаются, к сведению всех критиков, совсем иными целями и рассчитываются на совсем иного читателя. Вот этого последнего совершенно не может понять Виноградская. В предисловии к своей статье я, между прочим, пишу: «Ходячее (подчеркнуто теперь. *А. Б.*) представление о Лассале очень далеко от действительности. Мало кто представляет себе, что Лассаль (подобно Луи-Блану) стоял на точке зрения «сотрудничества» классов и т. д. Эти слова вызывают почти истерическую реакцию со стороны Виноградской. Как так—мало кто представляет!.. А вот Каутский представлял это себе «еще» в 1922 году. «Все эти Америки уже давно открыты в Европе». Стало быть, я и не читал Каутского; стало

[1]) Статистика по «толщине»: Лассалю посвящено в этой книге из 440 стр.—не больше 20.

[2]) F. Lassalle, Nachgelassene Briefe und Schriften. 5 томов, вышедшие с 1921 по 1925 г.г.

быть, я и вообще не обладаю «мало-мальским знанием литературы предмета...» стр. 241). Это—только первый, слабый образец того, как логично строит свои выводы мой уважаемый критик и, главное, как внимательно читает он ту самую статью, которую взялся критиковать. Нужно ли повторять, что я говорю о ходячем представлении о Лассале? Работа, которая пишется к юбилею, всегда имеет целью привлечь внимание к юбиляру со стороны массового читателя, а не одних только специалистов предмета. Ни для кого не секрет, что у нас и после революции переиздавались брошюрками отдельные речи и статьи Лассаля, без всякого предисловия, как образцы революционно-марксистской агитации... И если припомнить к тому же «почти полное отсутствие» о Лассале революционно-марксистской литературы (ведь монография Виноградской еще только готовится к печати...),— имел ли я право сказать, что мало кто представляет себе Лассаля в подлинном свете. Не обижайтесь, т. Виноградская, и за Каутского (не стоит он того!), ни за... себя. Снизойдите с олимпийско-спецовских высот и вспомните, что не все читатели пишут самостоятельные монографии о Лассале.

Непонимание задач статьи, которую она критикует,—это основная беда Виноградской. Ее будущая монография уже заслоняет перед ней весь мир. И вот, на протяжении всей своей статьи, разными путями она старается доказать, что я не использовал (а стало быть (!)—не читал и не знаю) то той, то другой немецкой книги. Между тем, опытному читателю достаточно бегло пересмотреть «подвалы» моей статьи, чтобы увидеть, что она написана исключительно по русским источникам. И объясняется это как скромными задачами «не-монографии», так еще и спешностью, с которой всегда готовится юбилейная статья. Но, все же, является вопрос: а достаточны ли русские источники для определения «основных взглядов» Лассаля? Я полагаю, что достаточны. Во-первых, потому, что основные произведения как Лассаля (за исключением лишь двух важных философских работ Л.) [1]), так и о Лассале переведены на русский язык. А во-вторых, в юбилейной статье, где внимание сосредоточено на том влиянии, которое имел Лассаль на немецкое рабочее движение и на тех основных взглядах, которые он привил части германского пролетариата,—в такой статье важнее всего учесть его актуальные, боевые речи и произведения, нашедшие себе широкое распространение среди рабочего класса, а не то наследие, которое до 1918 года мирно покоилось в фамильном замке Зоммерберг и (после милостивого разрешения князя Германа Гацфельда) начало выходить в свет лишь в 1921 году. Только по тому трехтомнику, который был издан Э. Бернштейном в 1892 г. (да по отдельным брошюрам, в которых выходили речи Лассаля), знакомились со взглядами Лассаля немецкие рабочие. И эти работы вполне достаточны для определения основных взглядов Лассаля, сыгравших важнейшую роль в истории германского рабочего движения. Конечно, совсем иные задачи ставила бы себе монография, целью которой является всестороннее изучение всех оттенков идейного развития Лассаля и для которой

[1]) Я повторяю, что речь идет об основных произведениях Лассаля, а к ним нельзя причислить, напр., брошюру «Der Jtalienische Krieg» или трагедию «Franz von Zikingen».

новое наследство представляет, бесспорно, ценнейший, неисчерпаемый материал.

Но ultra-академическая совесть моего критика и здесь не находит успокоения. Ведь я цитирую Лассаля по «плохому русскому переводу устаревших изданий» (стр. 241). На этот раз я могу «совершенно» успокоить Виноградскую: у меня нет ни одной цитаты, не сверенной с немецким текстом, и мне так редко приходилось делать поправки, что цитированная характеристика перевода, мне кажется, дана со стороны Виноградской без всякой проверки, наобум. Ведь так легко об'явить издание, которому минуло 18 лет,—устарелым, а перевод—плохим [1]).

Как всякий мог заметить, все предыдущие возражения шли не по линии каких-либо взглядов Лассаля, а исключительно по линии использованной мною литературы. Между тем, эти возражения—гвоздь статьи Виноградской... Как только она переходит к существу дела, к моему изображению основных взглядов Лассаля,—вся ее критика становится удивительно мелочной и бессодержательной. Она занимается критикой отдельных фраз, случайной, мимоходом оброненной мысли, какой-либо незначительной частности, даже—формы изложения. Против моего изображения основных взглядов Лассаля Виноградская не находит ни одного возражения. А главная мысль, прохватывающая всю мою статью, мысль о том, что в разных формах общеидеалистическая позиция Лассаля окрашивает собою чуть ли не каждый участок теоретических и тактических взглядов великого агитатора,—словно бы и вовсе «не замечена». Попытаюсь сперва отделить самые существенные из сделанных «поправок».

Первая из них, идущая впереди остальных, касается общефилософской позиции Лассаля. Характерно, что и здесь речь идет не о существе соответствующих взглядов Лассаля, а о влиянии на эти взгляды со стороны современной Лассалю философской литературы. Я в своей статье усиленно подчеркиваю влияние Гегеля на философские взгляды Лассаля. Мой критик вносит «поправку»: «Гегельянство Лассаля было ограничено, и ограничено в первую голову Фихте» [2]). Можно было бы подумать, что я ни слова не говорю о Фихте, а «стало быть»—ничего и не знаю об этом влиянии... Между тем достаточно пересмотреть мою работу, чтобы видеть, что я не один раз подчеркиваю влияние Фихте [3]). И совершенно верно, что этот баллает догегелевской философии, особенно в форме фихтеанского националистического активизма, мешал Лассалю проделать путь от Гегеля к Марксу. Но основное идеалистическое влияние на Лассаля бесспорно принадлежит Гегелю. «Кульминационным пунктом» [4]) философии сам Лассаль об'являет именно философию Гегеля. И когда я говорил об общей идеалистической позиции Лассаля, я должен был ее характеризовать как «царство Гегеля». Этого, впрочем, не пытается оспаривать и Виноградская. Другое дело — вопрос

[1]) Когда эта статья была уже написана, я узнал, что это же «устаревшее» издание теперь переиздается почти без изменений книгоиздательством «Круг». I том только что вышел в продажу.

[2]) Статья Виноградской, стр. 242.

[3]) См., напр., мою статью, стр. 154, 156.

[4]) «Kulminirenden Gipfelpunkt», см. немецкое издание 92 г. B. I. 414.

об «ограниченности» этого на взгляд [1]) неограниченно
ства. По мнению моего критика, это царство ограничено
вую голову—Фихте. По моему же мнению, которое я
точно развил в своей статье, это царство Гегеля, в фило
исторической своей части, ограничено, в первую голову
ксом. «Идеализм Гегеля Лассаль соединил с теорией кл
борьбы Маркса» [2])—вот основной мой вывод о фил.-ист. взгл
Лассаля, тоже странным образом «не замеченный» моим
тельным читателем. С этим своеобразным талантом «пропус
то, против чего нет, повидимому, возражений, и тем самым
вершенно искажать остальное,—мы еще не раз будем встреча

Вторая «поправка» опять-таки не касается какого-либо
Лассаля. На этот раз речь идет о социальной структуре Г
мании 60-х годов. Прежде всего мне влетает от сурового
за то, что я ограничиваюсь тем, что привожу цифры соот
ствующего анализа, данного Мерингом в начале III тома
«Истории германской соц.-демократии». Вот так анализ!—
цает Виноградская (стр. 245). Охотно верю, что в моногр
обещанной моим критиком, я найду ссылки на непосредств
статистические источники. Ох, так то ведь—монография, т. В
ноградская, а у меня—всего лишь юбилейная статья. Но чем
об'яснить этакое презрение к цифрам Меринга [3])? Вы нашли
неверными? В таком случае, следовало бы и их «поправить»
мой критик ограничивается «категорическим» презрением
тем авторитетно заявляет: «В Германии 60 г.г. пролетариат
уже большой силой по численности и социальному
...он находился посреди двух основных классов (а не
сы разнообразных группировок»)» и т. д. [4]). Я, наоборот,
зывал, что по Пруссии цифровые соотношения были
60-м годам таковы: $^3/_4$ миллиона фабричн. рабочих, 1 милл
ремесленников (по шести «государствам» в целом—$1^1/_2$ милл
фабр. раб. и 2 миллиона ремесленников), $3^1/_2$ миллиона се
ских рабочих и 12 миллионов прочих (главным обра
крестьян, затем — буржуазия, юнкерство). При этом я о
бенно подчеркивал, что городские ремесленники полны бы
стокой злобы против вытеснявшей их труд фабричной промы
ности и легко мобилизовались на сторону буржуазии, а отс
сельские рабочие, далекие от городского пролетариата, без тр
использовались помещиками в их интересах [5]). Если ко
этим бесспорным фактам, которые и не пытался опроверг
мой критик, прибавить еще то, что и сами фабричные рабо

---

[1]) Чрезвычайно любопытно, как мало способна Виноградская
чужую мысль. Подытоживая один абзац моей статьи, я говорю (на стр
о будто бы «безграничном царстве Гегеля» в области философско-ист
ческих взглядов Лассаля. И непосредственно за этим
«Тем не менее, в фил.-ист. взглядах Лассаля характерно не столько то,
он—идеалист, сколько то, что в его идеализме... подточены корни». И да
прослеживаю работу «марксистского крота» в недрах «царства Гегеля». Ви
градская отрывает одну первую фразу и подвергает критике мое (?)
ческое утверждение, что философско-историч. взгляды Лассаля—без
ничное царство Гегеля.

[2]) См. мою статью, стр. 158.

[3]) Кстати, они в точности совпадают с соответствующими цифр
приводимыми у Лассаля.

[4]) Ст. Виноградской, стр. 245.

[5]) См. в моей статье стр. 175—176.

недавние ремесленники, что агитация Шульце-Делича и буржуазно-прогрессистской партии (рабочие «ферейны») пользуется среди них в начале 60-х г.г. еще не малым успехом, что у германского рабочего класса нет еще оформленной революционной организации, наконец, то, что у власти стоит прочное юнкерское правительство во главе с Бисмарком, если учесть все эти бесспорные факты—разве не будет вполне точно охарактеризовано соотношение сил такими словами: «Совершенно молодой,... ничтожный по численности класс фабричных рабочих утопает в массах разнообразных классовых группировок, в большинстве почти враждебно к нему настроенных. А над этой пестротой социальных сил, без труда используя разнообразные классовые противоречия своих противников, крепко стоит мощное феодально-юнкерское государство, возглавляемое одним из лучших государственных людей Европы» [1]).

Но Виноградская опять обижена, на этот раз—за германский рабочий класс. По ее мнению, в 60-х г.г. «пролетариат был уже большой силой по численности и социальному весу»... Какой «пролетариат»? включает ли сюда Виноградская с.-х. пролетариат? Уж не включает ли нечаянно и ремесленников? Если так, она говорит о призраках. Ибо даже сельско-хоз. рабочие (ремесленников уж оставим в покое) не только в 60-х г.г., но и позже, были об'ективно контр-революционной силой в руках помещиков [2]). Если же относительно одних фабричных рабочих говорит Виноградская, что они были «уже» большой силой по численности, то... что же она берет для сравнения? Может быть, средние века? Только в подобном случае она может быть права. Я же, покуда ученый критик не опровергнет цифр Меринга, не могу принять такой «поправки». Класс фабричных рабочих в Германии в 1860-х г. г. переживал лишь процесс своего первого оформления, делал первые попытки к созданию своей классовой организации. Силы его были ничтожно слабы для возможности удачных революционных попыток (ведь, кажется, всякому ясно, что именно в таком смысле я говорю о «слабости»). И, между прочим, слабы они были не только и даже не столько в смысле абсолютного числа фабричного пролетариата, сколько были слабы в смысле влияния на те «разнообразные классовые группировки», наличие которых так упорно не хочет признавать Виноградская. Именно в этом лежат корни всей дальнейшей линии демократизма, так глубоко привившейся в истории германского рабочего движения, линии, которая была долгое время правильной классовой тактикой завоевания на сторону городского пролетариата этих самых, близких к нему социальных группировок. Такая, в свое время правильная, линия глубоко была усвоена германской социал-«демократией», настолько глубоко, что ее вожди не отказались от нее и позже, когда эта «демократическая» тактика превратилась в свою противоположность, тянула уже назад выросший в мощную силу промышленный пролетариат Германии, замазывая и отодвигая лозунг диктатуры про-

[1]) Моя статья, стр. 176.

[2]) Между прочим, именно это настроение сельско-хозяйственных рабочих и имел в виду Энгельс, когда в одном письме писал, что «в настоящих условиях всеобщее избирательное право для пролетариата из оружия может превратиться в западню».

летариата и ставши орудием контр-революционного ... буржуазии на пролетариат. И вот, еще в период 60-х годов в взглядах Лассаля, выросших из современной ему классовой обстановки и обобщивших в «вечные» принципы тактические лозунги момента, в этих взглядах, усвоенных в значительной части немецким рабочим движением, уже лежат корни будущего германского оппортунизма [1]). В ответ на попытку в этом пункте «поправить» мою статью, я могу вполне с уверенностью возразить, что при том упрощенном понимании классовых соотношений в Германии 60-х г.г., которое предлагает Виноградская,—она ничего не поймет в тактических взглядах и тактических ошибках Лассаля. Тем самым будут утеряны исторические корни социал-демократической тактики и ее дальнейшего оппортунистического перерождения.

Третья «поправка» относится к пониманию Лассалем партии. Критик находит, что я слишком мало остановился на этом вопросе. Вот эту поправку я принимаю целиком. Моя статья была написана год тому назад (по независящим от меня обстоятельствам она пролежала в редакции почти полгода). Сейчас я бы совсем иначе разработал этот вопрос. Однако основное представление Лассаля о партии—как о всем классе, поставившем себе определенные политические задачи, мною было дано.

Этим и исчерпывается все существенное, выставленное Виноградской против моей работы. Дальнейшие возражения, к которым я перехожу, относятся уже целиком к «булавочным уколам», а частью вызываются, выражаясь мягко, невнимательным чтением моей статьи.

В той же главе о тактике Лассаля я касаюсь вопроса о так называемом «тактическом повороте», о ставке на Бисмарка и показываю, что этот поворот тактики не только был грубо ошибочен сам по себе, но и совершенно не вязался с общими тактическими взглядами самого Лассаля. «Весь лассалевский анализ общественных групп,—пишу я на стр. 185,—и тактики по отношению к ним показывает, что со всеми из этих групп Лассаль считал возможным соглашение, но за исключением одной группы—феодальных помещиков и их реакционного правительства. Чем же можно об'яснить его последнюю ставку на Бисмарка?.. С точки зрения его собственных общих взглядов,—нет ни об'яснения, ни оправдания», и т. д. Для всякого непредубежденного читателя ясно, что речь идет здесь об общих тактических взглядах Лассаля. Но Виноградская не относится к непредубежденным читателям (помешала собственная монография?) и поэтому не хочет понимать того, что написано. «Эта (новая. *А. Б.*) тактика не находилась в коренном противоречии со взглядами Лассаля на государство, как на высшую надклассовую силу»,—пишет она. Карты подтасованы. Мне приписано утверждение, что тактический поворот находился «в коренном противоречии» не только с тактическими взглядами Лассаля (как утверждал я), но и с его обще-теоретическими взгля...

[1]) Во введении к своей статье я пишу: «Никто еще не пытался в ... Лассаля искать корни дальнейшего оппортунистич. перерождения германской соц.-демократии. Между тем, одна постановка такого вопроса бросает неожиданный свет на позднейшую историю нем. раб. движения, а через нее—и на историю 2-го Интернационала».

дом на государство (как хочет слышать мой критик), а затем Виноградская делает отсюда «сногсшибательный» и «убийственный» вывод, что я неправильно понимаю взгляды Лассаля на государство. Между тем глава в моей работе о лассалевской «теории государства»—скромно замалчивается... Этот любопытный прием «научной» критики, эта своеобразная подтасовка утверждений и выводов, как мы еще не раз будем видеть,—излюбленный метод критика. Конечно, не подлежит никакому сомнению, что именно идеалистическая теория государства могла помочь Лассалю верить в плодотворность его ставки на Бисмарка и тем самым—пойти в разрез с его же собственными тактическими взглядами. Именно это последнее я и утверждал в своей статье.

«Укол» номер второй. Рассуждая об идеологических влияниях на Лассаля, мой критик попутно заявляет: «...смешной кажется фраза, где автор о путях развития Лассаля (курсив мой. *А. Б.*) говорит: «справедливость—у Прудона, свобода и равенство—у Бакунина... Лассалю нечего выдумывать...» (стр. 243). И далее следует мне поучение: если Прудон действительно имел влияние на Лассаля, то «смешно» говорить о влиянии Бакунина. Эта булавочная «поправочка» относится к уже освещенному методу моего критика выдергивать одну фразу, исказив ее смысл, а затем нападать на сфабрикованную нелепость. Поглядите на это место в моей статье, и окажется, что вовсе я там «о путях развития» Лассаля не говорю, и ни о каком «влиянии» на Лассаля ни со стороны Бакунина, ни со стороны Прудона не упоминаю. Говорится там о лассалевом представлении исторического процесса, и соответствующие представления Прудона и Бакунина приводятся лишь, как аналогии, для простого сравнения [1].

Но чрезвычайно интересно, с каким апломбом нападает Виноградская на утверждение, брошенное мною попутно, при изложении лассалевской теории государства, о том, что бесчисленные юридические процессы, которые приходилось вести Лассалю, и в связи с ними усиленные занятия теоретическим правом привели к тому, что некоторый юридический налет покрывает многие его произведения и невыгодно отражается даже в некоторых его взглядах [2]). Виноградская в сотый раз повторяет всем известную мысль о том, как подошел Лассаль к процессу графини Гацфельд, находя особый принципиальный смысл в правовой борьбе отдельной личности, и пр. И отсюда строит решительный вывод: «Следовательно, не занятия судебными процессами влияли на Лассаля и определяли ход его мысли, а, наоборот, ход мыслей Лассаля был таков, что он должен был усмотреть в этих процессах революционную суть и мог взяться за них» (стр. 244). Очень забавно, в какую сверх-марксистскую форму облекла здесь Виноградская свою мысль: как видите, не условия жизни опре-

---

[1]) Моя статья, стр. 155.

[2]) Между прочим, «идеалистические образы мысли, образы философии и юриспруденции» (мой курсив) у Лассаля подчеркивает и Меринг в его книжке «Карл Маркс. История его жизни» (Г. И. 1920 г., стр. 248). Интересна также в № 4 «Под Знаменем Марксизма» статья «Философско-правовое наследие Лассаля», где автор говорит о «юридическом мышлении» Лассаля: «Лассаль был слишком «хорошим юристом», чтобы быть одновременно и последовательным материалистом» (стр. 68).

деляли ход мыслей Лассаля, а—наоборот... Это, конечно, внешность. Но и по сути—здесь прямо чудесное использование диалектического метода. Итак, не юридические занятия на ход мыслей Лассаля, а ход мыслей Лассаля привел его к юридическим занятиям. Неужели же вам самой, т. Виноградская, не пришло в голову, что верно и то и другое... мыслей» Лассаля, его идеалистическое понимание истории... нело его к переоценке правовой борьбы отдельных личностей, эта многолетняя юридическая борьба в свою очередь безусловно наложила свой отпечаток на «ход мыслей», а особенно формы мыслей нашего героя[1]).

Мы уже встречались с замечательным искусством Виноградской делать «сногсшибательные» выводы из какой-либо мысли и затем жестоко нападать на меня же за эти свои выводы. Классический образец этого изумительного таланта — то место, где она приписывает мне свою аналогию между Лассалем и Лениным! Говоря о лозунге Лассаля: «авангардом человечества должны быть промышленные рабочие»[2]), я сопоставляю его мимоходом с лозунгом нашей пролетарской революции: «пролетариат — вооруженный авангард всех трудящихся». В другом месте (стр. 174) я сам говорю, что «вряд ли имеют какую-либо историческую ценность... оценки с вышки XX столетия», и, разумеется, в исторической работе подобные сопоставления с современной нам действительностью надо всегда делать очень осторожно. Если бы это самое высказала Виноградская, мне оставалось бы только с ней согласиться. Но, вместо этого, критик вновь увлекся своим «сногсшибательным» методом и из брошенной мною мимоходом аналогии (быть может, и ненужной, и малосодержательной) строит такие выводы: «Если Лассаль не дорос до Маркса в области теории, то зато он перерос (!) последнего и равен (!?) Ленину в области тактики...»[3]). Horribile dictu! Ну, что станешь делать с этаким читателем? Такая стремительная фантазия из мухи может создать слона. С этим слоном ...ственный... критик и бросается в бой, демонстративно заявляя, что раз я (!) способен на такие выводы, то либо я не связал концов с концами в понимании Лассаля, либо не понимаю существа тактики ленинизма... Покорно благодарю, т. Виноградская, но комплимент должен возвратить по принадлежности. Судите сами, кому же другому нести ответственность за этакие выводы, как не их автору?

Но замечательнее всего то место, где Виноградская берется за экономические взгляды Лассаля. Кто читал мою статью, помнит, как я сжато демонстрирую идеалистический подход Лассаля к экономическим проблемам, подход, который всегда мешает ему до глубины понять экономические положения Маркса. И в этом смысле заключаю главу словами: «Если в царстве Гегеля в области философско-исторических взглядов Лассаля, корни его

[1]) Попутно я должен тут также заметить, что Лассаль не ... положил на помощь старику Гейне в его процессе за наследство. Ср. книгу Онкена о Лассале, стр. 30. «Тут» мой критик «несомненно доказывает», что при очень хорошем знании заглавий и числа страниц разных книг, иногда отличается плохим знанием того, что в них заключается».

[2]) См. F. Lassalle, Reden und Schriften, Berlin 1892, B. II, S. 872.

[3]) Статья Виноградской, стр. 246.

уже подточены Марксом, то в области экономических проблем Гегель платит Марксу той же монетой» (стр. 164). Кажется, смысл этого ясен: экономические взгляды Лассаля,—наоборот, «царство» Маркса, но подточенное и исковерканное идеалистическим подходом, заимствованным Лассалем у Гегеля. Между тем, мой глубокомысленный критик ходит вокруг этой фразы, как кот возле молока. Мы увидели, что он (критик, а не кот) «пропустил» мое изложение философско-исторических взглядов Лассаля, где я показываю, что «в царстве Гегеля уже не все обстоит благополучно; где-то в глубине, под блестящим идеалистическим покровом, упорно роется материалистический крот» и т. д. [1]). Сие место Виноградская «пропустила», а потому и здесь стоит в недоумении. Наконец, дар популяризации приходит ей на помощь, и она заявляет: «Очевидно, этой фразой Ал. Бернштейн хотел сказать, что если в области философии и (?) истории Лассаль становился марксистом, то в области экономии он остается гегельянцем?! В таком случае эта мысль так же верна, как и ясно выражена. Все это неверно!» (стр. 244). Как видим, дар популяризации—изумительный. В популярном изложении Виноградской мысль бесспорно так же верна, как и ясно выражена. И какое замечательное понимание экономических проблем! Экономика, судя по статье Виноградской,—вообще ее слабое место, и она хорошо делает, что более ни словом не касается экономических вопросов.

«В другом месте,—продолжает Виноградская,—автор заявляет, что в области экономии (курсив мой. *А. Б.*) на Лассаля не мог не влиять Маркс, с которым он вел переписку в течение 15 лет» [2]). И далее она, по обычному своему методу, жестоко (и, впрочем, бессодержательно) полемизирует с этим своим измышлением. Ну, посудите сами, зачем понадобилось бы мне ссылаться на влияние переписки и пр., когда сам Лассаль достаточно открыто заявляет, что в экономических вопросах следует Марксу, и когда мой вывод изучения экономических взглядов Лассаля как раз обратный: «Если в экономических взглядах Лассаля и сквозит Маркс, то в решающих местах—это Маркс, недодуманный до конца» (стр. 164). На влияние переписки с Марксом я, действительно, ссылаюсь, но вот именно «в другом месте»,—не «в области экономии», как измышляет изобретательный критик, но говоря о том, как некоторые взгляды Маркса подтачивают философию истории, на первый взгляд заимствованную Лассалем у Гегеля [3]). Если не думать, что «научная» критика Виноградской опирается на невнимательное чтение моей статьи, то остается, предположить, что наш ученый экономист понимает «область экономии» так широко, что включает в нее и философию истории.

Это совершенно исключительная способность фантазии (выражаясь мягко), уже не раз констатированная, еще не раз подтверждается и дальше. Даже в том месте, где Виноградская пытается меня снисходительно похвалить, она не может отказаться от этой своей «второй натуры». Так, на стр. 246 она пишет: «В вопросах о тактике Лассаля автор..., опираясь, по

[1]) См. мою статью, стр. 158.

[2]) Статья Виноградской, стр. 244.

[3]) В этом легко убедится всякий, открыв мою статью на стр. 157.

о же словам, на мысль Волгина (курсив мой
авильно критикует общую политику Лассаля: сотру
классов вплоть до демократич. буржуазии, соглаша
Бисмарком...» и т. д. Да читали ли вы мою статью,
мый критик? На мысль Волгина я, действительно, ссыл
«совсем» в другом месте! [1]). И мысль эта — так-таки ни
отношения к тактике Лассаля и не имеет!

Перелистывая статью Виноградской, я не нахожу б
ничего, на что следует дать ответ. Ибо ведь резкий тон—не
а иронические эпитеты еще менее способны быть аргум
Важнейшие, выставленные мной положения остались без
и без привета. По линии основных взглядов Лассаля
градская вовсе уклоняется от всякого спора [2]). Ее возраж
«поправки» в большинстве своем весьма мелочные бу
ные уколы, большей частью бессодержательные и совер
не обоснованные. Выдергивание отдельных фраз, искажение
сла цитат, навязывание другому своих выводов, подча
просто неточные ссылки на критикуемую работу—это ни
методы серьезной критики. Так нельзя критиковать. И р
всего—надо научиться читать чужие статьи.

---

[1]) На стр. 175, разбирая причины идеологического сходства у
с Луи-Бланом. Мысль В. П. Волгина — о мелко-буржуазном происх
первых социалистических учений и об их идеологическом влиянии на
вождей рабочего класса.

[2]) Напр., выставленный мною тезис о «сферах», на которые разб
у Лассаля общественная жизнь, или понимание Лассалем связи интелл
с рабочим движением и много других, — все это вопросы, о которых
спорить.

БИБЛИОГРАФИЯ.

Марксизм и кантианство.

(Опыт библиографического указателя).

... так как наиболее распространенным среди современных идеологов буржуазным учением является кантианство, то естественно, что идейное влияние буржуазии на пролетариат выражалось в попытках сочетания кантианского идеализма с марксизмом.

А. Деборин, Последнее слово ревизионизма.

Одной из величайших теоретических заслуг Маркса и Энгельса, несомненно, является установление ими глубокой внутренней связи между коммунизмом и диалектическим материализмом. Лучшие их последователи, и в первую очередь Плеханов и Ленин, славно поработали над укреплением этой связи, неустанно подчеркивая, что, разрывая с материалистической диалектикой, социалисты либо становятся вообще открытыми буржуазными идеологами, либо, что гораздо отвратительнее, их жалкими, скрытыми подголосками. Этот разрыв с диалектическим материализмом обыкновенно производится под лозунгом «назад»: к Канту—Фихте—Лассалю или же к какому-нибудь другому представителю идеалистической философии. В этом ренегатском хоре «назад» громче и продолжительнее всего звучит лозунг «назад к Канту». Почему же прах кенигсбергского философа так привлекает к себе сердца буржуазных мыслителей из Марбурга (Г. Коген, П. Наторп, Р. Штаммлер, Г. Риккерт и др.) и их «пролетарских» сотоварищей из патентованных философов II Интернационала (М. Адлер, К. Форлендер и др.)? Красноречивый ответ мы находим у Плеханова: «Буржуазия заинтересована в возрождении философии Канта, потому что она надеется, что эта философия поможет ей усыпить пролетариат» [1]). Глубочайший социально-политический смысл этих слов с особенной яркостью вскрылся в наши дни: все, что есть реакционного в лагере буржуазии, все, что есть предательского в лагере желтого социализма, спешит в бой против ненавистного революционно-материалистического учения коммунизма со знаменем «назад к Канту». В этом воинственно-идеалистическом шествии не последнее место занимали и наши русские неокантианцы... И если М. Адлер и Э. Бернштейн достойно представляют барматовский Интернационал на теоретическом фронте, то наши отечественные экс-«марксисты», как, напр., П. Струве или М. Туган-Барановский, добирались на своих доморощенных кантианских клячах лишь до портфелей в министерствах Центральной Рады (Туган-Бара-

[1]) Г. В. Плеханов, Материализм и кантианизм. Собр. соч., т. XI, стр. 130.

новский) или Врангеля (Струве). Такова практическая логика во шенной идеалитическской философии, призванной спасти буржуазный от тлетворного влияния «грубого» материализма. Отсюда само со вытекает вся важность борьбы с кантианской проповедью, под ка бы идеологическим соусом она ни преподносилась: чисто бурж ным (Штаммлер) или же разведенным социалистической вод (М. Адлер).

В предлагаемом вниманию читателей указателе мы собрали вс как марксистскую, так и антимарксистскую литературу, которая копилась на русском языке по вопросу о «марксизме и кантианст

В целях некоторой ориентировки мы сочли полезным дать в к алфавитного указателя еще и особый перечень важнейших литера ных источников, по которым можно проследить основные линии бор революционного марксизма с многообразными попытками «дополн Маркса теми или иными кантианскими конструкциями.

1. Адлер, М. Маркс как мыслитель. Пер. со 2 нем. изд. В. Н. занова с предисл. М. В. Серебрякова. М.—Л. Изд. «Книга». 1924 г., гл. III: «Истинное в Гегелевской философии».

2. Адлер, М. Энгельс как мыслитель. Пер. с нем. С. И. Це баума с предисл. проф. М. В. Серебрякова. Изд. «Книга». Л.—М. 192 стр. 28—29 и др.

3. Аксельрод, Л. (Ортодокс). Опыт критики критици «Научное Ооозрение». 1900, XII.

То же в ее «Философских очерках». Гиз. 3 изд. 1924 г., стр. 187—

4. Аксельрод, Л. (Ортодокс). Почему мы не хотим идти на (По поводу книги Н. Бердяева: «Суб'ективизм и индивидуализм в об ственной философии»),—«Заря» 1901 г., II—III.

То же в ее «Философских очерках», стр. 98—133 по 3 изд. 1924—см. стр. 118—124.

5. Аксельрод, Л. (Ортодокс). Еще один критик Ма (О книге Д. Койгена: «Zur Vorgeschichte des modernen Philosophis Sozialismus in Deutschland»). См. ее «Философские очерки». 3 изд. 1924 г., стр. 225—232. (Впервые в «Заре» 1902 г., IV.)

6. Аксельрод, Л. О некоторых философских упражнениях которых критиков». 1902. (Критика ст. Струве: «Свобода и истор ская необходимость», а также Штаммлера). См. ее «Философские оче 3 изд. Гиз. 1924 г., стр. 133—172.

7. Аксельрод, Л. (Ортодокс). О «Проблемах идеализма». «Буревестник». Одесса 1905 г. (Впервые в виде отд. оттиска из н шедшего № 5 «Зари» 1903 г.).

То же в сборнике ее статей: «Против идеализма». Гиз. М. 1922 г.

То же 2 изд. М. Гиз. 1924 г. (см. особенно стр. 7—13, 33, 41—

8. Аксельрод, Л. (Ортодокс). Двойственная истина в со менной немецкой философии (1906). См. ее «Философские очерки». М. Н. Дружининой и А. М. Максимовой. СПБ. 1906 г.

То же 2 изд. Гиз. М.—П. 1923 г.

То же 3 изд. 1924 г., см стр. 26—78.

9. Аксельрод, Л. (Ортодокс). Проблемы этики в со менном освещении. (По поводу книги Каутского: «Этика и истор ский материализм»),—«Современный Мир» 1907 г., IX, X.

То же в виде приложения кн. «Этика и исторический материал Каутского в изд. «Новая Москва». 1922 г., и Гиза. М. 1922 г.

То же в сборнике: «Марксизм и этика». Под ред. Я. Розанова. Гиу. 1923 и 2 изд. Киев 1925.

То же в сборнике ее статей «Против идеализма». Гиз. М.—П. 1922 г.

То же 2 изд. Гиз. М. 1924, стр. 45—79 (см. о Канте стр. 61—65).

10. Аксельрод, Л. (Ортодокс). К. Маркс и немецкая классическая философия (к 25-летией годовщине смерти К. Маркса). См. ее сборник статей «Против идеализма». Гиз. 1922 г.

То же 2 изд. 1924 г., стр. 92—104. См. 92—94.

То же впервые в сборнике «На очереди». 1908.

То же в сб. ее статей: «Маркс как философ». Изд. «Путь Просвещения». Харьков 1924 г.

11. Аксельрод, Л. (Ортодокс). Два течения. См. сборник «На рубеже». СПБ. 1909. Изд. «Наше время», стр. 229—266.

12. Аксельрод, Л. (Ортодокс). Простые законы нравственности и права. «Дело». 1916, 1.

То же во 2 изд. сбори. «Марксизм и этика». Гиу. Киев 1925 г., стр. 219—231.

См. ответ Мартова: «Простота хуже воровства».

О критике Л. Аксельрод Кантовой философии см. А. Деборин о «философских очерках» Л. Аксельрод в его «Введение в философию диалектического материализма». Гиз. 3 изд. 1924 г.,—см. стр. 372—376.

13. Алексеев, Н. Социальная философия Р. Штаммлера,—«Вопросы философии и психологии» 1909 г., I т. (96), стр. 1—26.

14. Николай (Андреев). Ученое пустомыслие. Социальная философия Рудольфа Штаммлера («Правда», 1904, V, стр. 178—206).

15. Гр. Баммель. Рец. на кн. К. Форлендера: «Общедоступная история философии». Пер. с нем. П. Виноградской с пред. Е. Преображенского. М. 1922 г., «Под Знаменем Марксизма» 1922 г., № 11—12, стр. 245—252.

16. Баммель, Гр. Идеализм на пути к самоупразднению. «Печ. и Рев.» 1923, II, стр. 27—33 (О Риккерте).

17. Баммель, Гр. Рец. на книгу: «Die Vereinigung von Kant und Marx». Walter'a Wagner'a,—«Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», под ред. Д. Рязанова. Книга первая. Гиз. М. 1924 г., стр. 469—470.

18. Бауэр, О. Марксизм и этика (по поводу кн. «Этика и исторический материализм» Каутского). См. сборник «Этическая проблема в историческом материализме». М. Изд. «Пульс жизни». 1907.

То же в сборнике «Марксизм и этика» под ред. Я. Розанова. Гиу Киев 1923 г.

То же 2 изд. Гиу. 1925 г., стр. 350—370. См. ответ Каутского в его ст. «Жизнь, наука и этика».

19. Бердяев, Н. Ф. А. Ланге и критическая философия,—«Мир Божий» 1900 г., № 7, стр. 224—254.

20. Бердяев, Н. Борьба за идеализм,—«Мир Божий» 1901, № 6.

21. Бердяев, Н. Суб'ективизм и индивидуализм в общественной философии. С пред. П. Струве. СПБ. 1901 г., стр. 267.

22. Бердяев, Н. Этическая проблема в свете философского идеализма. Сб. «Проблемы идеализма». СПБ. 1903 г. Названные ст. перепеч. в его сборнике ст.: «Sub Specie aeternitatis». СПБ. 1907 г., стр. 5—34, 59—99.

23. Бердяев, Н. Критика исторического материализма, — «Мир Божий» 1903, X (см. возражение у П. Нежданова: «Что такое экономический материализм»).

24. Берлин, П. Рец. на книгу: Р. Штаммлера: «Хозяйство и право с точки зрения материалистического понимания истории». СПБ. 1899 г.,—«Жизнь» 1899 г., № 11, стр. 335—338.

25. Берлин, П. Рец. на книгу «Маркс и Кант» М. Н. Ленова,—«Жизнь» 1901, II.

26. Берлин, П. О бернштейнианстве,—«Жизнь» 1901 г., № 2, стр. 113—127.

27. Бернштейн, Э. Исторический материализм. Пер. с нем. А. Кацель. Изд. «Знание». СПБ. 1901, стр. 332 (1899 г.).

То же под названием: «Социальные проблемы». Пер. П. Когана. М. 1901. См. особенно «Заключение». Конечная цель и движение. (С эпиграфом: «Kant wider Cant»).

28. Бернштейн, Э. Очерки из истории и теории социализма. Пер. с нем. СПБ. 1902 г., см. ст.: 1) «Реалистический и идеологический момент в социализме». (То же отд. изд. Одесса 1906), 2) «Необходимость в природе и истории», 3) «Диалектика и развитие».

29. Берсенев, Ф. (Ф. Дан). Нечто о критерии истины,—«Русская Мысль» 1901, VII, стр. 123—143 (по поводу кн. Н. Бердяева «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии»).

30. Богданов, А. Новое средневековье,—«Образование» 1903, № 3.

То же перепеч. в сборнике его ст. «Из психологии общества» СПБ. 1904 и 2 изд. 1906 г. (Критика ст. Бердяева: «Борьба за идеализм» и «Этическая проблема в свете философского идеализма»).

31. Богданов, А. О пользе знания,—«Правда» 1904, I.

То же в сб. его статей: «Из психологии общества». СПБ. 1904 (против ст. Н. Бердяева: «Критика исторического материализма»).

32. Богданов, А. Падение великого фетишизма, ст. «Вера и наука» (О книге В. Ильина: «Материализм и эмпириокритицизм», см. стр. 198—200). М. 1910. Изд. С. Дороватовского и А. Чарушникова.

33. Боричевский, И. Идеалистическая легенда о Канте,—«Вестник Социал. Академии», 1923, IV, Гиз. стр. 285—308. См. возражение А. Деборина в ст. «Легкомысленный критик»,—«Вестник Ком. Академии». 1924, VII, стр. 255—272.

34. Булгаков, С. О закономерности социальных явлений,—«Вопросы философии и психологии», 1896, V, стр. 575—611 (по поводу нем. изд. книги Штаммлера: «Хозяйство и право»).

35. Булгаков, С. Закон причинности и свобода человеческих действий,—«Новое Слово», 1897, III (май) (по поводу ст. П. Струве «Свобода и историческая необходимость»).

36. Булгаков, С. Хозяйство и право. В «Сборнике общественно-юридических знаний». Под ред. Ю. Гамбарова. СПБ. 1899 г., стр. 53—[illegible]

Названные три статьи перепечатаны в сб. его статей: «От марксизма к идеализму», СПБ. 1903 г.

37. Виноградская, П. Этика Канта с точки зрения исторического материализма,—«Под Знаменем Марксизма» 1924, IV—V.

38. Вольтман, Л. Система морального сознания в связи с отношением критической философии к дарвинизму и социализму. Пер. с нем. под ред. М. Н. Филиппова. Изд. Зябицкого и Пятина. СПБ. 1900 г.

39. Вольтман, Л. Исторический материализм. Изложение и критика марксистского миросозерцания. Пер. с нем., под ред. М. Филиппова. Изд. Зябицкого и Пятина. СПБ. 1901. См. ч. I, гл. I: Принцип критической философии, стр. 23—67. См. ч. III, гл. II, § 4: Возраже...

щение к Канту, стр. 222—224. См. ч. III, гл. III, § 2: Критика, направленная Энгельсом против кантовской «вещи в себе», стр. 230—242.

40. Гайдаров, Н. Р. Штаммлер и его теория социального материализма,—«Русское Богатство», 1902, № 10, стр. 30—57.

41. Гвоздев. К вопросу о телеологичности исторического процесса,—«Научное Обозрение», 1898, VIII, стр. 1429—1444 (против ст. В. Чернова: «Экономический материализм под защитой критического реализма»).

42. Гунтер, С. Исторический материализм и практический идеализм,—«Научное Обозрение», 1900, X, стр. 1759—1774 и отд. изд. Е. Горской. Киев (по поводу: «Хозяйства и права» Штаммлера),—см. рец. А. Луначарского «Образование», 1906, № 3.

43. Гуревич, А. В. Социология на почве критической философии,—«Вопросы философии и психологии», 1903.

То же перепеч. в его «Философских исследованиях и очерках». Изд. «Труд». М. 1919, стр. 48—70 (по поводу кн. Р. Штаммлера: «Хозяйство и право с т. зр. материалистического понимания истории»).

44. Давыдов, И. Социологические основы исторического материализма,—«Образование», 1903, XII («Социальный монизм»).

45. Давыдов, И. Мораль долга и идея автономной личности,—«Новый Путь», 1904, XI, XII.

46. Давыдов, И. Идеалистические и реалистические моменты в общественной философии,—«Образование», 1904, XII.

47. Давыдов, И. Об идеализме, марксизме и народничестве,—«Вопросы жизни», 1905, VII.

Названные статьи вошли в его сборник статей: «Исторический материализм и критическая философия», СПБ. 1905 г., стр. 320.

48. Давыдов, И. Предисловие ко II т. рус. пер. книги Р. Штаммлера: «Хозяйство и право с т. зр. материалистического понимания истории». Изд. «Начало», СПБ. 1907 г., стр. I—I—XXII.

49. Деборин, А. Рец. на книгу К. Форлендера: «Кант и Маркс»,—«Современный Мир» 1909. IX.

50. Деборин, А. Введение в философию диалектического материализма. С пред. Г. В. Плеханова. Изд. «Жизнь и Знание»» СПБ. 1905 г.

То же Гиз. М. 1922.

То же 3 изд. Гиз. 1924.

То же 4 изд. Гиз. 1925—см. гл. VI: Трансцендентальный метод, стр. 183—200 и «О «Философских очерках» Л. Аксельрод (Ортодокс, стр. 372—376).

51. Деборин, А. Очерки по истории диалектики. I. Диалектика у Канта,—«Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. первая. Гиз. М. 1924, стр. 13—75.

52. Деборин, А. Легкомысленный критик,—«Вестник Ком. Академии», VII, 1924 г., стр. 255—272 (по поводу ст. И. Боричевского: «Идеалистическая легенда о Канте»).

53. Деборин, А. Последнее слово ревизионизма. М. Изд. «Материалист» 1925—см. стр. 14—21, 33—35 и др.

То же, впервые в сб. «Воинствующий Материалист» № 1. М. 1924. См. также № 58.

54. Дживелегов, А. Марксизм и критическая философия,—«Вопросы Философии и Психологии», 1901, III, стр. 252—281 (по поводу книги K. Forländer'a: «Kant und Sociolismus». B. 1900).

55. Засулич, В. Элементы идеализма в социализме,—«Заря», 1901, II—III; 1902, IV.

То же, отд. изд. СПБ. 1906. «Новый Мир».

То же, в 2 т. Собр. соч. СПБ. (критика кн. Н. Бердяева: «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии»).

56. Зиммель, Г. К методологии социальной науки,—«Научное Обозрение», 1903, II.

То же отд. изд. Иогансона. Киев 1901 (по поводу «Хозяйства и права» Штаммлера).

57. Ильин, И. А. Рец. на «Хозяйство и право» Р. Штаммлера,—«Критическое Обозрение», 1907 г., № 4, стр. 56—61.

58. Иоффе, А. (А. Деборин). Об этике Мандевилля и «социализме» Канта. См. сб. «Марксизм и этика». Под ред. Я. Розанова. Гиу. Киев 1923 г.

То же 2 изд. Гиу. 1925 г.

То же в сб. «Этическая проблема в историческом материализме». Изд. «Пульс жизни».. М. 1907 г.

59. «История философии в марксистском освещении». Составили Б. Столпнер и П. Юшкевич. Изд. «Мир». М. 1924 г.— см. ч. II, стр. 9—98 и 355—367.

То же 2 изд. 1925 г. (названные страницы составились из отрывков из Меринга, Плеханова, Аксельрод, Каутского и Кунова).

60. Каган, М. Г. Коген,—«Научные Известия». Гиз. 1923 г. сб. II

61. Карев, Н. К двухсотлетию со дня рождения Канта,—«Под Знаменем Марксизма», 1924, IV—V, стр. 37—50.

62. Кареев, Н. Экономический материализм и закономерность социальных явлений,—«Вопросы Философии и Психологии», 1897 г. № 1, стр. 107—119 (по поводу ст. С. Булгакова: «Закономерность социальных явлений»).

63. Каутский, К. Письмо к Плеханову (май 1898 г.)—см. Ц. Фридлянда: «Два документа»,—«Печать и Революция», 1925, III, стр. 93—96.

64. Каутский, К. К критике теории и практики марксизма (Анти-Бернштейн). Пер. с нем. С. А. Алексеева. Гиз. М.—П. 1923 г.

То же, под ред. Б. Горева. Гиз. 1922 г.

То же, изд. Алексеевой. Одесса 1905 г.

То же, изд. Мягкова. 1905 г.

То же, изд. «Новый Мир» 1906.

То же, изд. Г. Львовича. СПБ. 1905 г.

65. Каутский, К. Этика и материалистическое понимание истории. Пер. Когана и Яковенко. СПБ. 1906 г.

То же, пер. Ф. Капелюша. Изд. «Мысль». СПБ. 1906 г.

То же, пер. под ред. Ф. Дана. Изд. «Новый Мир». 1906.

То же, изд. Киппера. Одесса 1906.

То же, под ред. А. Луначарского. Изд. «Знание». 1906 г.

То же, пер. М. Гельрота. Изд. А. Ткача. Одесса 1906.

То же, вошла в «Первый сборник». Изд. В. Корчагина.

То же, изд. Скирмунта. С приложением ст. «Жизнь, наука и этика» 1906 г.

То же, пер. под ред. А. Луначарского. Изд. Петр. Совета. 1918 г.

То же, пер. И. Постман. М. Гиз. 1922. С прилож. статей: 1) Каутского: «Жизнь, наука и этика» и 2) Аксельрод, Л. «Этика» Каутского.

То же, в изд. «Новая Москва». М. 1922 (повторение предыдущего)— см. гл. III: Этика Канта.

66. Каутский, К. Жизнь, наука и этика. Пер. В. Величкиной СПБ. 1906. (Ответ на ст. О. Бауэра: «Марксизм и этика».
То же, изд. «Коммунист». М. 1918 г.
То же, в виде прилож. к след. изд. «Этики и исторический материализм» Каутского: Скирмунта 1906 г., Гиз. 1922 и «Новая Москва» 1922 г.
То же, в сборнике: «Марксизм и этика». Под ред. Я. Розанова. Гиу. 1923 и 2-е изд. Гиу. 1925 г.
То же, в сб. «Этическая проблема в историческом материализме». Изд. «Пульс Жизни». М. 1907 г.
67. Кистяковский, Б. Категория необходимости и справедливости при исследовании социальных явлений,—«Жизнь», 1900 г., V, VI.
68. Кистяковский, Б. В защиту научно-философского идеализма,—«Вопросы Философии и Психологии», 1907, кн. 86.
Обе статьи вошли в его книгу: «Социальные науки и право». Изд. Сабашниковых. М. 1916 г.—см. стр. 120—188, 189—254.
69. Койген, Д. Социальная философия с точки зрения Платоно-Кантовского идеализма. (P. Natorp, Socialpädagogik),—«Вопросы Философии и Психологии», 1904, I, стр. 71—128.
70. Койген, Д. Мировоззрение социализма. В сб. «Задачи социалистической культуры», СПБ. 1907 г., стр. 3—146.
То же, отд. изд. СПБ. 1906.
71. Корсак, Н. Общество правовое и общество трудовое. В сборнике: «Очерки реалистического мировоззрения». Изд. С. Дороватовского и А. Чарушникова. СПБ. 1904, стр. 561—584 (по поводу «Хозяйства и права» Штаммлера).
72. Кунов, Г. Социально-философские заблуждения,—«Научн. Обозрение», 1899, № 4.
То же, отд. изд. Киев 1906.
То же, Житомир. 1906, стр. 24 (по поводу «Хозяйства и права» Штаммлера).
73. Кунов, Г. Кантова философия истории и общества. См. «История философии в марксистском освещении». Составл. Б. Столпнером и П. Юшкевичем, ч. II. Изд. «Мир». М. 1924 г., стр. 64—83 (отрывок этот взят из его: «Die Marxsche Geschihts-, Gesellschafts- und Staatstheorie», 1920).
74. Лежнев, М. Н. Маркс или Кант. Николаев 1900, стр. 88—см. рец. П. Берлина: «Жизнь», 1901, II.
75. Ленгник, Ф. Письма В. И. Ленина по вопросам философии, писанные мне в 1898—1899 г.г.,—«Ленинский Сборник» № 1. 1924 г. Изд. 2,—см. стр. 194—195.
76. Ленин, Н. Письмо к А. М. Горькому от 25 февр. 1908 г.,—«Ленинский Сборник», 1924, № 1; изд. 2—см. стр. 92.
То же в журн. «Печать и Революция», 1924, III.
То же, отд. изд. Гиз. 1924.
То же, перепеч. в книге: «Теория и практика диалектического материализма в избранных отрывках из произведений В. И. Ленина». Сост. Гр. Баммелем. Изд. Ком. Академии. М. 1924 г.
77. Ленин, Н. Марксизм и ревизионизм. Собр. соч., т. XI, ч. I, Гиз. 1923, см. стр. 55.
То же, в сб. «Памяти К. Маркса». Изд. «Красная Новь». М. 1923 и ряд друг. изд. (1 изд. в 1908 г. М. «Звено», май).
78. Ленин, Н. Материализм и эмпириокритицизм. Заметки об одной реакционной философии. Собр. соч., т. X. Гиз. 1923 (сентябрь

08 г.) — см. стр. 13, 18, 62, 79, 86, 87, 91, 93, 95, 101—102, 109, 135, 135—136, 145, 150, 158, 162—169), гл. IV, § 1: «Критика кантианства слева и справа» (170, 183, 186, 195, 199, 201, 302, 304—306). «С какой стороны подходил Н. Г. Чернышевский к критике кантианства».

То же, Гиз. 1920.

То же, Гиз. 1924. С пред. А. Деборина—и 2 изд. 1925. Перечисленные стр. перепеч. также в книге: «Теория и практика диалектического материализма», изд. Ком. Академии. М. 1924.

79. Лозинский, Е. Современные этические искания,—«Образование», 1904, VIII, стр. 80—103; IX, стр. 31—46.

80. Лозинский, Е. Современные философские искания,—«Мир Божий», 1904, XI, XII. (О «Проблемах идеализма»).

81. Лозинский, Е. Неокантианское течение в марксизме,—«Жизнь», 1900, XII, стр. 132—154.

82. Лукач, Г. Материализация и пролетарское сознание,—«Вестник Социал. Академии», 1923, V, VI, Гиз. (об этих ст. см. Л. Рудаш: «Против новейшей ревизии марксизма». 1925).

83. Луначарский, А. Идеалист и позитивист, как психологические типы,—«Правда», 1904, I, стр. 118—139.

То же, в его «Этюдах критических и полемических». Изд. «Правда». 1905.

84. Луппол, И. Кант или Маркс,—«Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». Под ред. Д. Рязанова, кн. первая, М., Гиз., 1924 г., стр. 462—469 (по поводу след. книг: K. Forleander'a: 1) Kant und Marx. Г. 1911; 2) Kant, Fichte, Hegel und der sozialismus. B. 1920; 3) Marx, Engels und Lassalle als Philosophen. 1921).

85. Маркс, К. Философский манифест исторической школы права (напеч. в «Reinische Zeitung» 9 августа 1842 г.) — см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. I. Изд. Института Маркса и Энгельса. Под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1923, см. стр. 178, 180.

То же, в. I. «литературного наследства» Маркса и Энгельса. Изд. «Мир». 1907. М. и в изд. «Освобождение Труда». Одесса 1908.

86. К. Маркс и Ф. Энгельс. Святой Макс (Критика учения Штирнера). Пер. с нем. Под ред. и вступ. ст. Б. Гиммельфарба. М. Гиз. 1920—см. стр. 158—161.

То же, изд. «Степи», СПБ. 1913.

87. Мартов, Л. Маркс с Кантом, Кант с Гинденбургом,—«Летопись», 1916, III, стр. 164—170.

То же, изд. «Социалист». П. 1917.

88. Мартов, Л. Простота хуже воровства. Изд. «Социалист». П. 1917, стр. 31. Обе ст. перепеч. во 2 изд. сборника «Марксизм и этика». Гиу. Киев 1925 г.

89. Мартынов, А. Главнейшие моменты в истории русского марксизма—см. «Общественное движение в России в начале XX века». Под ред. Л. Мартова, П. Маслова и А. Потресова, т. II, ч. 2. СПБ 1910 г.—см. стр. 319—329.

90. Меринг, Ф. Заметки по эстетике—см. сб. «Искусство и литература в марксистском освещении». Б. Столпнер и П. Юшкевич, ч. I. Изд. «Мир». М. 1924—см. стр. 437—457.

91. Меринг, Ф. История Германии с конца средних веков. Пер. с пред. И. Степанова. 3 изд. «Красная Новь». М. 1924. См. «Кант». стр. 95—99.

92. Меринг, Ф. Идеализм Гете и Шиллера. См. сборник статей «Мировая литература и пролетариат». Пер. с нем. Е. Гуревич под ред. А. С. Мартынова, с пер. Э. Цобеля. М. Гиз. 1924, стр. 125—13[illegible]

93. Меринг, Ф. Кант,—«Правда», 1904, VI.

94. Меринг, Ф. Кант, Дицген и Мах,—«Спутник Коммуниста», 1923, № 19.

Последние две ст. перепеч. в сборнике его статей «На философско-литературные темы», под ред. С. Я. Вольфсона. Изд. «Белтрестпечать», Минск 1923, стр. 38—50, 12—37. (В назв. сборнике вторая ст. в новом и более полном переводе, напеч. под названием: «Кант и Маркс»).

95. Наторп, П. Социальная педагогика. Пер. с нем. А. Громбаха. Изд. О. Богдановой. М. 1911, стр. 137—187.

96. Нежданов, П. Нравственность. Нравственность перед судом экономического материализма. М. 1898, стр. 337.

97. Нежданов, П. Что такое экономический материализм. «Образование». П. 1904, стр. 80—101.

98. Новгородцев, П. Русский последователь Г. Когена,—«Вопросы философии и психологии». 1909. IV (99), стр. 636—661. (По поводу книги В. Савальского: «Основы философии права в научном идеализме». М. 1908 г.

99. Оленов, М. Так называемый «кризис марксизма». Изд. «Дело». СПБ. 1906—см. этюд 1: «Кантианство в политической экономии», стр. 1—27. Этюд 2: «Эволюционная теория капитализма», стр. 28—43. Этюд 7: «Идеализм в общественной науке» стр. 160—167 (о Штаммлере).

100. Плеханов, Г. В. Бернштейн и материализм. Соч. т. XI, стр. 9—22.

То же, в сб. его ст. «Критика наших критиков». СПБ. 1906 г.

То же, впервые в «Neue-Zeit» 1898. № 44 (по поводу ст. Бернштейна: «Das realistische und ideologiche Moment im Sozialismus»).

То же, в виде приложения к его «Очеркам по истории материализма», под ред. Д. Рязанова, изд. 4, Гиз. 1923.

101. Плеханов, Г. В. Конрад Шмидт против К. Маркса и Ф. Энгельса. Соч., т. XI, Гиз. 1923, стр. 95—113.

То же, в сб. его ст. «Критика наших критиков», СПБ. 1906.

То же, впервые в «Neue Zeit» 1898, XVII Iahrg., 1 Bd.

То же, в виде приложения к его «Очеркам по истории материализма», под ред. Д. Рязанова, изд. 4, Гиз. 1923 г.

102. Плеханов, Г. В. Материализм или кантианизм. Соч., XI, стр. 114—132.

То же, в сб. его ст. «Критика наших критиков». СПБ. 1906.

То же, впервые в «Neue Zeit» 1899, XVII Iahrg., 1 Bd (полемика с К. Шмидтом).

103. Плеханов, Г. В. Еще раз материализм. Соч., т. XI, стр. 133—138.

То же, в сб. его статей: «Критика наших критиков». СПБ. 1906.

То же, впервые в «Neue Zeit» 1899 (написана в ответ на ст. К. Шмидта: «Was ist Materialismus»).

104. Плеханов, Г. В. Cant против Канта или Духовное завещание г. Бернштейна. Соч., т. XI, Гиз. 1923, стр. 36—65.

То же, в сб. его статей: «Критика наших критиков». СПБ. 1906.

То же, в «Заре» 1901, № 2—3 (по поводу кн. Э. Бернштейна: «Исторический материализм», СПБ. 1901).

105. Плеханов, Г. В. Примечания к рус. пер. «Л. Фейербаха» Ф. Энгельса. Соч., т. VIII, стр. 384—403.

То же, в отд. изд. «Л. Фейербах» Ф. Энгельса (1905 г.).

106. Плеханов, Г. В. Основные вопросы марксизма. Соч., т. XVIII, изд. 1925, стр. 243—247.
То же, изд. Гиз. 1924.
То же, изд. «Московский Рабочий». М. 1922.
То же, изд. «Библиотека Гражданина». СПБ. 1917 г.
То же, изд. «Наша Жизнь». СПБ. 1908 г.
107. Плеханов, Г. В. О войне,—«Современный Мир», 1915, I—см. стр. 192—196.
108. Плеханов, Г. В. Еще о войне,—«Современный Мир», 1915, VIII—см. стр. 217—252. Последние два отрывка вошли во 2 ... сборника: «Марксизм и этика», под редакцией Я. Розанова. Гиз. 1925. Названные статьи перепечатаны также в сборнике его ст. «О войне». Изд. «Попова». П. 1915.
То же, 3-е изд. «Огни». 1916.
Об этих выступлениях Плеханова см. две ст. Л. Мартова: «Кант с Гинденбургом, Маркс с Кантом» и «Простота хуже воровства».
109. Преображенский, Е. Предисловие к «Общедоступной истории философии» К. Форлендера. Изд. «Московский Рабочий». М. 1922, стр. 3—12. См. рец. Гр. Баммеля «Под Знаменем Марксизма». 1922, № 11—12, стр. 245—252 и Материалиста в «Под Знаменем Марксизма», 1922, № 7—8 и 9—10 и ответ Преображенского там же (№ 9—10).
110. Разумовский, И. Курс исторического материализма. Гиз. 1924 г.—см. стр. 70—71 (О диалектике у Канта).
111. Рожицын, В. Неокантианство и марксизм,—«Грядущий Мир», 1922, № 1.
112. Рожков, Н. Социальный материализм,—«Образование», 1899 г. XI, стр. 22—43.
113. Рудаш, Л. К 200-летней годовщине со дня рождения Канта,—«Красная Новь», 1924, № 4, стр. 202—216.
114. Рудаш, Л. Ортодоксальный марксизм,—«Вестник Коммун. Академии», 1924, № 8,—см. гл. 2: «Энгельс и Кант, или практика и промышленность в «диалектическо-философском смысле», стр. 296—304 (против Лукача). Названные ст. Рудаша вошли в сб. его статей: «Против новейшей ревизии марксизма». Изд. «Коммун. Академии». М. 1923.
115. Рязанов, Д. Маркс и Энгельс. М. Изд. «Московский Рабочий». 1923—см. стр. 60—62.
116. Савальский, В. А. Основы философии права в научном идеализме. Марбургская школа философии: Коген, Наторп, Штаммлер и др., т. I. М. 1908 г., стр. 360.
117. Саккетти, А. Л. Рец. на «Основы философии права в научном идеализме» В. Савальского,—«Журн. М-ва Нар. Просв.», 1909, ..., стр. 178—185.
118. Серебряков, М. В. Предисловие к книжке: «М. Адлер. Маркс как мыслитель». Пер. со 2 нем изд. В. Н. Розанова. Изд. «Книга». Л.-М. 1924, стр. 3—14.
119. Серебряков, М. В. Предисловие к книжке: «М. Адлер. Энгельс как мыслитель». Л.-М. Изд. «Книга», 1924, стр. 3—14.
120. Сережников, В. К. Учение Канта о праве и государстве,—«Советское Право», 1924, № 3—9, стр. 40—50.
121. Сережников, В. Учение Канта о времени и пространстве перед судом физиологии,—«Под Знаменем Марксизма», 1924, № 4—5, стр. 50—59.
122. Слонимский, Л. Споры о сущности марксизма,—«Вестник Европы», 1909, № 8, стр. 731—745.

123. Софронов, Ф. Механика общественных идеалов,—«Вопросы Философии и Психологии», 1901, 60 (V)—см. стр. 439—473 (против Штаммлера, Бердяева, Струве, Вольтмана).

124. Спекторский, Е. Из области чистой этики,—«Вопросы Философии и Психологии», 1905, III (78), стр. 384—411 (О. Г. Когене).

125. Струве, П. Свобода и историческая необходимость,—«Вопросы Философии и Психологии», 1897, № 1, стр. 120—139.

То же, в сборнике его статей: «На разные темы». СПБ. 1902 (по поводу книги Штаммлера: «Хозяйство и право» и ст. С. Булгакова: «О закономерности социальных явлений»).

Критику этих ст. Струве см. у 1) П. Скворцова «Самарский Вестник», 1897, №№ 59 и 60; 2) Л. Аксельрод: «О некоторых философских упражнениях некоторых критиков».

126. Струве, П. Еще о свободе и необходимости,—«Новое Слово». 1897, VIII (май) (по поводу ст. С. Булгакова: «Закон причинности и свобода человеческих действий»).

127. Струве, П. Предисловие к книге Н. Бердяева: «Суб'ективизм и индивидуализм в общественной философии», СПБ. 1901, стр. 1—34.

128. Тальгеймейр, А. Двухсотлетие со дня рождения Канта в Германии,—«Под Знаменем Марксизма», 1924, № 4—5.

129. Танхилевич, О. Учение Канта о категориях,—«Труды Института Красной Профессуры», т. I, Гиз. 1923, стр. 59—84.

130. Трубецкой, Е. Панметодизм в этике (К характеристике учения Когена),—«Вопросы Философии и Психологии», 1909, II (97), стр. 121—164.

131. Туган-Барановский, М. И. Предисловие к книге: «Кант и Маркс», К. Форлендера, пер. с нем. Б. Элькина, СПБ. 1909 г., стр. 3—8.

То же, перепечатано в сборнике его статей: «К лучшему будущему», СПБ. изд. «Энергия», 1912 (под названием «Кант и Маркс», стр. 53—57).

132. Филиппов, М. Философия действительности, СПБ. 1898, т. II,—см. стр. 1110—1138 (О Штаммлере и др. неокантианцах).

133. Филиппов, М. Необходимость и свобода. Критика третьей антиномии Канта,—«Научн. Обозрение», 1899, № 4, стр. 800—816.

134. Филиппов, М. Книга Бердяева и предисловие к ней. П. Струве,—«Научное Обозрение», 1901, № 1 (По поводу книги Бердяева: «Суб'ективизм и индивидуализм в общественной философии»).

135. Фогараши, А. Эмиль Ласк и разложение неокантианского идеализма,—«Вестник Коммун. Академии». 1924 г., № 8, стр. 305—331.

136. Форлендер, К. Кантианизм и его отражение в новейшей социально-экономической литературе,—«Народное Хозяйство», 1901, IV, стр. 27—73.

То же, вошло в его книгу: «Кант и Маркс», СПБ. 1909.

137. Форлендер, К. Кант и социализм. Изд. «Пульс Жизни». М. 1906, стр. 80.

То же, вошла в его книгу: «Кант и Маркс», СПБ. 1909 г.

138. Форлендер, К. Неокантианское движение в социализме. Изд. «Пульс Жизни», М. 1907 г.

То же, вошла в его книгу: «Кант и Маркс», СПБ. 1902.

Об этих двух брошюрах Форлендера см. рец. Вышеславцева «Критическое Обозрение», 1908, IV (IX).

139. Форлендер, К. Современный социализм и философская этика. М. Изд. «Пульс Жизни», 1907 г.

140. Форлендер, К. Кант и Маркс. Очерки этического социализма. Пер. Б. И. Элькина, с предис. М. И. Туган-Барановского, СПБ. 1909 г., стр. 226. Содержание: Маркс и Кант (1904), стр. 1—40. Кант и социализм (1900 г.), стр. 41—116. Неокантианство в социализме (1900), стр. 119—192. Философско-этическая позиция современного социализма, стр. 195—223. См. рец. А. Деборина «Современный Мир», 1909 г., № 9.

141. Форлендер, К. Общедоступная история философии, пер. с нем. П. Виноградской, с пред. Е. Преображенского. Изд. «Московский Рабочий», 1922 г., стр. 310. См. рец. Гр. Баммеля «Под Знаменем Марксизма», 1922, № 11—12, стр. 245—252 и его же в «Печ. и Рев.» 1923, II, стр. 176—178. Материалиста «Под Знаменем Марксизма» 1922, № 7—8 и возражение Е. Преображенского «Под Знаменем Марксизма», 1922, № 9—10, стр. 219—220 и ответ там же Материалиста, стр. 221—224.

142. Форлендер, К. Кант и французская революция. Пер. М. Баргинского—«Северные Записки», 1913, III, стр. 120—138.

143. Франк, С. О критическом идеализме,—«Мир Божий», 1904, XII, стр. 224—264.

144. Франк, С. Социализм и кантианство (по поводу книг: К. Форлендера: Кант и Маркс и Marx oder Kant-Schulze Gävèrniz'a),—«Критическое Обозрение», 1909 г., стр. 80—86.

145. Чернов, В. Философские и социологические этюды, М. 1907 г. Изд. «Сотрудничество»,—см. сл. статьи:

1) «Марксизм и трансцендентальная философия», стр. 29—72.

2) «Экономический материализм под защитой критической философии» (по поводу ст. П. Струве: «Свобода и историческая необходимость», стр. 72—102. Впервые напеч. в «Вопросах Философии и Психологии», 1897, IV. Возражение см. в ст. Гвоздева: «К вопросу о телеологичности исторического прогресса» в «Научн. Обозрении», 1898, VIII.

3) От марксизма к пантеизму (по поводу книги Н. Бердяева: «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии», стр. 102—151).

146. Штаммлер, Р. Хозяйство и право с точки зрения материалистического понимания истории, пер. с 2 нем. изд. под ред. и вступительной статьей И. Давыдова. Изд. «Начало», СПБ. 1907, т. I, 404 стр., т. II, LXXII+344 стр.

То же, изд. Н. Бердяева и М. Семенова. Только т. I, 1899 г.

То же, в виде приложения к «Северному Вестнику» за 1898 г., т. I, 310 стр.

147. Штаудингер, Ф. Социализм и философия Канта, пер. с нем. изд. «Свободная Мысль», М. 1906 г., стр. 32.

148. Штаудингер, Ф. Этика и политика. В сб. «Задачи социалистической культуры», СПБ. 1907 г., стр. 147—184.

То же, отд. изд. СПБ. 1907 г.

149. Штейнберг, С. О социальной закономерности,—«Мир Божий», 1900, XII (по поводу «Хозяйства и права», Штаммлера).

150. Штейнберг, С. Философия Канта и исторический материализм, — «Образование», 1901, II (по поводу книги Л. Вольтмана «Исторический материализм» и Н. Бердяева: «Суб'ективизм и индивидуализм в общественной философии»).

151. Шульце-Геверниц, Г. Маркс или Кант, пер. с нем. изд. Жуковского. СПБ. 1909 г.

152. Энгельс, Ф. Германия и Швейцария. Маркс и Энгельс. Сочинения, под ред. Д. Рязанова, т. II, изд. Института Маркса и Энгельса, Гиз. 1923, М.—П.—см. стр. 298 (1843 г.).

153. Энгельс, Ф. Анти-Дюринг (Переворот в науке, произведенный г. Евгением Дюрингом), пер. с нем., 3 изд. испр. М. Е. Ландау. М. Изд. «Московский Рабочий», 1923, стр. 59—60, 68—69 и ряд др. изд.

154. Энгельс, Л. Людвиг Фейербах, пер. и пред. Г. В. Плеханова. Изд. «Красная Новь», 1923 г.—см. стр. 33, 43—44, 46 и ряд других изданий [1]).

155. Энгельс, Ф. Письмо Конраду Шмидту от 12 марта 1895 г.—см. Маркс и Энгельс. Письма. Пер. под ред. В. Адоратского. М. 1922 г., стр. 318—319.

156. Яковенко, Б. Теоретическая философия Г. Когена,—«Логос», кн. 1. 1910 г.

II.

Важнейшая литература по вопросу о марксизме и кантианстве.

1) Об отношении Маркса и Энгельса к Канту: №№ 85—86, 151—154.

2) О первых призывах «назад к Канту», брошенных Э. Бернштейном (одновременно с предложением отказаться от идей диктатуры пролетариата); №№ 27—29.

3) Как известно, Бернштейну отвечал Каутский, но чрезвычайно слабо (см. № 64); это об'ясняется, между прочим, тем, что, как ныне это выяснилось, сам Каутский особой беды не видел от соединения Маркса с Кантом. Об этом см. «Письмо к Плеханову от мая 1898» (№ 63).

4) Бернштейновско-Шмидтовский призыв «назад к Канту» был подхвачен и в той или иной степени поддержан Л. Вольтманом (см. №№ 39—40), С. Гунтером (№ 43), Ф. Штаудингером (№№ 146—147), К. Форлендером—ныне официальным философом германской соц.-демократии (см. №№ 135—141), О. Бауэром (17), М. Адлером (№№ 1—2), Д. Койгеном (№№ 69—70).

5) Попытку дополнить историко-материалистическую философию Маркса дуалистической гносеологией Канта сделал еще в 1896 г. проф. Р. Штаммлер (№ 145). Эта попытка подверглась в русской литературе очень горячему обсуждению. В кругах сомнительных марксистов имена Штаммлера и Бернштейна приобретают авторитет новых Колумбов в области философии и политики. В той или иной степени под неокантианское знамя становятся: Н. Бердяев (№№ 19—23), С. Булгаков (№№ 34—36), Б. Кистяковский (№№ 67—68), И. Давыдов (№№ 44—48), П. Нежданов (№№ 96—97), П. Струве (№№ 125—127), С. Франк (№№ 143—144), М. Туган-Барановский (№ 131), С. Штейберг (№№ 149—150) и др.

6) Начатая на монистический диалектический материализм атака встретила сокрушительный отпор прежде всего со стороны Плеханова, который в ряде ст. в «Neue-Zeit» показал, что в откровениях неокантианцев слышится старая, давно преодоленная Марксом и Энгельсом, идеалистическая метафизика и за разогревание этой старой философской похлебки Бернштейну никакой благодарности воздавать не следует, как то предлагает Каутский (см. ст. Плеханова: «За что нам его благодарить».—Соч., т. XI) (см. №№ 100—106).

---

[1]) Перечень всех изд. «Анти-Дюринга» Л. «Фейербаха» см. у Шнеерсона «опыт библиографии произведений Маркса и Энгельса в русских переводах» М. изд. «Красная Новь». 1924.

7) Эта блестящая контр-атака Плеханова была поддержана Л. Аксельрод (на стр. «Научного Обозрения» и заграничной «Зари»), которая в ряде статей (№№ 3—7, 8—10) показала все научное убожество и реакционную сущность кантианских наскоков Бердяева, Струве и др. на материалистическую гносеологию и классовую этику марксизма.

8) В западно-европейской литературе на-ряду с Плехановым контратаку против неокантианства весьма успешно вели Ф. Меринг (см. №№ 90—94) и П. Лафарг (к сожалению, блестящая ст. Лафарга: «Le materialisme de Marx ét l' idéalisme de Kant» [1]) на рус. яз. не переведена; о ней см. у Ленина: «Материализм и эмпириокритицизм», собр. соч., т. X, стр. 167—168) и А. Иоффе (№ 58).

9) Заслуживает внимания недостаточная марксистская последовательность, с какой Каутский боролся против реакционной этики Канта (об этом см. № 65 и критику у Л. Аксельрод № 9).

10) Чрезвычайно ценный критический материал по адресу неокантианцев содержится в работах А. Деборина (см. №№ 49—52) и особенно ст. «Последнее слово ревизионизма» (№ 53), где показан тот реакционный тупик, в который попал стосковавшийся по религиозному опиуму «марксист»-кантианец М. Адлер. Об Адлере см. также предисловия М. Серебрякова (№№ 118—119).

11) О некоторых кантианских уклонах у Плеханова и Л. Аксельрод в годы империалистической войны (см. №№ 107—108), 12 и отчасти Л. Мартова (№№ 87—88).

12) О кантианских источниках махизма, а также ряд друг. ценных замечаний о кантианстве см. у Ленина (№№ 75—78).

13) Из новейшей литературы о неокантианстве см. ст. Гр. Баммеля (№№ 15—17), И. Луппола (№ 84).

14) В связи с исполнившимся в прошлом году (1924 г.) 200-летним юбилеем со дня рождения Канта появился ряд интересных журнальных статей: П. Виноградской (№ 37), Н. Карева (№ 61), Л. Рудаса (№ 113), В. Сережникова (№№ 120—121) и А. Тальгеймера (№ 128).

Я. Розанов.

Н. Ленин. О диалектическом методе. С предисловием и обзором литературы К. Грасиса. Гос. Изд. Украины. Харьков 192... Стр. 140.

На титульном листе рецензируемого сборника не обозначена фамилия составителя или редактора, но поскольку предисловие подписано К. Грасисом, следует думать, что вся ответственность за подбор материала лежит на нем [2]). Составитель сборника поставил себе задачу выбрать из сочинений Ленина те страницы, где он говорит о диалектическом методе, а также те отрывки, в которых особенно выпукло представлено пользование Ленина диалектическим методом. Задача сама по себе хорошая и целесообразная, и те семьдесят страниц из ста сорока...

[1]) «Le Socialiste» от 25 февраля 1900 г.

[2]) Когда рецензия была уже набрана, мы прочли письмо К. Грасиса в редакцию харьковской газеты «Коммунист». В письме К. Грасис соглашается, что сборник— «плод небрежности и к сожалению не только в техническом отношении». Однако, все пункты, на которых мы останавливаемся в нашей рецензии, никак не отражены в „Письме в редакцию". Из последнего следует только, что после просмотра К. Грасисом сборника, из него были выброшены некоторые отрывки из Ленина.

Таким образом, соединение в одной книге Ленина с белогвардейцем мистиком И. А. Ильиным принадлежит К. Грасису.

которые заключают в себе выдержки из произведений Ленина, являются бесспорно ценным материалом.

В последнее время уже было издано несколько хрестоматий, составленных из произведений Ленина, по различным темам, в том числе хрестоматии с особым уклоном в сторону философских взглядов Ленина. Но потребность в такого рода сборниках, видимо, настолько велика, что сделала возможным издание специального сборника «Ленин о диалектическом методе». Подбор отрывков К. Грасиса хорош тем, что он дает не «мысли» или «афоризмы» Ленина, а более или менее длинные отрывки из его сочинений. Но сейчас же нужно оговорить, что это—единственное достоинство нового применения ножниц и клея к Ленину. Во-первых, вероятно, по об'ективным причинам, в сборник не вошли недавно опубликованные заметки Ленина о диалектике, напечатанные в «Под Знам. Маркс.». Без них прежде известные суждения Ленина о диалектике не полны. С ними (имею в виду «К вопросу о диалектике» Ленина) столь же поспешное, сколь и глубокомысленное суждение Грасиса: «систематически нигде Ленин не дал изложения своего понимания диалектического метода» (стр. 136)—неверно. Во-вторых, использованы далеко не все страницы Ленина, посвященные диалектике. Достаточно указать, напр., его известное блестящее место из «Еще раз о профсоюзах», где он не только формулирует теоретические положения диалектики, но и блестяще применяет их при решении важнейшей в то время (дискуссия о роли профсоюзов) политической задачи. Далее, не использованы те фрагменты, в которых подчеркивается единство теории и практики и некоторые другие.

Как сказано, из ста сорока страниц сборника—«ленинских» только половина. При таком соотношении материала приходится думать, что гвоздь книги не в Ленине. К сожалению, именно так и обстоит дело. К. Грасис имел похвальное намерение кроме фрагментов дать самое что ни на есть «об'ективное» изображение гегелевской диалектики. Связать Гегеля (диалектика) с Лениным, хотя бы поставить самую проблему о соотношении диалектики Гегеля и диалектики Маркса—Энгельса—задача трудная и в то же время ценная, а в сборнике, подобном рецензируемому, во всяком случае, уместная.

Но... писать самому—мы уже сказали—задача трудная и кропотливая. Взять у другого,—встает вопрос: что и у кого? К. Грасис пишет, что он предполагал «дать отрывки из «Энциклопедии» Гегеля» (стр. 83), но,—оказывается,—они без пространных комментариев были (бы? *И. Л.*) совершенно непонятны. Зная Гегеля, можно было бы и следовало бы дать соответствующим образом расположенные отрывки из Маркса, Энгельса, Плеханова и других авторитетнейших марксистов, и излагавших Гегеля, и уже материалистически переработавших его диалектику. К. Грасис не делает этого.

Что же он делает?—спросит читатель. К. Грасис берет двухтомный «труд» «тоже-гегельянца», мистика и махрового черносотенца, небезызвестного И. А. Ильина, и ножницами вырезает главу VI первого тома его работы: «Философия Гегеля, как учение о конкретности бога и человека»; первый том называется «Учение о боге», глава VI называется «Диалектика». Кончено! Самое о б'е к т и в н о е изложение диалектики Гегеля найдено! Больше того. К. Грасис пишет: «Ничего, подобного ему (изложению проф. Ильина) по ясности и верности изложения предмета, мы не нашли в нашей философской литературе» (стр. 83).

Нам хотелось бы верить в философскую девственность К. Грасиса. На это есть и еще кой-какие указания в тех страницах сборника,

которые принадлежат его перу. Но, к сожалению, сам К. Грасис другого мнения на сей предмет. Но кто же,—я не говорю уже, из марксистов,—из настоящих «чистых» гегельянцев, т.-е. гегельянцев диалектиков, может сказать, что изложение диалектики Гегеля у И. А. Ильина объективно? Для такого вывода не нужно было слушать его лекций в бытность его приват-доцентом в Московском университете (кстати, К. Грасис называет И. Ильина профессором; в каком университете, в какой стране и в силу каких обстоятельств обретается сейчас И. Ильин профессором?), для этого достаточно быть знакомым с его книгой о философии Гегеля, как учении о конкретности бога и человека.

И. Ильин замечателен тем, что он не видит диалектики у Гегеля, не хочет ее видеть, что у него Гегель превращается в столь дурного метафизика, каким исторический Гегель никогда не был. Нужно прочитать его «Литературные добавления» к главе VI, где он мельком высказывает свои реакционно-философские суждения о гегельянской литературе, где он солидаризируется с Эд. Гартманом об «абсурдности диалектического метода», о том, что диалектика есть бесплодная, монотонная болтовня «unfruchtbares, eintöniges Genlapfèr), и станет заранее ясна вся объективность изложения Гегеля.

В самой гл. VI, перепечатанной К. Грасисом, И. Ильин пишет: «Необходимо установить, что «диалектика» не есть ни главное содержание, ни высшее достоинство философии Гегеля». Еще бы, с точки зрения автора, ее высшее достоинство, это—сращенность бога и человека! И это преподносится двадцати тысячам малоподготовленных читателей! Он в праве спросить, зачем же столько шуму из-за диалектики, зачем изучать ее, если у самого Гегеля она не была «главным содержанием»?

Маркс и Энгельс и Ленин думали иначе. Может быть, они не объективно судили о диалектике и вообще о философии Гегеля? Ведь говорит же Грасис, что «ничего, подобного по ясности и верности изложения предмета» у И. Ильина, он не нашел в нашей философской литературе.

Мы не собираемся здесь вступать в полемику с И. Ильиным. Для этого мы говорим слишком на разных языках. Но достаточно прочитать его рассуждения о том, что «по методу своего философствования Гегель должен быть признан не «диалектиком» (обязательно в кавычках! *И. Л.*), а интуитивистом или, точнее, **интуитивно мыслящим ясновидцем**, чтобы понять «об'ективности» его изложения. Может быть, и марксистов К. Грасис хочет сделать ясновидцами, одаренными нечувственной интуицией? Это теперь в моде у мистиков, в особенности из нашей белогвардейской эмиграции. Когда И. Ильин говорит, что противоречия Гегеля «не контрадикторны», то это, как и многое другое, обнаруживает лишь, что он не в силах мыслить диалектически, что он сочетает в себе смесь формально-логического мышления с «нечувственно-интуитивным ясновидением», которое и завело его в ряды контр-революции. На тему об отношении «гегельянца» Ильина к диалектике Гегеля можно было бы еще многое сказать, но мы не пускаемся здесь в академические рассуждения. И. Ильина в условиях сороковых-пятидесятых годов XIX века отнесли бы к крайней правой гегельянцев или даже к теистам тех времен. Марксисты же, исходя из диалектики Гегеля, пойдут по пути другого Ильина—В. И. Ильина—Ленина.

Ленин при жизни не сотрудничал в журналах и сборниках вместе с буржуазными учеными или публицистами. Что делает после его смерти некий К. Грасис? Он Ленина припечатывает в одной книжке с мистиком и черносотенцем И. Ильиным, и все это покрывает звучной вы

веской: «Н. Ленин о диалектическом методе». Отдал ли себе отчет К. Грасис о том, что он сделал? Не дискредитирование ли это марксизма-ленинизма? Не игра ли это,—пусть бессознательная,—из-за рубежа? И не пора ли покончить у нас с безответственным употреблением ножниц в отношении литературного наследия Ленина?

Указанным «приложением» не заканчивается сборник К. Грасиса. Далее следует «Словарь имен», составленный по Собр. соч. Ленина, по общественно-политическому словарю Битнера (!) и «другим источникам». Мы не проверяли отдельные примечания, но в тех из них, которые посвящены классикам-философам, диву даешься, из каких «других источников» черпал их К. Грасис. Время и пространство у Канта, видите ли, не априорные формы наглядных представлений, а «категории»; включая время и пространство в категории рассудка, К. Грасис все-таки получает в итоге число двенадцать, а не четырнадцать и т. д.

Но этим не исчерпывается содержание сборника. В конце приложен «Обзор литературы», написанный К. Грасисом и уже однажды напечатанный им в украинском журнале «Більшовик». Это—собрание коротеньких рецензий книг, брошюр и статей о Ленине, как теоретике и философе. При перепечатке рецензий К. Грасис пересмотрел их и некоторые «сдобрил» сильными и, попросту говоря, бранными выражениями.

Рецензии эти, мягко выражаясь, настолько суб'ективны, произвольны и необоснованы, что трудно представить, как их книжная бумага терпит, не говоря уже о том, как ими можно будет пользоваться.

Если только автор серьезно подходил к теме, если он не ограничивался избитыми фразами и затасканными словами, то ему адресуются, примерно, такие выражения: «ученые речи», «автор хочет быть в брошюре сугубо академичным», «изложение захлестнуто ливнем абстракции» и т. д. (рец. на Г. Баммеля, В. Невского, А. Деборина).

Приведем как пример головной работы автора несколько фраз из рецензии на книжку А. Деборина «Ленин как мыслитель». Деборин пишет: «М а р к с и поднял общественные науки на недосягаемую высоту, на высоту точной науки». К. Грасис сопровождает это, казалось бы, бесспорное положение возгласами: «Что это: или самообман? или просто болтовня?» И в подтверждение своего приговора приводит слова М. Н. Покровского: «Пишущему эти строки не однажды приходилось указывать на коренную разницу между общественными, так называемыми науками, где, е с л и и с к л ю ч и т ь м е т о д и с т о р и ч е с к о г о м а т е р и а л и з м а, ничего научного в точном смысле этого слова пока нет, и естествознанием». К. Грасис торжествует. Но так ли это? Подчеркнутые нами слова в цитатах Деборина и Покровского не свидетельствуют ли о единстве мысли? И не в праве ли мы спросить теперь К. Грасиса, и именно его, и о его же словах: что это—самообман или просто болтовня?

О статье пишущего эти строки «Ленин в борьбе за диалектический материализм» К. Грасис милостиво изрекает, что «взгляды Ленина конспектированы удовлетворительно». И на том спасибо! Но я, видите ли, допускаю «кричащие вольности» «в обращении с философскими терминами». Действительно, я в «Обществ.-полит. словарь» Битнера не заглядывал. Угодно пример? Я в статье (была помещена в «Молодой Гвардии» № 2—3 за 1924 г.), говоря в тексте о категориях и раз'ясняя там философский смысл по существу, в подстрочном примечании позволил себе для неподготовленного читателя перевести греческое слово «категория» к а к с к а з у е м о е, как «то, что высказывается о чем-либо». Пусть К. Грасис переведет его иначе! Это было бы обогащением философии. Словом, за свой перевод я получил от К. Грасиса урок: «не-

вероятно, что человек, осмеливающийся выступать публично по вопросам философии, не знает, что такое «категория». Действительно, пришлось!

Но в самом деле, прочитав сборник К. Грасиса, невольно скажешь себе и другим: невероятно, как можно составлять такие сборники, невероятно, но,—как говорится,—факт!

И. Лупол.

Проф. И. Боричевский. Древняя и современная философия науки в ее предельных понятиях. Часть первая. Первоисточники древней философии науки. (Научные письма Эпикура). Государственное Издательство. Москва 1925. Стр. 123.

Это—только «предварительное исследование», как говорит автор; «исследование» последует во второй части работы. Высказываться к существу темы возможно поэтому только после выхода в свет всей работы в целом.

Однако рецензируемая «первая» часть представляет самостоятельное целое и в своих вполне определенных рамках требует оценки.

Книга состоит из двух неравноценных частей—переводов эпикуровых текста и «комментарий» автора. Автор перевел с подлинника письма Эпикура к Геродоту, Тефоклу и Менойкею и «главные изречения» Эпикура. Это огромный труд и заслуживает самого серьезного внимания со стороны всех, кто изучает историю древнего материализма. Филологическая тщательность перевода вне всякого сомнения.

К сожалению, эта «профессиональная» щепетильность настолько велика, что автор не замечает, в какие трудности ставит он читателя, который захотел бы самостоятельно ознакомиться с учением Эпикура в переводу проф. И. Боричевского. Автор свободно пользуется в переводе терминами, не только неудобопонятными, но и совсем не имеющими смысла. Приведем несколько примеров: «Мы нуждаемся в совокупном схватывании» (стр. 36); «проницателью пользоваться схватываниями» (стр. 37); «очевидность этих состояний не надо изгонять из бытия» (стр. 46); «бороться со всеми ощущениями» (стр. 60). Автор нередко пользуется словарем Тредьяковского и Карамзина: «удержать» вместо «усвоить», «явление» вместо «наблюдение», «предпонятие» вместо «предварительное общее понятие», «схватывать» вместо «понимать», «совокупное схватывание» вместо «понимание целого», «подразумеваемое» вместо «значение», «ощущение» вместо «чувственный опыт», «ждущее» (?) вместо «недоказанное» и т. д. и пр. Несомненно, эти возможности имел в виду сам автор в процессе перевода; все-таки путь, избранный им, можно об'яснить только жестоким филологическим упрямством, и в этих пунктах существующий перевод письма Эпикура к Геродоту[1] более доступен русскому читателю. Близость к подлиннику—огромное достоинство переводов, но отсюда не следует, что можно, не щадя читателя, насиловать русский язык, как это видно из приведенных нами примеров.

Если переводы проф. И. А. Боричевского всегда будут останавливать внимание всякого, изучающего историю материализма,—то его собственные рассуждения могут вызвать только недоумение. Что значит «философия науки»? И что такое «внутринаучность» этой «философии науки»? Это «спорное и многомысленное понятие» так и остается у автора не об'ясненным. А то, что «об'являют» его рассуждения, совсем не по

---

[1]) А. М. Деборин, Книга для чтения по истории философии, том I, М. 192[illegible]

зорит в пользу автора. Если это «сама же наука, взятая в ее целом», то автор должен был бы затронуть вопрос о самых общих основах научного исследования, которые разработаны в философии марксизма, в диалектическом материализме. Но даже термина: «диалектический материализм» автор ни разу не употребляет в книге. Наоборот, он его тщательно избегает, говоря всюду, о «естественно-научном материализме», в противоположность «профессорскому» (напр. ср. стр. 93). Вместо того, чтобы ориентировать свою точку зрения на основное разграничение материализма и идеализма, мысль автора теряется в бесплодных различениях второстепенных признаков и оттенков философских направлений.

Далее, надо сделать одно общее методологическое замечание. Автор злоупотребляет своей странной манерой отсылать читателя по всякому вопросу к «отзыву» какого-либо почтенного мужа, а самому увиливать от серьезно-исследовательской постановки вопроса. Допустим, автору надо доказать или изложить какое-либо теоретическое «положение» (напр., «истинное существо истории философии» или: «научная теория индуктивной логики у эпикурейцев», или: «самостоятельность и внутринаучность (?) эпикурейского мировоззрения» и т. д.). Для этого «наводится справка»: это значит привести соответствующий «отзыв» соответствующего писателя; раз приведено «мнение» («отзыв», «свидетельство»), то вопрос решен. И «оглавление» так и пестрит характерными подзаголовками: «отзыв Гомперца», «мнение Гюйо», «старинный отзыв Сенеки», «мнение Рамзея», «мнение Больцмана», еще раз «мнение Рамзея», еще раз «мнение Больцмана», опять «отзыв Гюйо», «мнение Гюйо», отзыв древнего «просветителя Лукиана». Этот странный «метод» научного исследования, очевидно, очень увлекает автора, так как нередко, забывая о своей прямой задаче, автор неожиданно распространяется на тему: «по поводу» критикуемого писателя. Не редки также случаи, когда автор начинает свои рассуждения прямо такой фразой: «наведем теперь несколько очередных справок». Должен, впрочем, оговориться, что я лишь характеризирую, но отнюдь не квалифицирую привычек нашего автора.

Гораздо хуже обстоит дело с общим теоретическим подходом автора к «первоисточникам»—«письмам» и «изречениям» Эпикура. Важнейшими источниками изучения Эпикура являются единственная 10 книга Диогена Лаэртского и поэма Лукреция. Автор ни разу не ставит вопроса ни о критике диогенова текста, ни об источниках самого Лукреция. Именно, общая оценка и анализ текста Диогена (его «Unterlage») могли бы убедить нас в необходимости поправок, которые вносит автор в текст узенеровского издания (ср. о тексте Узенера Epicurea, p. XXVIII, и Kl. Schrift. III, 165; Heidel'я, The Amer. Journ. of Philol. 1902, p. 189, 193, и Hochalsky'его: «Das X Buch»). Что касается Лукреция, то автор думает, что поэма «целиком» восходит к Эпикуру. Но где это доказано? Наоборот, Reinhardt, проанализировав Diocl. I, 2 свел значительную часть пятой книги поэмы Лукреция к первоисточнику—Демокриту. Совершенно аналогичное наблюдение было сделано E. Norden'ом в «Agnostbos Theos» (см. index). Этих наблюдений проф. И. А. Боричевский не опровергает, он обходит их молчанием и декретирует свое собственное положение.

Не выдерживает критики и следующее положение автора: «Эпикур является первым теоретиком современного опытного научного метода» (с. 14, 16). Это вовсе не доказано. Между тем до сих пор в литературе существует убеждение, что первым теоретиком опытного метода является

Демокрит. Об этом говорят не только свидетельства Аристотеля (de coelo 315 a 34, 318 в 6, 325 a 23; de part. anim. 642 a 24), но и название одного из сочинений Демокрита.

Это сочинение было положено демокритовцами (Навзифаном в первую очередь) в основу последующих работ по материалистической индуктивной логике (Philipson, «Mus.», 48 и 64, Philod. col. 18, 9—11 Gomperz), а Навзифан передал его Эпикуру (Diog. L. X, 14). Вот еще одна линия научного влияния демокритовской опытной логики — медицина: врачи-эмпирики практически применяли демокритовские «правила научного исследования (Usener, «Kl. Schr.» 1914, статья «древней филологии»,—цит. по памяти, см. ib. index), а эпикурейская школа в лице Филодема широко использовала эти указания врачей.

Но в этой же связи я пользуюсь счастливым случаем, чтобы отметить ряд тонких и совершенно правильных наблюдений о полемике Эпикура (в письме к Геродоту) против Демокрита (стр. 33—34). Я рад отметить это, ибо те же самые мысли я развивал в статье «История изучения Демокрита» два года тому назад («Под Знаменем Марксизма» 1923 г., № 8—9).

Текст Эпикура на русском языке—с вышеуказанными оговорками—ценное приобретение. Но «современная философия науки» не чета Эпикуру. Философические хвостики знакомого позитивизма должны быть уничтожены.

Гр. Баммель.

Лестер Джемсон и коллегия «Плебса». Очерк марксистской психологии. Перев. с 4 англ. изд., под ред. и с предисловием проф. М. Рейснера. Кн-во «Современные Проблемы». М. 1925. Стр. 226.

Этой книжке грозит опасность стать популярной. Мы действительно крайне нуждаемся в марксистском очерке психологии. Однако произведение Л. Джемсона и товарищей из «Плебса» является им скорее только по названию.

Марксистская психология предполагает в себе синтез: синтез материалистического понимания нашей психики, как производной от процессов нашего мозга, с одной стороны, и как производной от окружающей его общественной среды—с другой. Отсутствие любого из этих элементов делает неразрешимой всю задачу. Одинаково неверно думать, что марксистскую психологию можно построить либо чисто-научным, в сущности имеющим своей предпосылкой не диалектический материализм, а позитивизм, описанием «поведения» человека; либо путем самонаблюдения, либо путем чисто-физиологического исследования. Марксистская психология должна в одинаковой степени выяснить и социальную обусловленность содержания нашей душевной жизни и материальную обусловленность ее в процессах жизни нашего тела. Только диалектическое рассмотрение вопроса, сочетающее в себе оба эти элемента, может дать нам в этом отношении то, что нужно.

Книжка Джемсона представляет собой тоже синтез, но, к сожалению, не диалектический, а эклектический. И если, с одной стороны, в ней местами весьма удачно использованы некоторые достижения современной рефлексологии, то, с другой стороны, обязанности марксистского социологического анализа психики в ней выполняет фрейдизм. Понятно, что из дикого варева психологии поведения, марксизма, фрейдизма и рефлексологии ничего путного выйти не может. Впрочем, какие требования пред'являть к Англии, где марксизм еще только становится на ноги, когда у нас, в стране победившей пролетарской диктатуры, на

год ее существования, люди, считающиеся марксистами и коммунистами, держатся все того же...

Начнем с обще-философских воззрений книги., «Уж сколько раз твердили миру», что, не будучи материалистом и диалектиком, нельзя быть марксистом. На примере Л. Джемсона и его товарищей это подтверждается еще лишний раз. Их «не-марксистская» (так они себя именуют— стр. 189) точка зрения стара, как английская буржуазия.—Это агностицизм.

«Мы не знаем, что такое сознание и не будем тратить время на попытки определить его» (стр. 41). «Психоанализ пользуется теми же научными методами с помощью которых химик и физик изучают отношения между материальными явлениями. Он оперирует с явлениями (явлениями? Перевод!) сознания, не заботясь о последней сущности сознания» (стр. 43. Курсив автора. Он очевидно и не подозревает, как и редактор перевода, что существует на свете диалектическая точка зрения, устраняющая разрыв между сущностью и явлением). Излагая психологию в связи с материалистическим пониманием истории, автор заявляет, что становится на материалистическую точку зрения. Однако это не значит, что мы, подобно некоторым материалистам прошлого века, считаем «материю» (почему в скобках?) последней реальностью; электронная теория материи делает невозможным такой взгляд, а теория относительности Эйнштейна (всех путаников сбивает с толку она, несчастная!) отодвигает «последнюю реальность еще дальше в глубь вещей» (84). Автор и не подозревает, что самый факт электронной теории материи подтверждает существование этой материи, а вместе с ней и пресловутой «последней реальности». Повторяем, точка зрения автора— точка зрения буржуазного антагонизма, который не понимает, что критерий практической полезности истин науки для человеческого действия, на который он якобы опирается, как раз бьет в лицо всех антагонистов.

Естественно, что тот факт, что в основе всего сочинения лежит подобная философская основа, не сулит ничего хорошего.

Основные недостатки книги связаны с совершенно некритическим усвоенным ею фрейдизмом.

С первых же страниц бросается в глаза его влияние в оценке отношения разума и бессознательного. «Психология (какая?) учит даже, что *бессознательные тенденции*, а не разум, составляют главную *мотивационную* (этот курсив наш. *Н. К.*) силу человеческого мышления и действия. Человек в основе своей (?) не рассудочное животное» (27). Отсюда следует, что «наши политические убеждения, наши моральные и этические принципы, наши вкусы, наше приятие существующих условий, наш революционный жар; классовое сознание рабочих, с одной стороны, и капиталистов—с другой,—все это в конечном итоге основано на нерассудочных комплексах, заставляющих нас совершать те или другие действия» (30). Отсюда же «поведение, идеалы, устремления и учреждения зависят от окружающих влияний и от врожденных механизмов, благодаря которым люди вынуждены реагировать на эти влияния определенным образом» (31). Это не только неверная, но и глубоко вредная теория. Роль разума сведена к чисто-пассивному регистрированию того, куда несут его по воле волн бессознательные влечения.

Марксизм же, большевизм в особенности, всегда особенно подчеркивал роль революционного сознания; коммунистический идеал вовсе не есть результат действия каких-либо врожденных механизмов (песне о которых по меньшей мере 300 лет) и вовсе не производится сам собой

в головах рабочих, а есть результат многовекового идейного [illegible] и р а з у м н о г о постижения природы современного общества. Естественно, что, споткнувшись на этом пункте, автор дает образцово-фрейдистскую, хотя и вульгарнейшую теорию перехода на точку зрения пролетариата представителей других классов. Дело, видите ли, в том, что в человеке гнездится некий «комплекс недостаточности». И «те, кто, находясь в лучших на вид условиях, стремятся к лучшему социальному порядку, обычно побуждаются к этому чувством неуверенности или слабости, часто бессознательным, проистекающим, может быть, из какого-нибудь неосознанного дефекта, напр., физической немощи» (40). Разве не восхитительно? Социалисты и коммунисты из буржуазной или мелко-буржуазной среды, как физические калеки или духовные трусы. Отсюда, естественно, и в рабочем классе, вообще говоря, революционно всегда лишь меньшинство, которое должно ловить моменты, когда в большинстве просыпается революционный инстинкт. Типично мелко-буржуазная, филистерская точка зрения, молчаливо признающая, что коль «тепло и не дует», то и нечего бунтовать, а коль и тогда кто-либо бунтует, то наверное он урод моральный или телесный. Нет вместе с тем и ни на гран понимания роли просыпающегося в классе сознания миллионов, их мерной поступи. Миллионы, большинство, масса—для наших героев всегда лишь «стадо», в котором «пропагандист должен стараться победить неистощимую ненависть ко всему новому (мизонеизм)» (190). Отсюда уже недалеко и до того, что «опыт показывает, что при всех кризисах, даже там, где есть сравнительное единодушие относительно цели (к а к в п о с л е д н ю ю в о й н у—курсив наш. *Н. К.*), совершенно неизбежна диктатура небольшого меньшинства» (156), «пионеров» над «стадом»! Точка зрения, во всяком случае ничего общего не имеющая с марксизмом, но понятная в устах фрейдиста. Отсюда же смехотворнейшее опровержение демократизма: «Основу демократической теории прогресса составляет вера, что человек есть по преимуществу разумное существо, что поступки среднего (?!) человека определяются разумными соображениями; что логической аргументацией можно радикально изменить цели, к которой стремятся Иваны, Степаны, Петры. Современный психолог знает, что это не так» (стр. 157). А как?—Конечно же, цели людей определяются их... инстинктами» (158). О, этот современный психолог, его не проведешь и не удивишь ничем! Но ему и во сне не снилось, что поведение человека определяется прежде всего его и н т е р е с а м и и что несчастье буржуазной демократии не в том, что она апеллирует к разуму, а том, что ее разум заключен в ее кошельке. Вся эта теория умаления роли разума и пресмыкания перед инстинктами есть в основе своей нечто иное, как отражение распада буржуазной идеологии, срывающейся от трезвой критики разума (которой она не боялась в XVIII веке!) в трущобы инстинктов, на закате уже догорающего дня буржуазной культуры.

Все должны об'яснить инстинкты, врожденные механизмы и комплексы. Большинством своих открытий человек обязан инстинкту созидательности (170), основной конфликт современной жизни, по БертрануРесселю, столкновение между инстинктами стяжания и созидательства. В основе «чувства классового превосходства у аристократа или буржуа» лежит инстинкт самоутверждения. Инстинкт превращается в некую отмычку, которая, подобно «силам» в естествознании, готова психологии открыть дверь ко всем ее тайнам. Даже «в отношениях между классами, борющимся за власть, проявляются инстинкты страха и драчливости» (201). Разве не чудесно! И разве вы, читатель, не пом-

тываете при этом вместе с нами под'ем все того же инстинкта-драчливости против автора, переводчика и редактора перевода книги?..

Научное об'яснение сводится очень и очень часто к установлению какой-нибудь «наклонности» в человеке, которая должна об'яснить в сущности говоря... самое себя! Так на стр. 86 мы читаем, что «виталистические и анимистические взгляды распространены среди лиц, имеющих богословские наклонности»! Эти «наклонности» служат автору ничем иным, как той самой наклонной плоскостью, по которой, как известно, кое-куда скатываются очень низко даже далекие всякому соблазну мужи науки.

Естественно, что у фрейдиста всеопределяющим фактором человеческого поведения является не разумная цель, а бессознательное влечение. Он не видит их перехода одного в другое и смены одного другим. Само «влечение» при этом приобретает сугубо метафизическое значение. Совершенно некритически автор излагает учение Фрейда и Адлера, согласно которым основной побудительной силой влечений оказывается либо непосредственное чувственное наслаждение, «принцип приятного», либо «воля к власти». Принцип приятного «эгоцентричен, своекорыстен, индивидуалистичен и несоциален» (35). Это—основной фон человеческой психики и человеческого поведения, который ограничивается сознанием препятствий его удовлетворения в действительности—принципом реальности. Отсюда цель, к которой стремится все живое, заключается в контроле над средой, но не в активной трудовой борьбе со средой, а в том, что «всякий живой организм всегда стремится к сохранению покоя, безопасности, равновесия—в непрестанно изменяющейся среде» (38). Это—типичная идеология распадающейся индивидуалистической психики, «приятное»—признающей лишь в «своекорыстном», порывающейся к власти, к сожалению уже ограничиваемой реальностью и, растеряв все творческие цели, стремящейся к покою. Мастерской портрет современного буржуа! У нашего автора эта типично-буржуазная точка зрения перепутана с марксистским, творчески-трудовым отношением к миру, и отсюда размах путаницы увеличивается еще более.

Понятно, что и различие мировоззрений между людьми наши «марксисты» могут понять лишь как результат различия их «наклонностей», психологических типов, но ни в коем случае не как результат социального рода причин. «Уильям Джемс делит людей на два типа, которые он называет «мягким» и «твердым». Эти два типа совпадают с тем, что Юнг называет «интроверзными» (обращенными во внутрь) и «экстраверзными» (обращенными во вне). Вообще говоря, люди этих типов представляются диаметрально противоположными друг другу, почти неспособными понять друг друга. Это различие лежит в основе непримиримых разногласий между философами, разногласий, которые с у б ' е к т и в н ы, а н е о б ' е к т и в н ы (курсив везде наш. *Н. К.*)... Во многих бесплодных спорах—н а п р., м е ж д у м а т е р и а л и с т а м и и м е т а ф и з и к а м и—находит себе возражение не что иное, как фундаментальное различие между механизмами, с помощью которых оба описанные типа воспринимают окружающее и реагируют на него» (161).

На этом можно поставить точку, так как нам уже не раз приходилось писать о подобном воззрении в нашей философской литературе.

Книга, которая по замыслу могла бы стать одним из незаменимейших пособий в марксистской литературе, благодаря некритическому отношению автора к используемой им литературе и благодаря, главным образом, не ложке—целому ведру фрейдистского дегтя—на деле оказывается

образцом современной марксистской эклектики, весьма далекой от подлинного марксизма. Еще один лишний предостерегающий пример нашим отечественным фрейдистам. Впрочем, большинство из них, кажется, находится давно уже по ту сторону добра и зла...

Ник. Карев.

В. К. Фредерикс и А. А. Фридман. Основы теории относительности, выпуск I, Тензориальное исчисление, изд. «Academia», Ленинград 1924 г., 166 стр.

Сочинение «Основы теории относительности» рассчитано всего на пять выпусков, из которых пока вышел только один. В первых трех выпусках авторы предполагают изложить те отделы математики и теоретической физики, которые необходимы для усвоения теории Эйнштейна, а именно: тензориальное исчисление (1 выпуск), геометрия многомерных пространств и электродинамика. Наконец, в четвертом и пятом выпусках будет изложена специальная и общая теория относительности.

Изложение популярно в том смысле, что не предполагает у читателей сведений по математике и теоретической физике, какие превышали бы об'ем знаний, даваемых математическими факультетами университетов.

Таким образом, по выходе в свет последнего выпуска, мы будем иметь в русской литературе весьма ценное пособие.

Первому выпуску предпослано введение, имеющее методический и философский характер; на нем мы и остановим внимание наших читателей. Авторы говорят здесь о значении условности и произвола в физике.

Мы не можем непосредственно получить в природе какого-либо геометрического образца, например, прямой линии. Натягивая шнур или пользуясь лучем света, мы только принимаем их за прямые, т. е. интерпретируем физическое явление посредством геометрического образа. Если мы желаем проверить, что свет действительно распространяется прямолинейно, то мы должны будем для сравнения установить какой-нибудь другой физический об'ект, например, натянутую нить, и этому последнему мы должны приписать прямолинейность. Если же мы возьмем под сомнение прямолинейность последнего об'екта, то мы окажемся, по мнению автора, в безнадежном положении.

Таким образом геометрическая интерпретация физического явления оказывается произвольным актом. Мы должны сначала условиться считать луч света или натянутую нить прямыми, а затем уже можем делать те или другие выводы.

Такие взгляды считаются общепринятыми среди математиков; тем не менее, бросается в глаза односторонность и ограниченность такой точки зрения. Правильно отметив самый факт существования известного произвола, математики избегают анализировать его значение. Между тем произвол здесь носит тот самый характер, как и произвол в выборе гипотез. Всякая интерпретация физического об'екта посредством геометрического образа с логической стороны имеет значение гипотезы. Такой произвол имеет весьма относительный характер и бывает ограничен требованием наилучшего совпадения следствий теории с фактами.

Указанное недоразумение, как нам кажется, вытекает из следующего источника: математика упорно закрывает глаза на то, что в физике существует не один метод—дедуктивных умозаключений, как в математике,—но также метод причинного об'яснения, т.-е. метод обратных умозаключений от следствий к основаниям, с последующей косвенной экспериментальной проверкой. Но раз существует этот второй метод, то мы уже не связаны безусловно с необходимостью непосредственной проверки геометрических интерпретаций и можем базироваться на косвенной проверке. Поэтому указанные замечания Фредерикса и Фридмана теряют какое-либо методологическое значение.

Пуанкаре, например, рассматривал геометрию Евклида, как геометрию абсолютно твердых тел, признавая ее, очевидно, только приблизительно точной по отношению к телам, которые не являются абсолютно твердыми. Однако мы можем допустить, что между всякими материальными точками существуют все те соотношения, которые приняты в геометрии Евклида,—и сообразно такому допущению строить практические расчеты. Так как гидродинамические и аэродинамические расчеты, основанные на геометрических соотношениях, оправдываются не менее точно, нежели расчеты, относящиеся к твердым телам, то этим исключается особое отношение геометрии к твердым телам. Можно говорить лишь о том, что геометрические соотношения легче обнаружить и проверять на примере твердых тел.

Но с абсолютной точностью мы наши гипотезы проверять не можем. Совпадение вычисленных величин с наблюдаемыми всегда будет лежать в известных пределах, определенных точностью наблюдений. Нельзя поручиться, что нет отклонений от геометрии Евклида, лежащих внутри этих пределов. По мнению наших авторов, теория относительности и является блестящим подтверждением этого. Теория Эйнштейна базируется на том, что Евклидовы отклонения в подавляющем большинстве случаев слишком малы для наших геодезических инструментов, чтобы их можно было измерить.

Далее авторы особо останавливаются на том, что теория Эйнштейна принадлежит, прежде всего, к области логического мышления, что она удовлетворяет потребность философа-физика в единстве мировоззрения, что она начинает ряд работ, клонящийся к аксиоматизации физики.

Характеризуя путь развития человеческой мысли, авторы делят его на три периода. В первом периоде человек, пользуясь экспериментом, накапливает огромную массу фактического материала. Во втором периоде это культурное наследство подвергается логической обработке и систематизации—создается наука. Наконец, третий период есть период аксиоматизации знания, период, который авторы характеризируют, как период старческого скепсиса; в этот период совершается разрыв между логическим содержанием науки и ее материальной интерпретацией; логическое содержание науки выступает в виде отчетливо сформированной системы непротиворечивых и независимых аксиом.

Абсолютно не обосновано, будто «старческий скепсис» является неизбежным результатом развития науки. История науки показывает, наоборот, что «старческий скепсис» является всегда результатом упадочных общественных отношений.

Аксиоматизации физики еще нет, хотя Эйнштейн положил ей начало. Но когда физика будет аксиоматизирована, то она превратится в науку такого же рода, как геометрия. Тогда исчезнет всякая нужда в экспериментах, так как математики все возможные результаты экспериментов будут выводить из аксиом.

«Нам, к счастью, не дано видеть будущего,—так заканчивают [illegible] «Введение» Фредерикс и Фридман,—и мы не знаем, явится [illegible] аксиоматизации, эпоха скепсиса предсмертными часами знания. [illegible] бы это даже было и так, то и тогда логическая красота конца [illegible] бы нас приветствовать появление принципа относительности».

— Какое жалкое пустословие! — нельзя не сказать [illegible] Штарком.

Нет сомнения, что такая аксиоматизированная физика будет «воображаемой» физикой (подобно тому, как существуют «воображаемые» геометрии); реальная же физика всегда будет определяться непрерывно развивающимся экспериментальным искусством. В виде теории [illegible] мы и в настоящее время имеем подобную «воображаемую» физику; [illegible] может, таковой является и теория «самого» Эйнштейна?

И. Орлов

Т. Т. Морган и Ю. А. Филипченко. Наследуются ли приобретенные признаки? Изд. «Сеятель». 1925 г.

Рецензируемая брошюра разбирает вопрос, который, несмотря на его почтенный возраст и, в связи с этим, некоторую «несвежесть», является крупнейшим, актуальнейшим и интереснейшим вопросом биологии. Как и прежде, от того или другого способа его разрешения прямо или косвенно зависят взгляды физиологов, в частности [illegible], представления о причинах эволюции организмов и, в конечном счете, вся система теоретических построений биологии. В нем в самом непосредственном смысле разрешается проблема отношения организма к внешней среде, материалистически причинной связи жизненных процессов с этой последней, обусловленности или, наоборот, независимости жизни и эволюции организмов от влияний внешней среды. Это вопрос, вокруг которого материалистическая биология имеет бой и, нужно думать, будет еще иметь бои с современными идеалистическими течениями в биологии, особенно ярко выраженными в пресловутом «номогенезе» Берга.

Вот почему настоящую работу Моргана и Филипченко нельзя обойти молчанием, особенно если принять во внимание, что для широкого читателя давно на эту тему не писалось. Обе статьи ставят вопрос—может ли внешняя среда своими влияниями на наследственную природу организма породить наследственные же изменения?

Крупный современный генетик Морган в первой статье брошюры внимательно и осторожно анализирует фактический материал, говорящий в пользу наследственно-изменяющего влияния среды. Выступая определенно против наследования условных рефлексов, против опытов Броун-Секара (наследование результатов повреждений нервной системы), некоторых вздорных рассказов, напр., об «оглядывающемся» петухе, потерявшем глаз, который дал потомство с поврежденными глазами и пр. — совсем не так он ведет себя в отношении других многочисленных опытов.

Об опытах Стоккарда, Литтля, Хенсона и др. (наследственное действие алкоголя, радия и x-лучей) он высказывается очень осторожно, заявляя, что «дело здесь еще не вполне ясно» (стр. 17). Относительно интересных опытов Гюйера (наследственное влияние сыворотки) он рекомендует «подождать, пока новые, более строгие доказательства не раз'яснят нам природу тех влияний, которые привели к результатам, полученным Гюйером» (стр. 19).

Работа Гриффита (о наследственных изменениях у крыс, живших по несколько месяцев в вертящихся клетках), несмотря на строго-критическое (и, конечно, не случайное) отношение Моргана, фактически не находит у него никакого об'яснения.

Что касается известных опытов Каммерера (с саламандрой, жабой-повитухой и др.), то Морган советует «лучше подождать с об'яснением результатов» (стр. 22).

И, наконец, «наиболее тщательные и вдумчивые опыты» Сампера (передача потомству измененной температурой длины хвоста, ног и ушей) встречают у Моргана осторожную ссылку на возможный «случай». Но, конечно, ясно, что единовременное удлинение и хвоста, и ног, и ушей сводит возможность такой «случайности» почти к нулю.

В общем, статья Моргана является статьей строгого экспериментатора, строго критикующего фактическую сторону вопроса, но положительно не утверждающего невозможности наследственно-изменяющего влияния среды. Факты же, приводимые им самим, может быть, «вполне убедительно» и «противоречат слабым и неясным аргументам марксистов» (стр. 27), но они вполне согласуются с дарвинизмом, утверждающим среду, как наследственно изменяющий фактор.

Самое характерное в статье Моргана—это то, что читателю не навязывается никаких предвзятых мыслей, и он имеет возможность серьезно и без горячки обдумать приводимые соображения.

Совсем не то—статья Филипченко. На одной из первых ее страниц он солидаризируется с категорическим утверждением К. Э. Бера: «изменения, которые вызваны случаем или каким-либо внезапным внешним воздействием, ни в малейшей степени не изменяют общего типа потомства» (стр. 34). Эта мысль о недействительном влиянии внешней среды на наследственность является центральной и всеподавляющей мыслью статьи. Что нам доказывают опыты Штандфусса-Фишера и Тоуэра — первых над наследованием изменений окраски у бабочек под влиянием температуры и второго— над влиянием среды на окраску и др. признаки жуков? От Филипченко мы с удивлением узнаем, что вариации Фишера и мутации Тоуэра—ничего не доказывают, ибо опыты слишком стары, «чтобы на них можно было хоть сколько-нибудь полагаться» (стр. 37). Это крайне смелое заявление особенно странно слышать от Филипченко потому, что еще в 1924 году в своей «Наследственности» он писал, что в опытах Фишера—Штандфусса «несомненно имеется наследственная передача изменения вызванного влиянием внешней среды, потомству». «И эту мысль, — продолжает Филипченко, — подтверждает «интересное исследование» Тоуэра» («Наследственность», стр. 36 и 37). А через год в статье, предназначенной для более широкого и менее изысканного читателя, проф. Филипченко с Тоуэром и Фишером «сколько-нибудь считаться» не рекомендует. Так Филипченко начинает «доказывать» мысль о ненаследовании изменений, созданных при участии внешней среды. В таких же категорических формулировках оцениваются Филипченко и работы Каммерера. «Считаться с данными Каммерера,—читаем мы у него,—конечно, не приходится». Как это не похоже на серьезное отношение Моргана, рекомендующего быть поосторожнее и «подождать с об'яснением результатов». Но Филипченко осторожности не соблюдает и крошит все, что является препятствием на его пути. Относительно опытов Гюйера Морган рекомендует «подождать», пока новые данные

не об'яснят результатов его опытов. А Филипченко на тех же сам основаниях (поверочные опыты Финлея, Гексли) решительно утверждает «что данные Гюйера совершенно ошибочны и принимать их в расче отнюдь нельзя» (стр. 40). Последнее заключение особенно неубедительн в устах Филипченко еще и потому, что в последнем выпуске «Русского Евгенического Журнала», редактором (вторым) которого является о сам, опыты Гюйера трактуются совсем по другому. «Почему не согла ситься,—читаем мы там,—что они (наследственные мутации. В. С.) могут быть вызваны химическим воздействием иммунных тел» (том II стр. 165),—а именно это опыты Гюйера и пытаются доказать.

Общий итог, к которому Филипченко при помощи своей сокру шительной критики приходит,—это полное отрицание насле ственно-изменяющих влияний внешней среды. Среда наследственн основы организма не изменяет, все результаты ее действия—поверх ностные «модификации», а наследственные изменения возникают от вну тренних причин путем «мутаций». «У наилучше изученных случае мутаций нет никакой связи с влиянием различных внешних факторо а обусловливаются они внутренними перегруппировками в хромо зомах от ближе нам неизвестных причин» (стр. 49)—читае мы у Филипченко. В этой фразе—центральная мысль статьи. И вполн понятно, что мутации Тоуэра, добытые прямым влиянием сред а также мутации Иоллоса (кроме «длительных модификаций» о имел, как известно, и «мутации»—у инфузорий) окажутся при тако концепции совсем ненужными и их «вольно или невольно» придетс считать «устарелыми» или совсем о них умалчивать.

Неярко-выраженная у Моргана тенденция недооценивать влиян внешней среды (напр., метафизическое противопоставлени чистоты менделевского расщепления наследственному изменению внеш ней среды. абсолютизация менделизма) —эта тенденция совершенно овла девает Филипченко и заставляет его решительно и нацело отрицат наследственно-изменяющее влияние среды. Все изменения, по Фили ченко, родятся от «внутренних причин», которые «ближе нам неизвестны На почве этого утверждения им уже сформулирована чрезвычайн похожая на «номогенез» теория эволюции,—«автогенез». Сле дующее определение дает нам о ней представление: «эволюция органи мов происходит, прежде всего, под влиянием внутренних причи заложенных в них самих» (см. «Изменчивость и ее значение для эво люции», стр. 82, и др. книги Филипченко). Под таким знаменем высту пает Филипченко так решительно против идеи изменяющегося влияни среды на наследственную природу организма. Не нужно много думать чтобы установить, что вся концепция Филипченко, основанная искл чительно на отрицании фактов, не имеющая под собой никако фактической основы—совершенно чужда материалистическо биологии.

Что значит утверждение: наследственные изменения родятся вн среды и «внутри» организма?

1) Это значит итти против основной линии мысли научной биологи рассматривающей всякий организм, как продукт взаимодействи наследственных данных с внешней средой, превращать организм в мета физическую абстракцию, отрывая его от среды, как необхо димого условия его образования.

2) Это значит итти против дарвинизма, установившего мысль о внешней среде, как причине изменчивости, и упасть в братские объ тия номогенеза.

3) Это значит напролом итти против совершенно неопровергнутых фактов, добытых Тоуэром, Иоллосом, Фишером, Каммерером, Семпером и многими другими.

4) И, в конечном итоге,—это означает отказ от материалистической причинности «среда-организм» во имя телеологического, мистического принципа «эволюции извнутри».

Как жаль, что к сдержанно-серьезной статье Моргана была добавлена развязная и идеологически вредная статья Филипченко!

Вас. Слепнов.

Н. Лукин-Антонов. Очерки по истории новейшей Германии (1890—1914 гг.). Гиз, 1925 г.

Если в области русской истории, наши вузы и совпартшколы не могут пожаловаться на недостаток марксистской литературы, то нельзя этого сказать про историю Запада. Всего лишь год тому назад был издан 1-й выпуск новейшей истории Запада т. Лукина, обнимающий эпоху до 1848 г. С последними 3 двадцатипятилетиями наша молодежь знакомится или по разбросанным материалам, или по не-марксистским книгам.

Естественно, что наибольший интерес в последней эпохе представляет история Германии. Поэтому нельзя не приветствовать появление рецензируемой книги. От автора можно было бы, конечно, требовать большего. Книга представляет очерки не только тем, что она охватывает не все стороны истории Германии, но и тем, что некоторые из них представляют компиляцию ряда общих работ.

Книга распадается на 6 очерков, из которых первые 2 рисуют социально-экономический строй Германии, два следующих—политический строй и политическую борьбу, пятый—внешнюю политику Германии и, наконец, последний дает картину положения рабочего класса и рабочего движения.

Автор поступил совершенно правильно, посвятив последнему вопросу половину своей книги. Естественно, что этот вопрос и привлекает наибольшее внимание. Поэтому мы опустим разбор предшествующих очерков, которые, за исключением очерка о внешней политики, лишь бегло освещают вопросы, и остановимся на очерке, посвященном рабочему движению, и отметим соответствующие недочеты.

Из общих недостатков необходимо отметить два: 1) Автор не увязывает новейшую эпоху рабочего и с.-д. движения с предшествующей. Особенно этот недостаток бросается в глаза в главе о с.-д. Этим сильно затруднится усвоение характеристики новой эпохи средним читателем, каковым является студент вуза и комвуза. 2) Автор напрасно избегает обобщений. Так, например, на протяжении 150 стр. он рисует эволюцию деятельности немецкой с.-д. в различных вопросах. Читатель ждет в конце увязки всех этих вопросов в единый узел, читатель ждет, что он найдет в конце итог того, к чему пришла и чем стала немецкая с.-д. к 1914 г. К сожалению, этого он не находит. В учебном пособии увязка таких сложных, неразработанных вопросов, как споры о бюджете, всеобщей стачке, империализме и т. д., не только необходима, но прямо обязательна.

Перейдем теперь к более подробному разбору очерка о рабочем движении. В первых двух главах автор характеризует экономическое положение рабочего класса, рост профессионального движения и т. д.

Картина достаточно иллюстрирована цифровым материалом. Но нельзя отметить, что здесь упущен ряд моментов, как раз облегчающих по- мание факта оппортунистического перерождения немецкой с.-д. и профсоюзов. К этим моментам необходимо отнести анализ состава профсоюзов. Этот анализ показал бы, что в немецких профсоюзах были об'единены привилегированные слои и профессии. Известен, например, факт, что в то время, как у печатников было 65% организованных, у текстильщиков, горняков—лишь 20—22% (т.-е. лишь привилегированные слои). Те профессии, где были массы неквалифицированных и полуквалифицированных рабочих, давали лишь от 1/6 до 1/5 организованных. Не маловажным фактом здесь был высокий членский взнос. Такие профсоюзы, как печатники и нотные рабочие, взимали от 2 р. до 2 р. 50 к. ежемесячный профсоюзный взнос. Огромное большинство членов профсоюзов платило более 1 р.—1 р. 50 к. Ежели сюда прибавить дополнительные местные сборы и пр., то взнос в среднем поднимался до 2 рублей. Какой рабочий мог платить взнос? Конечно, и сокооплачиваемый. Обойден также сугубо важный вопрос об изменениях в составе немецкого пролетариата, также об'ясняющих нам причины перерождения.

Остался также не выясненным состав «доверенных лиц» (не смешивать с платными работниками) в профсоюзах и партии. Читатель бы увидел, что эти vertrauens männer [1]) и были наиболее квалифицированными, консервативно настроенными, не молодого возраста рабочими со сберегательной книжкой и пр. Очерк истории с.-д. партии в общем нужно считать полным и содержательным. Тов. Лукин отчетливо оттеняет вопрос о 3 течениях в довоенной немецкой с.-д.—вопрос, почти совершенно неосвещенный в других книгах по истории социализма. Теоретические уклоны партии, в частности эрфуртской программы, освещены полно. Некоторое недоразумение вызывает лишь описание дискуссии на Бреславльском партейтаге (1895 г.) по аграрному вопросу в том смысле, что не указано, что позиция Бебеля была данью реформизму.

Безусловно спорным является замечание т. Лукина о затишье теоретической дискуссии после Дрезденского с'езда, которое якобы об'ясняется тем, что ревизионисты послушались совета Ауера: «так делают, но не говорят». Во-1-х, затишья собственно не было... Дискуссия лишь перешла с общих вопросов на частные. Достаточно вспомнить полемику о всеобщей стачке (1904—1905 г.г.), взаимоотношениях партии и профсоюзов (1905—1906 г.г.), бюджете (1908—1910 г.г.), и т. д. Во-2-х, отсюда вытекает, что ревизионисты вовсе не прекращали своего идейного подкопа. Наоборот, чем ближе к 1914 г., тем тверже звучит ревизионистский голос. В литературе 1912—1913 г.г. неоднократно отмечалось, что Бернштейн, который в первое пятилетие нового века был совершенно дискредитирован, стал быстро завоевывать авторитет на перевале от второго к третьему пятилетию. Тов. Лукин сам показывает, как в предвоенные годы усиливается идейный напор ревизионизма. Жаль, что автор не отметил, как «Социал. Ежемесячники» перед выборами 1912 г. строили министерские комбинации, где из 20 мест оставляли для либералов 9, а для с.-д. требовали—11 мест, в том числе место канцлера.

Об'ясняя далее уклоны в сторону реформизма в немецкой с.-д., автор выясняет социальные корни оппортунизма. Поскольку мы

[1]) Эта «гвардия» немецкого профессионального движения исчисляло 2—3 сотни тысяч и составляла основные кадры и с.-д. партии.

[понять] тов. Лукина[1]), он оспаривает степень влияния мелко-буржуазных элементов и, как нам представляется, недооценивает это влияние.

Нельзя признать методологически правильным рассуждение о степени влияния этих элементов в с.-д. путем анализа состава нескольких крупных городов. Общеизвестно ведь, что южно-немецкий оппортунизм непосредственно об'ясняется социально-разжиженным составом южных организаций. Если бы автор проанализировал состав отдельных областей, то картина получилась бы далеко не везде такая, как в Лейпциге и Франкфурте с их 90% рабочих. Даже крупнейший город юга—Мюнхен (приводимый самим автором) дает уже $^1/_4$ непролетарских элементов. Во всей южной организации этот процент был еще выше. В связи с некоторой недооценкой мелко-буржуазных источников оппортунизма, автор неясно подчеркивает, что последний имел два географических источника: мелко-буржуазный юг, и профсоюзный (промышленный) север.

Пытаясь обосновать свое утверждение, тов. Лукин естественно старается умалить и влияние и оппортунистичность «академиков». При этом он приводит такие малоубедительные аргументы, что и в левом крыле были «академики» (Каутский, Меринг и т. д.).

Во-первых, точка зрения автора опровергается самой историей. Кому не известно, что на рубеже XX века в связи с «кризисом в марксизме» остро стал вопрос об «академиках», как социальном слое, проводящем буржуазное влияние на пролетариат. Этот вопрос освещался вождями немецкой с.-д., о нем ясно говорится и в «Что делать», «Шаг вперед, два назад» Ленина, у Плеханова и т. д. и т. п.

Во-вторых, радикалы-«академики»—были одиночки, а ревизионисты-«академики»—были социальным слоем, непосредственно отражавшим и проводившим влияние мелко-буржуазных попутчиков. Рост последних на выборах 1898 и 1903 г.г. уже тогда широко освещался печатью, как отражение симпатий мелкого буржуа (включая сюда интеллигенцию) к ревизионистскому крылу с.-д., который в 1898—1903 г.г. дал себя знать в выступлениях Бернштейна, Гейне, Шиппеля, Фольмара и т. д.

В-третьих, при том расколе, который произошел после войны в немецкой с.-д., в рядах компартии «академиков» из с.-д. партии можно было пересчитать по пальцам, ибо почти все они остались в рядах националистической с.-д.

Указанные замечания ни в малой мере, конечно, не отрицают того, что основным источником оппортунизма была рабочая аристократия и бюрократия[2]).

В очерке о немецкой с.-д. освещаются затем вопросы: о стачке, партии и союзах, милитаризме, бюджете и т. д. История вопросов разногласий о всеобщей стачке страдает некоторой неполнотой. По изложению тов. Лукина можно понять, что Люксембург явилась первым теоретиком этого вопроса. На самом же деле вопрос о стачке был поднят до револю-

---

[1]) Мы так говорим потому, что в предисловии он указывает, что: «автор не вполне согласен с точкой зрения т. Зиновьева» на «социальные корни оппортунизма», а в соответствующей главе об этом ясно не говорит.

[2]) Между прочим, т. Лукин систематически относит к числу реформистских вождей Шейдемана (см. 315, 325 на 367 стр. Шейдеман фигурирует даже в качестве ревизиониста). Это не верно. Шейдеман был «центристом», примыкал к течению Бебеля. Общеизвестно ведь, что на Хемницком партейтаге Шейдеман предложил исключить из партии социал-империалиста Гильдебрандта, против чего яро восстали реформисты, ревизионисты.

Характерно, что эта ошибка характеристики довоенного Шейдемана имеет место и у других авторов.

ции 1905 г., первой крупной работой была книжка Роланд-Гольст; пол...
мика о стачке была в разгаре уже летом 1905 г. (дискуссия меж...
Каутским и редакцией «Vorwärts'a»). Осталась, к сожалению, так...
неизложенной точка зрения ревизионистов на массовую стачку.

В главе «Партия и союзы» нужно считать недостаточным объяснение причин возникновения теории «нейтральности и равноправия пр... союзов». Оппортунистический характер профсоюзной бюрократии — ис... историческая причина. Непосредственной же причиной воз... никновения теории нейтральности является тот резкий отпор, который был дан с.-д. партией в 1900—1903 г.г. (апогей—дрезденский пар... таг) ее реформистскому крылу. Побитые в с.-д. партии, профсоюзные реформисты должны были естественно встать на путь освобождения профсоюзов от гегемонии с.-д. И весьма характерно, что эта теория была похоронена, как только с.-д. партия в 1906 г. (мангеймский с'езд) и последующие годы протянула руку примирения реформистам.

Следующая глава освещает вопрос о бюджете, сыгравшем важ... нейшую роль в тактических спорах немецкой с.-д. Этот вопрос в учеб... никах рабочего движения, кстати сказать, совершенно не освещен. Правда, у тов. Лукина он изложен не полно. Автор пишет, что вопрос о бюджете вызвал «страстные прения уже на Любекском партейтаге 1901 г.». На самом деле эти страстные прения были уже на Франкфурт... ском партейтаге 1894 г., где большинство с'езда, по предложению Бе... беля, признало вопрос о бюджете вопросом принципиальной тактики. Забыв упомянуть об этом первом споре, автор тем самым не смог указать, что в Любеке «центр» в лице Бебеля уже сделал уступку реформистам, поставив вопрос о вотировании за бюджет в зависимость от местных условий, т.-е. превратив его из принципиального вопроса в вопрос тактики.

Не упомянуто также, что первое грехопадение немецкой с.-д. в во... просе о бюджете, голосование в рейхстаге за военные налоги в 1913 г. (не смешивать с голосованием за кредиты в 1914 г.), было сде... с благословения (правда, посмертного) Бебеля. На Иенском с'езде 1913 г. было зачтено письмо Бебеля, где он не только оправдывал это голосование, но учил, как нужно отбить атаку левых, заявив, что голосование 1913 г. является лишь продолжением старой тактики фракции, что нужно подобрать соответствующие цитаты из его про... лых речей и т. д. Симптом чрезвычайно показательный за год до 4 авгу... ста 1914 г.!

Заключительная глава дает характеристику лево-радикализма. В общем и целом вопрос изложен достаточно. Не оттенен, правда, момент, что взгляды левых были скорее негативного порядка, чем положительного. Левые сделали много в области критики реформизма, и мало в деле обоснования новой тактики. Кажется, тов. Варский метко заметил, что левые были всего лишь «оппозицией реформизму». Одновременно оставлены в стороне и некоторые недочеты во взглядах левых (пере... оценка стихийности, недооценка роли партии и т. д.). И, наконец, весьма существенным пробелом является отсутствие указаний на степень влияния левого крыла. Необходимо было указать, в каких районах оно было сильно, почему, случайны ли бы базы леворадикализма (Бремен, Гамбург, Штуттгарт, Берлин и т. д.). Читатель остается в неведении насчет того: росло ли это левое крыло или нет и т. д. и т. д. А между тем общеизвестно, что, в то время, как на Иенском с'езде в 1911 г. левые были маленькой группой, на партейтаге 1913 г. они имели свыше $^1/_3$ делегатов. Даже наши меньшевики—оголтелые противники левор...

дикалов—вынуждены были признать, что последние—не группа литераторов, а «известное течение в рядах рабочего класса» («Наша Заря», 1913 г., № 7—8) [1]).

Останавливаясь на частных недочетах, мы, конечно, не думаем отрицать общей ценности книги для широкого читателя. Мы подробно говорим о них лишь потому, что партийный читатель вправе ожидать от тов. Лукина, почти единственного крупного коммуниста-историка Запада, более обстоятельного изложения истории той партии, которая оказала такое влияние на судьбы международного рабочего движения.

Н. Ленцнер.

Ц. Фридлянд и А. Слуцкий. История революционного движения Западной Европы (1789—1914). Хрестоматия. Государственное Издательство. Москва—Ленинград 1925. Стр. 840. Цена 3 руб. 50 коп.

Первое издание хрестоматии тов. Фридлянда и Слуцкого, несмотря на ряд недочетов и на неполноту материалов, успело сыграть крупную положительную роль в деле обучения слушателей комвузов и совпартшкол. Появившись в то время (1923), когда на книжном рынке не было ни одной мало-мальски серьезной книжки, даже не-марксистской, по истории революционного движения на Западе, хрестоматия Фридлянда и Слуцкого являлась подчас единственным пособием как для студентов, так и для молодых марксистов-преподавателей.

Даже конспекты - введения к материалам, излагающие важнейшие этапы революционного движения на Западе, несмотря на то, что они ни в коем случае не имели самостоятельного значения, были чрезвычайно кратки и являлись не более, как удачной и четкой компиляцией большей частью русских исторических работ по трактуемым темам, даже эти конспекты имели положительное значение, так как впервые учащиеся и преподаватели получали последовательное изложение под марксистским углом зрения важнейших моментов революционных событий на Западе, а это изложение могло служить исходной точкой для дальнейшего изучения учащимися западно-европейского исторического процесса.

Таким образом целесообразность и необходимость этой хрестоматии в предшествующие годы, так сказать, безвремения на книжном марксистском историческом рынке не подлежит сомнению. В свете этой целесообразности можно было авторам простить целый ряд недочетов и неполноту, о которой мы говорили выше, и которую отмечали также рецензенты первого издания хрестоматии. Недочеты, на наш взгляд, были следующие: 1) диспропорциональность частей: вторая половина XIX и начала XX веков занимала относительно небольшое место в хрестоматии, в то время как концу XVIII и первой половине XIX веков было отведено около двух третей всей книги; 2) схематичность и краткость вводных статей; проблематичность необходимости выдержек из классических исторических трудов, часто очень кратких (выдержек), не только не характеризующих автора, но и бесполезных для освещения того или другого вопроса; 4) недостаточность и пестрота документации.

---

[1]) Правда, это левое крыло было разношерстным, об'единяя и будущих коммунистов, и будущих левых независимцев.

Что касается диспропорциональности частей, то этот недочет авторами хрестоматии почти устранен: хотя, напр., и по истории Конвента прибавлен ряд ценных материалов, но больше всего документов и материалов, весьма и весьма нужных, очень характерных, присоединено к темам, трактующим о Коммуне 1871 года, I Интернационале, а особенно II Интернационале. Мы увидим дальше, что не все в направлении полноты удалось сделать авторам, при том относительная полнота ими достигнута за счет чрезмерного разбухания книги, что также является дефектом, относящимся уже ко второму изданию хрестоматии.

Отчасти устранен также, поскольку это возможно в хрестоматии, недочет, относящийся к полноте материалов и документов, вообще пестрота, конечно, осталась, но она неизбежна и не зависит от доброй или злой воли составителей.

Однако полностью авторами сохранены в почти непереработанном виде прежние вводные статьи и принцип прибавления отрывков (выдержек) из классических исторических трудов. Прежде всего о вводных статьях. Года два тому назад, как мы указывали выше, эти вводные статьи, при всей своей схематичности, были безусловно нужны и полезны. Но всякому овощу свое время: ныне, в 1925 году, они вряд ли необходимы. О конце XVIII и первой половине XIX веков мы имеем сейчас на книжном учебном рынке прекрасное пособие, вполне марксистски выдержанное, освещающее указанную эпоху во всей ее многосторонности и полноте—именно работу Лукина. Никто из преподавателей, в том числе и сами составители хрестоматии, не станут рекомендовать слушателям схематических, кратких, вводных статей, явно недостаточных для понимания событий, когда имеется учебник Лукина. Появившиеся за это время оригинальные работы Ротштейна (о чартизме, его статьи о рабочей партии Англии), Степанова и Лукина (о Коммуне 71 года), Рязанова («Маркс и Энгельс», где дается правильное изложение важнейших моментов из истории I Интернационала, его же статьи о возникновении I Интернационала в «Коммунистическом Интернационале» и «Архиве Маркса и Энгельса»), существующие работы Стеклова о революции 1848 года и I Интернационале, исторические работы Маркса и Энгельса о той же революции 1848 года, наконец, ряд переводных работ: Ренара, Шлюттера, Поля Луи и пр.,— все эти работы достаточны для выбора материалов, изложенных и освещенных по-марксистски, по которым учащийся может составить достаточно ясное и правильное представление о причинах и ходе революционных событий на Западе. Некоторое значение (ввиду полного отсутствия на книжном рынке систематического, марксистского пособия) имеет вводная глава, трактующая о II Интернационале. Но ее, на наш взгляд, надо было значительно расширить и издать отдельно, не прилагая к хрестоматии.

Если уже давать вводные статьи к собранным в хрестоматии документам, то педагогически-методического значения, освещающего документ и указывающего и преподавателю, и учащемуся, как обращаться с документом, его специфичность, его полезность для того или другого применения. Ныне это было бы вполне уместно и весьма своевременно, принимая во внимание введение во всех комвузах лабораторного метода.

Излишни также, на наш взгляд, напечатанные отрывки из классических исторических трудов[1]). Они имеют смысл и значение в том

[1]) Следует, конечно, сделать исключение для отрывков из Маркса, марксистов, особенно Ленина, так как такие характерные отрывки могут дать

случае, если могут дать учащемуся представление о методе того или другого автора, его недостатках и достоинствах, о социально-классовом значении метода цитируемого автора, освещения им событий,—одним словом, если цитирование автора преследует историографическую цель. Конечно, этого трудно достигнуть путем кратких выдержек, хотя и было бы очень полезно и даже необходимо для критического усвоения учащимися исторической литературы. Те же отрывки, которые имеют целью дать дополнительный к документам материал, приведены в хрестоматии в столь неполном виде (да это и понятно, если принять во внимание, что составители ограничены количеством печатных страниц), что ни один преподаватель не сможет ими удовлетворить учащегося и принужден будет всегда давать еще дополнительный материал из тех же, а также и из других авторов. Кстати говоря, в «Тезисах и планах по истории революционного движения на Западе», написанных тов. Фридляндом и изданных Свердловским университетом, составителем указываются в качестве необходимого дополнительного материала ряд страниц из авторов, кои в хрестоматии того же тов. Фридлянда даются в мало характерных отрывках,—доказательство, что преподаватель Фридлянд не удовлетворяется материалом составителя хрестоматии Фридлянда.

Если устранить указанные недочеты: заменить вводные очерки статьями педагогически-методического значения и совершенно выкинуть отрывочный, цитатный материал,—можно будет тем самым избегнуть и важнейшего дефекта второго издания хрестоматии: ее страшного разбухания. Больше пятидесяти листов текста, 840 страниц, при большем, чем обычный, формате книги—явление совершенно нежелательное, тем более, что в следующих изданиях, которые, несомненно, понадобятся, количество документов будет, конечно, нарастать, и тогда мы будем иметь чудовищных размеров книгу, отнюдь от этого не выигрывающую и мало доступную в цене, конечно (уже теперь 3 р. 50 к. для нужной каждому учащемуся Вуз'а книги—цена чрезвычайно высокая).

Переходя к документальной стороне хрестоматии, надо сказать, что она выгодно отличается от бесконечного количества хрестоматий, выпущенных в последние годы на книжный рынок и являющихся, за определенными исключениями, неудобоваримой макулатурой. Документы подобраны умело, со знанием дела и пониманием психологии и уровня учащегося. Во втором издании, как мы уже указывали, львиная доля прибавлений приходится на вторую половину XIX и начала XX века. Для эпохи I Интернационала учащийся найдет ряд документов, впервые появившихся на русском языке и характеризующих бланкизм, прудонизм, тред-юнионизм и др. течения среди рабочего класса эпохи I Интернационала. Использованы последние изыскания тов. Рязанова по истории возникновения I Интернационала, приведены важнейшие резолюции конгрессов.

Ряд новых и весьма ценных материалов дан также по истории Парижской Коммуны 1871 года, при чем как для I Интернационала, так и для Коммуны очень удачно использованы письма Маркса и работы Ленина. Вообще, что касается работ Ленина, то составителям сборника принадлежит заслуга того, что они впервые дают учащимся ленинские характеристики не только событий начала XX века, но и таких

учащемуся точку зрения, но и их место не позволяет цитировать достаточно полно; было бы поэтому полезно дополнительно дать, по возможности, исчерпывающие библиографические указания о замечаниях Маркса и Ленина по тому или другому вопросу.

отдаленных революционных столкновений, как Великая Французская революция, революция 1848 года и пр.

Много новых материалов прибавлено во втором издании хрестоматии по эпохе II Интернационала. Преподавателям и учащимся особенно трудно разрабатывать продуктивно эту тему, так как до сих пор мы имели весьма немного конкретного материала по истории II Интернационала, а имеющийся материал разбросан по разным, превратившимся в библиографическую редкость изданиям. Ныне, пользуясь рецензируемой хрестоматией, преподаватель имеет достаточно твердый упор для занятий с учащимися. Однако полностью охватить все важнейшие моменты в деятельности партий и самого II Интернационала составителям хрестоматии не удалось. Укажем, напр., что для освещения отношения германской с.-д. к аграрному вопросу есть достаточный материал даже на русском языке, прения по этому вопросу на Франкфуртском и Бреславльском партейтагах и характеристика позиции разных групп в партии [1]). Ведь Фольмар и К⁰ начали свой практический ревизионизм с аграрного вопроса,—с вопроса об отношении к крестьянству. Чрезвычайно интересно и полезно для учащегося комвуза сравнить постановку крестьянского вопроса II и III Интернационалами: можно было бы осветить не только отношение немецкой с.-д. к аграрному вопросу, но и французской, например.

Совсем не освещены также муниципальная и кооперативная деятельность партий II Интернационала. Кроме резолюции о кооперации, принятой Копенгагенским конгрессом, об этой важнейшей отрасли рабочего движения, особенно опошленной реформистами, в хрестоматии нет ничего.

Неполнота может быть оговорена недостаточностью места в книге. Мы, однако, считаем, что разбухание и громоздкость книги—вина составителей, сохранивших и вводные статьи, теперь ненужные, и выдержки из исторических трудов. По нашему приблизительному подсчету, на эти статьи и выдержки ушло около $^2/_5$ всей книги. Мы стоим на той точке зрения, что хрестоматия по истории революционного движения на Западе имеет ценность постольку, поскольку она дает в руки учащемуся, в подавляющем большинстве незнакомому с иностранными языками, документы, по которым он может критически судить и почувствовать эпоху. Чем полнее эти документы охватывают все этапы движения, тем лучше и для преподавателя, и для учащегося. Это можно достигнуть полностью при устранении указанных нами недостатков. В последнем случае хрестоматия Фридлянда и Слуцкого, являющаяся и теперь хорошим пособием для учащихся наших комвузов, станет незаменимым во всех отношениях.

В заключение—еще пара замечаний. Во-первых, не пора ли уже включить в историю революционного движения «на Западе» также и страны Америки? Мы по шаблону продолжаем этого не делать,—составителям следовало бы учесть значение Соединенных Штатов. Во-вторых, должно бы всюду указывать источники приводимого материала, что не всегда авторами делается (особенно это относится к таблицам),—указание источников общепринято да, кроме того, имеет большое педагогическое значение для читателя. **Г. Зайдель.**

---

[1]) См. «Основные вопросы программы и тактики на с'ездах германской с.-д.». Выпуск II. Аграрн. вопрос. Речи и дебаты на с'ездах во Франкфурте 1894 г. и в Бреславле в 1895 г. Под редакцией В. Волгина. С предисловием П. Маслова «Движение». Москва 1907 г.